**Константин Тарасов**

# ХОРУГВИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГРЮНВАЛЬДСКОЙ БИТВЕ

| | |
|---|---|
| БРЕСТСКАЯ | МОГИЛЕВСКАЯ |
| ВИЛЕНСКАЯ | МСТИСЛАВСКАЯ |
| ВИТЕБСКАЯ | НОВГОРОД-СЕВЕРСКАЯ |
| ВОЛКОВЫСКАЯ | НОВОГРУДСКАЯ |
| ГРОДНЕНСКАЯ | ОРШАНСКАЯ |
| ДРОГИЧИНСКАЯ | ПИНСКАЯ |
| ЖМУДСКИЕ | ПОДОЛЬСКИЕ |
| КИЕВСКАЯ | ПОЛОЦКАЯ |
| КОВЕНСКАЯ | РАТНЕНСКАЯ |
| КРЕВСКАЯ | СЛУЦКАЯ |
| КРЕМЕНЕЦКАЯ | СМОЛЕНСКАЯ |
| ЛИДСКАЯ | СТАРОДУБСКАЯ |
| ЛУЦКАЯ | ТРОКСКАЯ |
| МЕДНИЦКАЯ | ТАТАРСКИЕ |
| МИНСКАЯ | ........................ |

Константин Тарасов

# ПОГОНЯ НА ГРЮНВАЛЬД

Исторический роман

«Крок уперад»
Государственная книжная палата БССР
Минск 1991

ББК 84Р7
Т 19

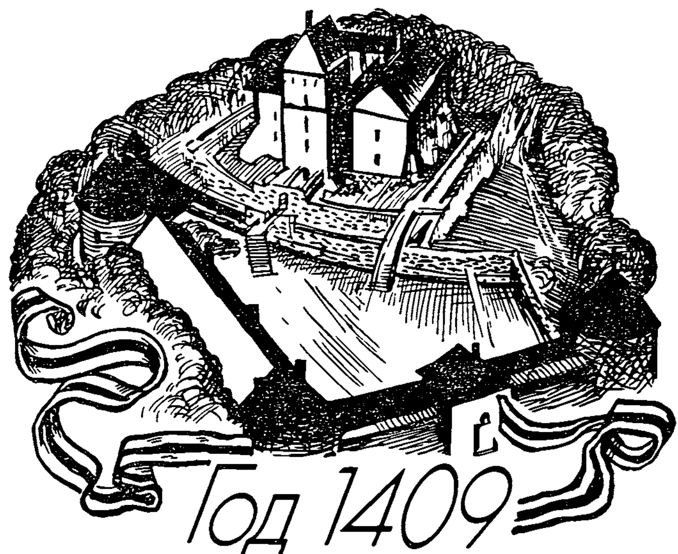
В оформлении обложки использованы фрагменты картины белорусского художника *М. Басалыги* «Грюнвальдская битва».

**Тарасов К.И.**
Т 19 Погоня на Грюнвальд. Исторический роман.— Мн.: БКМП «Крок уперад»: Гос. кн. пал. БССР, 1991.— 288 с.
ISBN 5-7815-1355-8

Центральное событие романа — знаменитая Грюнвальдская битва (1410 г.), в которой объединенные силы поляков, белорусов, литовцев и украинцев разгромили войска Тевтонского ордена. В романе представлена галерея исторических личностей — великий князь Витовт, король Ягайла, великий магистр Ульрик фон Юнгинген, князь Швидригайла, жена Витовта княгиня Анна и др.
Книга рассчитана на широкого читателя.

Т 4702010200 / М 348(03)—91

ББК 84Р7




**ПОЛОЦКО-НОВГОРОДСКОЕ ПОРУБЕЖЬЕ. 24 ОКТЯБРЯ**

С мая месяца, когда восстала Жмудь и началась война с Тевтонским орденом, вот уже без малого половину года Андрей Ильинич был с сотней в разъездах, не сходил с коня. Весь светлый день проводили в седлах, пока солнце не закатывалось или кони не падали. А если падали, на других садились. Помолиться бывало некогда, поесть горячего в иные дни не выпадало. Вечером до соломы, до попоны раскоряками шли. Кинешься, укроешься епанчой, веки слипнутся — а уже восход, вновь на коня, остроги в бок; лес, дорога, грязь, пыль, дождь, жара, жажда. На все четыре стороны кидало, куда только ни отряжали, где только ни побывал. В столицу крыжацкую Мальборк ездили. На Подолье князю Ивану Жедевиду возили письмо — месяц прокачались в седлах, испеклись, иссохлись под солнцем. Князя Витовта в Ленчицу на встречу с королем Ягайлой сопровождали — опять три недели бесслазно. Из Ленчицы вернулись, тут же великий князь выправил на Новгородское порубежье — Семена Ольгердовича встречать. Встретили, проводили в Троки. Князь Семен полдня с князем Витовтом, запершись, проговорили — и в обратный путь. Выслали провожать. Теперь дойти до границы, а там князь сам поскачет.

Семена Ольгердовича охранять не то что князя Витовта. У того гон оголтелый, беспрерывно галоп, свист в ушах; сам не отдыхает и другим не дает; все не терпится, все дела, каждая минута будто из золота — боится утратить. Князь Семен не торопится: дорога в Великий Новгород дальняя, день не выиграешь, а час не важен. Спокойно рысит. Тишина. Кони обучены — сами знают строй. Сотня затихла, каждый в свои думы окунулся, соседа словом не дергает, да и о чем говорить: все обговорено, все за пять месяцев вдоль и поперек обсуждено — не дождаться, когда распустят по дворам на зимнее сидение.

Затихла сотня, погрузилась в думы, а думы редко у кого веселые. О чем думает боярин на службе? О хреновой жизни, скверной доле, убогой судьбе. Служи, служи, а в благодарность — кукиш. За пять лет всего и выслужил две деревеньки — одну в три, другую в пять дворов. Потому что веры древней, не латинской. Кто латинской, тому в пять крат быстрей жалуют. А кто они? Кто прежде креста не носил, на огонь молился, сейчас они все в почете, чести, силе. Господи, вон Немировичи... Давно ль старый Немир позади отца в походах держался — ныне полоцкий наместник, в бывшем княжеском дворце сидит повелевает, над древними полоцкими родами возвышен.

Да что бояре! Князей принизили, повыгнали с насиженных мест. Уж на что Семен Ольгердович — лучший воин на всей Литве, Руси и Жмуди, ни одной битвы не проиграл, во всех победил, а в удел получил Мстиславское княжество. А оно пограничное. Кто Смоленск воюет, тот мстиславцев топчет, и смоляне топчут. Но мало, что княжество бедное людьми, с трудом средняя хоругвь соберется, так отправили и самого князя Семена с глаз долой в Великий Новгород. Великий-то он великий, да за реками лежит, две недели гона, два месяца обозы идут. Вот война нависла, сразу вспомнили — надо Мстиславского позвать, он и новгородцев приведет, его любят. Почему же ему Киев не дали согласно заслугам, уму и крови, или Полоцк, или Витебск, или Брест? Потому что веры на латинскую не сменил, подобно Ягайле и Витовту. А ведь он, Семен,— брат королевский, у него побольше прав на виленский посад, чем у князя Витовта.

А вот если бы ему, подумал Андрей, предложили, ну кто, ну великий князь призвал бы и предложил: перекрестись в веру латинскую — огромную получишь вотчину, как у Кезгайлы или у Остика, согласен? Пустой был бы вопрос, Андрей бы и не раздумывал, как надлежало отве-

тить. Только кто предложит? С какой стати? Никто о нем и не припомнит, если счастливый случай бог не пошлет. Вот так годами и будешь мыкаться в седле, мокнуть под дождем, дубеть под солнцем, князей встречать-провожать, возить письма, пока не пробьют лоб чеканом в какой-нибудь стычке или не прошьют стрелой. Девятерых потеряла сотня за это лето, хоть ни с кем и не бились. В Ковно гнали с письмами; вот так же, как здесь, лес обступал. Стволы, зелень, глухие стены с обеих сторон — пуща, вечная глушь. Час предзакатный, тишина, вдруг — жиг! жиг! — и двое валятся с седел, в спине стрелы. Поминай как звали! Кто стрелял? Немцы ли в засаде сидели? Жмудины ли подкупленные? А на Подолье — солнцегар, духота, пёк, в рубахе потно, по три дня кольчуг не снимали: по пятам втрое больший отряд вражий шел. Бой не примешь — вырубят. В железе три дня и скакали, варились, как раки в котле, как грешники в пекле. Тоже пятерых недосчитались. Так всю жизнь можно и промотаться.

Дорога, бесконечная скачка, одурь в уме. Пять месяцев пронеслось скорее недели. Выехали — зеленело, а уже лист облетает, прелью осенней дышит лес, и ничего в памяти — лишь конская грива, сзади храп, топот, ржание коней, да друг Мишка Росевич обок. Случай бы бог послал, вот о чем надо помолиться.

Росевичу хорошо, его нужда не заботит: единственный сын, отцовская вотчина вся ему перейдет. Ну сестрам приданое выделит — невелик ущерб! А их, Ильиничей, шестеро братьев. Раздели вотчину на шесть кусков — что достанется? Дом срубишь, курятник, хлев, а уж сеять тогда только на крыше. Отец и думать не стал: старшим по половине, а младшим — вот мечи, вот кони — выслуживайте.

И отец Мишкин известен на княжеском дворе — товарищем Витовту был, из Крева помогал бежать, коней привел под стены, во всех боях при князе безотлучно ходил, от смерти спасал. Только под Ворсклой ему не повезло, татары саблями покусали — охромел, окривел, сидит в своей Роси, но князь его помнит и на Мишку ласково глядит. Мишке бога не просить. Его великий князь и без бога найдет случай возвысить.

Случай, думал Ильинич. Еще угадать надо, тот ли случай. Ошибиться стало легко. Вон Рамбольд решил отличиться, повел хоругвь на пруссаков, два замка сожгли, рыцарей порубили — и не угадал. Не надо было, мир нарушил. Ягайла с немцами примирился до лета, немцев до лета тронуть не моги. И оказалось, крыжаков рубили на

свою же беду. Самому Рамбольду голову и отделили. А не рвался бы — жил-был по сей бы день.

Ильинич невольно перекрестился.

— Ты чего? — удивленно спросил Мишка.

— Рамбольд припомнился. Царство ему небесное!

— Да,— вздохнул Мишка,— горько погиб.

Еще бы не горько! Зря, ни за что, за доброе дело. Жесток князь Витовт. Зачем было голову сечь? Хватило бы в подвал кинуть. Война на носу, каждый меч пригодится будущим летом. Умелый был рыцарь, отважный, а его, как татя, трыкнули топором на радость немцам. Суров князь Витовт, думал Андрей. Так любого можно казнить, так каждый может провиниться. На порубежье это легче легкого. Не по вине озлился князь. Конечно, Рамбольд приказ нарушил — потрогал немцев. А что ему оставалось, если крыжаки схитрили, как они любят: в канун перемирия сожгли деревню. Закат догорит — считается уже мир, так ведь не мирно: в деревне хаты догорают, трупы не убраны — некому, всех перебили, и Рамбольдовы люди были там на постое — тоже погибли. Ну как ему было стерпеть? Его друзья посечены, а в двух верстах, в крепости, за деревянной стеной, над которой высятся колокольня и островерхие крыши, пируют немцы: им весело, безопасно, закат угаснет — мир, они песни орут в сотню глоток, этот рев разносится эхом. Как удержаться? Чем ярость свою загасить? Вы нам спели, мы вам споем! Кровь за кровь! Вы с вечерней зарей нас пожгли, мы вас с утренней. А взойдет солнце — тогда и мир, по-честному, на равных.

Печалясь о товарище, Андрей вообразил себя на его месте и сказал себе, что поступил бы так же — сжег бы эту крепость,— и еще признал, что Рамбольд сжег ее ловко — без боя и без потерь. И князь Витовт, наоборот, должен был наградить его за решительность. Андрей представил себя возле Рамбольда, увидел осторожный переход хоругви через лес, долгое томленье на опушке. Между лесом и крепостью лежало просторное жнивье. Солнце садилось, редкие, высокие скирды отбрасывали длинную тень, багряный закат неспешно сходил за край земли. Настала ночь. Угомонились в крепости немцы. Только охрана ходила вдоль стен по внутреннему навесу. Рамбольд сказал: «Ну, за дело!» И два десятка парней тихо, как волки, поползли по колкой стерне, держа на спинах лестницы, связанные из сухостоин. Подобрались, приставили лестницы, полезли на стены. Крыжак охраны услышал шорохи, высунулся поглядеть и получил в лоб стрелу. А уже наши в крепости, пры-

гают с навеса, бегут к воротам, рубят воротную стражу. Ворота распахнулись, вспыхнул факел — Рамбольд пустил свою полусотню в галоп. Яростный крик мщения разорвал тишину ночи, обрушился на дома, пробудил спящих, и они оцепенели, постигнув, что пришла смерть. Была крыжацкая крепость — стала черная плешь на земле...

А через три дня прибыли к Витовту орденские братья, трое рыжебородых мрачных немцев в белых плащах. Магистр и капитул удивлены: почему великий князь не держит слово? Или нарочно не держит — хочет воевать? Или слово великого князя не закон: кто захочет — нарушит? Кто нарушил — ответит, сказал Витовт. Вынесли плаху, привели Рамбольда, блеснул топор, все невольно зажмурились — горько было глядеть, как погибает смелый жмудин, только палач глядел — чтобы не промахнуться — и немцы — им маслом по сердцу. Да брат Рамбольда надрывно кричал: «Князь, пощади!» И зачем было ублажать этих немцев? Не из-за Рамбольда война началась. Нет Рамбольда, все равно ее не миновать.

Темно, думал Андрей, не понять, о чем думает великий князь. Да и как разобраться в больших делах маленькому человеку? Боярин что воробей — из какой бы кучи зерно утянуть, а великий князь орлом парит над княжеством, все видно ему, все грозы на рубежах — там ливонцы, там пруссаки, там венгры, там татарская орда, обо всех надо думать. Князь сейчас не проигрывает, метко бьет, научила Ворскла. Так звезданули татары, как отроду не терпел. Сам князь стрижом улетал, в Вильно опомнился.

Теперь те же самые татары, что из нас дух выбивали, косяками приняты в княжестве; в Лиде и Троках осажены тысячами, под Гродно огромные таборы стоят. Они не сеют, не жнут, а их поят, кормят, табуны на лучших лугах пасутся; свои, если от голода дохнут,— пусть дохнут, а этим, что ни попросят,— велено сразу же подавать. Почему? Зачем? За какие заслуги?

Поднялись на пологий лысый холм, увенчанный пограничным камнем. Князь Семен Ольгердович дернул поводья — послушный конь застыл. Огляделись. В низине блестела черная петля реки. И леса, леса, ель с сосною, желтые — ольховые, кленовые, березовые перелески. Жухлые метины болот. Порубежье. Влево — псковская, вправо — новгородская, сюда — полоцкая земли.

— Ну что, други,— улыбнулся князь Семен,— спасибо за проводы. Распрощаемся до новой встречи. Даст бог, летом в другую сторону пойдем.

Ильинич с Росевичем и по их примеру сотня поклонились; князь тронул коня и пустил с холма вскачь. И новгородский отряд дружно зарысил следом. «Бывайте!» — «Береги вас бог!» Стояли на холме, смотрели, как новгородцы втягиваются в глухой, вековечный, тронутый багрянцем лес. Отблескивали пристегнутые к седлам шлемы, мелькали красные и бронзовые щиты на широких спинах, колыхались копья, летела из-под копыт дорожная грязь. Скоро скрылись в чаще, и долго уходил гулкий, тяжелый топот, стихал, гас под холодным ветром.

Сотня повернулась и прежней дорогой зарысила к Полоцку. Все заугрюмились — где ночевать? Хоть насмерть загони коней, до вечера в полоцкий замок не успеть, а ночью стража не пустит. У костров — грудью жариться, спиной мерзнуть — опостылело за эту осень. И дождище, похоже, зарядит, ему не прикажешь...

Скоро и впрямь небо затянулось серыми тучами, стало крапать редко, легко, словно нащупывать сухие места. Тогда Селява прискакал к Ильиничу, предложил свернуть с Полоцкого шляха — в двенадцати верстах его вотчина.

— К вечере доскачем, медом согреемся. Как-нибудь вповалку — бояре в покоях, в сенях, паробки на гумне, в овине — все укладутся.

Понурая сотня повеселела, жикнула плетьми, кони рванули, помчали на боярский двор, под крышу, к огню.

Задождило, однако, надолго. Серый ситничек сухой нитки не оставит. И новгородцам бедным достанется, вымочит, как нивку, у костра не обсушишься, натерпятся мужики. Но для них это понятно — служба. А князю зачем терпеть? Вот уж услада туда-обратно скакать тысячу верст. На что ему Великий Новгород? Сидел бы в своем Мстиславле. Славы, власти не ищет, как прочие Ольгердовичи; бесы не дергают людям головы сносить. Чем Новгород мять поборами, лучше ливонцев давить.

Но у нас все, думал Ильинич, через пень-колоду: немцу Жмудь отдаем, сами Смоленск воюем. Да что Жмудь! Бывало, полоцкие земли немцам отписывали, ливонцам, крыжакам, извечному своему врагу. Ягайло додумался, когда начал борьбу за власть со старшим братом Андреем, князем Полоцким. Ненавидел Андрея, у того больше прав на виленский трон было, вытеснил из Полоцка, тому и бежать пришлось. Князь Андрей какой-то год в Москве жил, Псков его принял боевым князем, он полоцкую и псковскую хоругви привел Дмитрию Донскому в помощь. На Куликовом поле полк правой руки держал, полоцкие ратники

славой себя покрыли, им архангел Михаил помогал татар сечь, сам бог на их доблесть дивился.

А Ягайла хотел Мамаю помочь, но в битву не вступил — побоялся. Потому и живой. Невзлюбил князя Андрея насмерть, вообще отнял Полоцк, а полочанам наказал: любите, жалуйте младшего моего брата, Скиргайлу. Пожаловали. На старую клячу, обляпанную навозом, посадили мордой к хвосту и выправили на Виленскую дорогу. Юродивые Спасо-Евфросиньевской церкви в свите шли, задницы показывали. И не пикнул, иначе головы бы не унес. Вот тогда Полоцк немцам и подарили. Те пришли, три месяца под стенами проторчали и снялись, когда их споловинили.

А уж затем князя Андрея сглазили бесы, сглупел на старости лет, тронулся умом: своей волей отписал полоцкую землю под власть ливонских крыжаков. Мог великим князем стать, бросил бы клич — Витебск, Мстиславль дали бы людей, вся Белая Русь присоединилась, Полесье, все православное боярство пришло бы в хоругви. Побоялся своих звать, решил — немцы лучше помогут, они в латы одеты, их рубить труднее. Помогли, не отказались, семнадцать трокских и виленских поветов начисто выжгли, нарубились, награбились всласть, три тысячи людей с собою увели — князь Андрей благословил. На том этот князь и кончился, кто любил — все отшатнулись. Скиргайла и Семен Ольгердович скрутили его и куда-то вывезли в подвал на семь лет.

Было времечко — головы слетали, как листья в листопад. Князья дрались, бояре головы ложили: полоцкие за Андрея, гродненские за Витовта, киевские за Владимира. Разберись, боярин, кто удержится, кого завтра скинут, кто ногами засучит от цикуты? Ошибся — плати горлом, в лучшем случае — вотчиной, иди казаковать на лесную дорогу, пока на колесо не покладут. Да и сейчас не легче. Рвешься, служишь, гоняешься за удачей; кажется, пришла, ухватил ее — нет, кукиш, промахнулся, отдай жизнь, как Рамбольд.

Хоть мыслями Андрей цепился ко всему, что убеждало — не надо из кожи лезть, тогда жизнь удлинится, но сердце, нутро все ныло, желало внезапного счастья, того единственного случая, что сразу вознесет в гору. Можно десятками лет выслуживать, к старости по крохам немало собрать, но какая радость старому от табунов, дорогого оружия, богатых одежд: рубиться силы нет, верхом ездить — душу вытрясает, в церковь под руки ведут. А желалось немедленно, пока молод, пока в битвах впереди хоругви становишься, живешь на людях, девок взглядом смущаешь, сейчас, без отсрочки, иметь крепкий двор, сотни коней, де-

сятки паробков, чтобы никто не смел ухмыляться: мол, храбрый ты, конечно, боярин, да что с того, если пять человек выставляешь, а я — тридцать. И случится между нами ссора, мои твоих не мечами, шапками закидают.

Выпал бы случай великому князю услужить, мечталось Ильиничу, особенное для него сделать, ну хоть жизнь спасти. Часто на его жизнь охотятся. Вроде бы и врагов нет, всех побил, прижал, поизвел, кажется, прочно княжествует, а недавно из кухонных подвалов бочонок меда подняли — счастье, собака возле кухаря вертелась, дал руку облизать, тут же глаза и выкатила, завыла, захрипела, пеной захлебнулась, ноги разъехались — выбрасывай. Сейчас стая псов пробы снимает. Но кто замыслил? Как отравленный мед в припасы попал? Конечно, не обошлось без крыжаков. Но как? Кого наняли, подкупили? Это нетрудно: немцы на князев двор как на свой ездят. То жалобы везут, то подарки. Княгине Анне клавикорды прислали, а при них немец — монах, черный ворон,— играет княгине по вечерам, а днем по за́мку таскается, в каждую щель глаз пялит. Спросят что-нибудь, отвечает: «Не понимайт!» Все понимает, на каждый разговор ухо вострит. Лазутчик! Ему вместо креста камень на шею — и в Гальве...

Вдруг сквозь пелену ситничка потянуло дымом. Селява поровнялся, объяснил: в полуверсте деревенька тут в три двора. Бортники осажены. Мало походило на печной дым, рассеяло бы еще у хаты. Похоже, жгли что-то или горели. К зиме погореть — смерть. Переглянулись с Селявой — и припустили во весь дух.

Скоро вынеслись на поляну: пожня была по левую руку, небольшое поле по правую и дворы. Действительно, горела правая хата, выли там, кто-то суетливо метался. Но что было неожиданно — на пожне стояли толпой всадники. Андрей сразу прикинул — в толпе поменьше людей, чем при нем. За шорохом дождя, за треском пожара, за бабьими воплями прихода Ильиничевой сотни сразу не заметили, но сейчас кто-то выкрикнул, махнул рукой, толпа обернулась, тут же стала выстраиваться гуфом, а вперед выехал осанистый, сильно уверенный в себе человек и крикнул повелительно:

— Кто такие?

Ильинич близился к нему шагом, решил тянуть время, чтобы сотня полностью вышла из леса. Молчал, приглядывался, увидел на дороге посеченных мужиков в колтришах, понял, что пытались отбиваться секирами, увидел зарубленного боярина и подорванного в брюхо ножом коня —

тот еще вскидывал головой. Поднял руку — это был знак, чтобы сотня развернулась боевым строем. Их старший нетерпеливо и уже с угрозой выкрикнул вторично:

— Кто такие?

— А ты кто? — рявкнул, взбесясь на угрозу, Ильинич.

— Великий князь Швидригайла!

Сказано было ледяным голосом, с пониманием, что подействует. И подействовало — Ильинич оторопел: Швидригайла, родной брат польского короля, стоял напротив него, прожигал гневным взглядом. Только на миг кольнул Андрея привычный страх перед знатным и страшным именем, кольнул и сменился радостью. Вот он, случай, желанный, единственный, неповторимый! Услыхал бог молитвы, дождик послал, надоумил с полоцкого пути повернуть. Удача! Нареченный час! Швидригайла — трижды изменник, бешеный властолюбец, беглец, душегуб, предатель — шкодит на порубежье. Вспомнилось: князь Витовт чертом носился по Троцкому замку неделю назад — Швидригайлу упустили, ушел, бесследно исчез; кричал искать, найти, хватать, везти обратно; чем скорей — тем больше награда. Много бед натворил тот за последние годы. Другой за всю жизнь столько не наделает, сколько этот сумеет за один день. Василю Дмитриевичу, князю московскому, бегал служить. Из-за него воевать ходили с Москвой, едва примирились. Но и там не усидел, не понравилось среди малых князей ходить. И московскому князю изменил, а чтобы все про это узнали, сжег Серпухов, огнем измену свою припечатал, вернулся с повинной в Троки: «Родине буду служить!» — а спустя неделю выслал кого-то к прусским крыжакам помощи просить — князю Витовту в спину ножом ударить в удобный миг. Хватать его надо, вязать, Витовт не поскупится, отблагодарит, но тень Рамбольда вдруг промелькнула в памяти, остужая решимость. Решил убедиться.

— Почему, князь, свободных людей выбиваешь?

— Не знаю, кто спрашивает?

— Великого князя Александра сотник Ильинич.

В ответ услышал Андрей полные презренья, словно плевок, четыре слова:

— Не твоего ума, холоп, дело!

Захотелось в морду кулаком за «холопа», но сразу же вновь возникло сомнение: может, помирились с Витовтом, может, простили ему грехи, как многажды прощали?.. Что-то слишком уверенно глядит. Но примирились бы — не стоял на порубежье в глухих лесах. Потому, решился

Ильинич, возьмем. Только живым надо брать, непораненым, брат королевский, Гедиминова корня, Ольгердова кровь, нельзя убить, даже поранить, поцарапать нельзя, с самого потом шкуру снимут. Пусть его князь Витовт хоть на крюк навешивает, а нам ему и зуб выбить опасно. Головы может стоить этот зуб. Но ведь оружия не сложат, вон какие угрюмые, отбиться попробуют. Черт с ними, решил Андрей, с божьей помощью посечем. Приказал твердо:

— Я, князь, тебя и дружину задерживаю. В Полоцк поскачем. Отдай меч!

Швидригайла обнажил меч, тронул лезвие пальцем, сказал жутко:

— Сейчас получишь! — вскинулся на стременах и рванулся к Ильиничу: — Бей! Руби!

Андрей своим людям и знака не подал, сами знали, что делать, не первый был бой. Лишь крикнул, обернувшись:

— Князя брать живым!

Сотня тронулась и, обнимая серпом отряд Швидригайлы, завыла на татарский лад истошными голосами.

Хоть князь Швидригайла в бой ринулся первым, но биться Ильиничу пришлось не с ним. Князя закрыли, он остался за спинами, а на Андрея летели, наставив копье, мрачный, черный крепыш в колонтаре и еще боярин с поднятым мечом. От копья нечем было защищаться — щит лежал на спине, в горячке забыл взять на руку. Андрей решил: «Повалюсь на бок и ударю в живот». Но Андреев лучник Никита упредил, выпустил стрелу — метко, в щеку,— крепыш и запрокинулся — готов. Тут лоб в лоб столкнулись гуфы — треск, звон, крики, конский храп, вопли! Пока Ильинич отбивал удар меча и сек боярина, князя пришлось выпустить из виду, а когда глазами отыскал — обмер и взбесился: окружившись десятком приспешников, тот уходил. «Ромка, Докша, Ямунт, Юшко, ты, ты, ты! — закричал Андрей в лица.— За мной!» — и вынесся из сечи. Коню так вонзил остроги — тот завизжал. Пошли наперерез. Ни страха, ни жестокости не имел, одно заботило: как взять? Бить нельзя, на коне не сдастся, не дай бог к лесу повернет — скроется в буреломе, не найдешь. Краем глаза заметил у Докши сулицу. Крикнул: «Дай!» Взял меч в левую руку, прижал копье локтем — собью! Неслись навстречу бешено. Швидригайла прикрылся щитом, высоко поднял меч. Вороной его конь сверкал черными глазами, серебрилась мокрая шкура, страшно желтели в разинутой пасти зубы, и пена шла из ноздрей. Хороший конь! Жаль было коня, но в шею, чтобы наверняка, насмерть, сулицу и во-

гнал. Вороной удивленно и горько вздыбился, миг постоял и рухнул на подогнутые ноги. Князь с мечом и щитом полетел через голову, чуть сам себя не заколол. Попытался вскочить, но Ильинич уже падал на него и, зажав голову, душил. Приспешники князя дрогнули, их мечами оттеснили и посекли.

Полупридушенный Швидригайла лежал на мокрой траве. Можно было и продышаться, глянуть по сторонам. Князевых людей крепко уменьшилось, их обложили, и стрельцы спокойно их выбивали. Никита меж тем вязал князю руки; тот приходил в себя, дергался скособоченной головой, хватал ртом воздух, зло всхлипывал. Потом затих, наблюдая, как гибнет его отряд.

Через четверть часа, кто оставался живым, побросали мечи, сдались на милость. Тут случилась приятная неожиданность. Меж пленных оказалось трое немцев. Андрей обрадовался: выкуп за них будет, прибыток нечаянный. Немцев обыскали и нашли два письма, писанных на латыни; кому письма, о чем, и гадать не могли. Но, видя, как немцы и Швидригайла на эти бумаги глядят, Андрей понял — важные. Понравится Витовту, будет за них княжеская милость и награда. Взял их себе, бережно запрятал в свитку. Поднял глаза к серому небу: «Спасибо, господи, удалось, скрутил именитого князя, царапины не поставил; приедем в Полоцк — свечу воскурю в древней Софии, а не казнят — еще одну воскурю, а наградят — пять, десять зажгу». Андрей скрепил обещание крестом и пошел к груде тел. Там стенали о помощи люди, вспоротые лошади вдруг вскидывались и смертельным ржанием звали неживого уже хозяина. Лучники, паробки разбирались: кто дышит, кто дух испустил. С мертвых стягивали кольчуги, панцири, колонтари, снимали пояса. Резали порченых коней, выносили своих раненых, добивали Швидригайловых, потому что не было куда и на чем их вывозить, а оставить на пожне — все равно помрут, только настрадаются впридачу. Жуть взяла. Тридцать человек потеряла сотня, девятнадцать — насмерть, уже в рай стучатся. И Мишка Росевич не уберегся, копьем выдрали бок, едва ль вытянет. Опустился на колени над беззвучным приятелем. Горечь, жалость, терзание в душе. Не стоил такой утраты князь Швидригайла. Не сосчитать верст, что с Мишкой отмерены, а сколько спасали один одного, сколько вместе рисковали, вытерпели дождей, голода, бессонных ночей. Одиноко станет на свете жить, пусто будет без Мишки в сотне. Взмолился: «Иисусе, милый, всемогущий, справедливый, спаси! Дал мне удачу, верни

другу моему жизнь. Прояви свою милость и щедрость. Вон наших без одного два десятка лежат, не кругли счет, позволь выжить. Святую душу для жизни спасешь!»

Пришли бабы из деревеньки — жены побитых бортников — своих мужей забирать. Объяснилось, за что их разорили и посекли. Князевы люди сказали: «Дайте на всех поесть и с собой дайте». Мужья ответили: «Если на всех дадим, с чем сами останемся?» Князевы люди сказали: «Силой возьмем», вошли в один хлев — кабан под мечом заверещал. Мужья за рогатины и секиры: оборонимся! Господи, куда ж ты глядишь, как жить теперь?

Ильинич и жалел, и досадовал. С кем заспорили, кому перечили? Он Серпухов сжег, полный город, греха не убоялся. Что ваши дворы? Отдали бы, новое нажили. А так — лежат, головы расколоты, бабы — вдовы, дети — сироты. Никому не нужны. Майся до конца жизни. Но и мужиков можно понять. Почему дай? Насыть такую прорву, они своих жил летом не рвали, а все сожрут, придется кору глодать. Еще раз убедился — врага взял, который о людях не задумался, с крыжаками шел. Большой дорогой им было нельзя — заставы, а стежками, лесами в обход — голодно, вот натолкнулись на осадников, решили запастись. Хорошо запаслись, половине уже ничего не надо — ни хлеба, ни воды.

Андрей сказал бабам:

— Вы, бабы, потом повоете, сейчас живым помогите.

Мишку понесли в хату перевязывать.

Князя Швидригайлу и немцев Ильинич приказал охранять особо, а других пленных гнать в Селявы. Их без слов, пинками и торчками, стали собирать на дорогу. Швидригайла не утерпел, взбесился:

— Вы кого ведете, холопские рыла? Татар? Это бояре древних родов!

— «Бояре»! Мать их! — озлился Ильинич.— «Древних родов»! Разбойники и тати! А ты первый!

На Швидригайлу злость отчаяния нашла, рвала сердце: не привык быть внизу, стоять, ждать, подчиняться. Мелкие люди, челядь боярская, подъезжали, осматривали, усмехались, отъезжали, а он мок под дождем, как безвестный старец, как последний холоп. Умереть было легче. Никогда прежде никто — ни брат Ягайла, ни извечный враг Витовт — не смел коснуться пальцем, а сволочь боярская — в ногах должна ползать, взгляды перехватывать, за счастье считать, если ногой пнут! — руки выкрутила, шею свернула, душила, подлая шваль, как вора. Мотал мокрой го-

ловой, скрипел зубами, руганью выплескивал раздиравший грудь гнев.

— Никому не прощу, холопы, скоты! Завертитесь на колу, покипите в смоле, в угольях живьем зажарю! А тебя, сотник, раб, щипцами прикажу рвать по крохам, крысам отдам! Припомнишь этот лужок...

Ильинич слушал, супился, дивился княжескому гонору: взят, люди побиты, без заступников, хоть на сук, хоть в реку, хоть в костер — все возможно, кто остановит? А он орет, пенится, словно на престоле сидит. Не будь ты брат королевский, не мечталась бы за тебя награда, отведал бы, сволочь, плети. И скрипит, и дразнит, и охотит потянуть меч и плашмя припечатать к наглой морде, чтобы зубы лязгнули и рот затворился.

Но пересилил Андрей опасное это желание и поскакал к хатам. Поважнее были заботы, чем от слов пленного князя шалеть. Что бы грязного он ни сказал — не отплатишь. Брат королевский, стрыечный брат князя Витовта. Пусть ярится. И его понять нетрудно. Огромными землями владел, сотни бояр в пояс кланялись, города жег, престол воевать собирался — и все вдрызг, связан, приятели порублены, терзается, что завтра грянет на голову, когда в Троки привезут, какую судьбу Витовт определит. Ну, конечно, не завтра, завтра только от Селявы выберемся, но дня через три. Тем лучше: дольше помучается.

На третьем дворе Андрей спешился, вошел в хату. Курила печь. В избяном сумраке увидал на скамье полуголого Мишку, не понять — живой или мертвый. Старуха лепила ему на кровавую рану, прямо на рваное мясо, замоченные листья. «Будет жить?» — тихо спросил Ильинич. Старуха что-то прошамкала, не расслышал что, но переспрашивать не стал: не от нее, от бога зависело. Что суждено, то не пересилишь, от того не убежишь, за печь не спрячешься. Припомнилось, что как-то Мишка рассказывал о старшем брате, который погиб, спасая сестру. Войны не было, не убегал князь Швидригайла, а того все равно смерть отыскала. Сейчас возле Мишки остановилась. Может, такая судьба у Росевичей. Увидел Мишкиного соседа Данилу Былича — тому мечом спину пробили, тоже пожалел. Поглядел других товарищей — никто легко не отделался. Вышел во двор, сказал людям взять у бортников телеги, погрузить раненых и везти за ним вслед.

Швидригайлу и немцев посадили на коней, стянули веревками ноги, и Андрей обок князя, чтобы всегда бесценный пленник был на глазах, повел поредевшую сотню в Селявы на короткий ночной отдых.

Спустя несколько дней после схватки паробок Данилы Рудый, загнав двух лошадей, привез жене своего хозяина недобрую весть. Ольга тотчас послала людей к свекру и к Росевичам. Две пары стариков немедленно съехались к ней, послушали рассказ Рудого о тяжелых ранах сынов и, решив за лучшее не надеяться на чужую заботу в далеких Селявах, сейчас же выслали за ними челядь и подводы. Если суждено детям выжить, рассудили старики, то дома и стены помогут, а коли суждено помереть, то будут оплаканы родными и родной землей укрыты.

Все дни ожидания прошли для Ольги в неотступном душевном изморе. Днем она думала про мужа с сочувствием, жалела его; ей мерещились тряская дорога, обескровленный Данила на соломе под ледяным осенним дождем, стоны его, когда колеса прыгали на колдобинах. Она молилась об его исцелении. Еще она просила в молитвах, чтобы господь дал ей силы ухаживать за мужем, вернул доброту к нему, легкость на сердце, заглушил злую память, потому что Данила сейчас немощен и рана его опасна. Но ночью, в темноте избы, душа выходила из подчинения рассудку и память разламывала все дневные уговоры, разрушала дневные молитвы. Бесконечной чередой, будто ратники на войну, проходили перед глазами обиды на мужа, складываясь в мучающее чувство беспросветной жизни, в привычную злую неприязнь. Ольга словно на ощупь, с пристальным досмотром, как лежалые яблоки, перебирала день за днем четыре года своего замужества и не могла припомнить ни одного светлого дня. Этот двор с крепкими постройками, с погребами и каморами, полными припасов, обнесенный высоким тыном из заостренных дубовых стволов, стал ее острогом, в котором ей выпало страдать и терпеть, дожидаясь конца своего века. Никто не мог ее защитить, никто не мог вырвать ее из этого двора, из прав Данилы, отнять ее у него для себя, никто и не знал — хорошо ей здесь или плохо.

Но был путь избавления, он открылся ей однажды, в одну из горьких минут: бежать отсюда, уйти куда-нибудь далеко, в Полоцк, в монастырь, кинуться в ноги игуменье, умолять, пока не смилуется, не скажет отрезать косу, накрыться клобуком и принять новое имя. И она будет жить с сестрами, и никто не будет над ней властен — только бог. От той жизни — чернушечьей — хоть людям может быть польза, хоть убогим скажет слово заботы и хворым даст

уход, от этой — никому. Да и бежала бы давно, не терпела годами свою муку, одно удерживало — страх, обуздывающий желания страх, что никогда больше не увидит Мишу Росевича, не услышит его голос, не согреется его ласковым, сочувственным взглядом. Ради него, ради случайной встречи в церкви на праздниках и томилась в этом остроге. А теперь оба поранены, оба под оком смерти. Оба выживут — пойдет прежняя мука. Миша умрет — в тот же день ее здесь не станет или тоже умрет. Данила умрет — душа воспрянет...

Хоть и грех перед богом такие мысли, но нет силы их победить. Невозможно принудить себя к терпению, проститься с мечтой о счастливом дне и воле. Пусть грех, пусть бог ее покарает, только б изменилась или окончилась такая жизнь.

Дождь, тоскливый, октябрьский, сыпался с неба и день и ночь. Ольге страшно: в темноте, под нудный шелест воды за стеной время словно назад идет, душа глядит в прошлое, как в живое, терзается об ошибках. За одну ошибку всей жизнью платить — как смириться? Как понять, ответить себе, почему пошла за Данилу; ведь не силой он ее взял, и не силой ее отдали. Сама решила. Только зачем? Ну, понятно, те, у кого мать и отец грозные да расчетливые, тех принуждают, чтобы не засиживались, тем деться некуда, отказаться невозможно, отец прикажет — идут.

Но ей, без отца и матери, без родительского указа, вот так, одним кивком головы, сменить свою волю на плен, своего брата на незнакомого, виденного мельком в толпе Данилу... Зачем? Ведь и тогда нравился другой человек, не знала, как звать его, встречался он не чаще Данилы, а нравился больше. Но зашла крестная, спросила, примет ли она сватов, и будто зачаровала. К подругам сватались, ее задевало — почему не к ней, чем она хуже. Как игра, в которую не принимают: играть не хочется, но обидно, что не берут.

И вдруг сваты, все празднично, горлицей и княгиней называют, Данила в пояс кланяется, подруги завистливо шепчут: «Ох, он тебя любит, без приданого берет». Задурили голову, и проходила до покрова завороженная, в полной глухоте, словно тетерев. Потом землю снегом припорошило — свадьба. Ее одевают, вокруг толпа соседок, подружки то воют, то пляшут, минуты покоя не дают; и, как во сне, появился Данила, их ведут в церковь, там свечи, ладан, отец Фотий тычет крест целовать, что-то говорит, что-то рукой по воздуху рисует, и уже они — муж и жена. Вышли из церкви, сели в возок, и повез ее свадебный поезд под звон

колокольцев из Волковыска, от отчего дома, сюда, за двадцать верст от города, в лесную глушь, в дубовый острог.

Выехали за городские стены, увидела поле, примерзшую пустыню земли, оголенные ветром деревья, все какое-то неживое, словно умершее, и охватил душу ужас, стало так страшно, как никогда не было: куда везут? не надо! отпустите! никуда не хочу! А вокруг всем весело, все шутят, суетятся, поют, смеются, стол ломится от дымовины, вино пьют, пьяные хохочут, а на дворе пьяные бьются, а здесь, в хате, «Горько!» кричат — у нее же озноб по спине и плакать хочется. Да, без приданого сюда вошла. Так что́, сапоги целовать за это, рабой стать, молиться, как на икону чудотворную? Но и старалась угодить, вспоминала Ольга. Был бы добрый, может, и прожили бы дружно всю жизнь. Но дома, как с крыжаками, себя вел — криком, силой, кулаками. Кулаком в лицо! А она ребеночка носила, он уже ножками стучал, бабы слушали, говорили — мальчик. Все в тот день рухнуло, только ненависть к Даниле жила. Уже за праздник считала, когда из дому уезжал, за счастье — когда в поход призывали. Сколько раз по ночам слушала его дыханье и желала смерти! Чуть умом не рехнулась — так хотелось взять нож да полоснуть по жилам поперек горла. А потом — себя. Что удержало? Вот удержало что-то. Греха убоялась. Несчастному еще можно в монастырь прийти, несчастному и грешному — в омут. Теперь сам ранен. Что ж ему пожелать, что просить для него у бога? Пусть бог решает. Как бог решит, так и будет. Выживет, встанет — нечего ей здесь делать, уйдет в Полоцк, в затвор.

В таких провалах из добра во зло, в насильственном смирении прошла неделя. Наконец, под самые дзяды, прискакал челядник: везут, уже в пяти верстах от распутья. Ольга сказала запрягать, оделась, повязала платок и с тоскою на сердце, с чувством тяжелого страха выбралась. Скоро ее догнал ехавший конно свекор.

На перекресте проселков с Гродненским шляхом им встретились старый Росевич, его земянин Гнатка и несколько их челяди. Поздоровались, оставили подводы под досмотром баб и гуськом пошли встречать раненых. В полном молчании отшагали версту, потом услышали скрип колес и припустили быстрее, чуть ли не бежать, и как-то неожиданно, за поворотом, встретили обоз из пяти подвод. На первой лежал Мишка Росевич, укрытый до подбородка тулупом. Ольга увидела безжизненное лицо с проваленными, закрытыми глазами — и обмерла: никакой жизни, одни

мощи. Старый Иван Росевич подбежал к подводе, впился единственным оком в бескровное лицо сына и потек слезьми.

На следующей подводе ехал, полусидя в соломе, Мишкин лучник Рыгор. К нему с криками и всхлипами бросились мать и жена.

Данила тоже был укрыт шкурами по бороду и был такой же истаявший и выблекший, как и Мишка. Ольга поцеловала мужа в щеку — щека горела. «Данилка!» — позвала она. И свекор позвал: «Сынок!» Тот не отвечал и не слышал.

На перекресте Росевичи повернули направо, подводы закрылись кустами; скоро затихло и мерное хлюпанье копыт по раскисшей земле. Показавшись на минуту, Мишка словно растаял в холодном октябрьском тумане. Помолившись за него, Ольга взяла у возницы вожжи и сама повела лошадь, обходя рытвины и глубокие лужи.

У ворот их ожидали свекровь и дворовые. Мать, взглянув на Данилу, заголосила. Старый Былич, озлившись, рявкнул: «Чего, одурела? Живой!»

Данилу внесли в избу, положили на лавку, раздели, разрезав ножом задубевшие от крови рубахи. Вид нерубцующейся, в гнилостных струпьях раны вновь вызвал у матери рыдания. Ольгу вид сочащегося кровью дупла отрешил от мучительных дум и жалости к себе; она запарила подорожник, обмыла рану, обложила ее листьями, перевязала чистой холстиной. Сделав это необходимое дело, она присела в ногах у мужа и сострадательно, жалостливо плакала, чувствуя его беззащитность и свою беспомощность перед той силой, которая держала мужа сейчас между жизнью и смертью, а всех сошедшихся в дом родных в неизвестности его судьбы. Раскаяние охватывало Ольгу; она мучительно думала, что, возможно, своими обидами, злыми мыслями, тоскливыми молитвами накликала на Данилу беду, выпросила ее у бога. Ну, а Мишу Росевича за что, подумалось Ольге. А ее отец за что погиб? Не виделся ей ответ. Может, и на них был кто-то обижен...

Старики застыли напротив Данилы на лавке. Никто не нарушал немоты напряженного ожидания. Стало темнеть. Зажгли лучину, потом вторую. В молитвенной тишине, охватившей дом и двор, громко послышался тяжелый топот, спешные шаги, режущий скрип дверей: вошел брат раненого — Степка. Огляделся, спросил глазами: «Ну что?» — и, поняв неопределенность минуты, сел рядом с матерью.

Наставшая ночь усилила страхи. Все обретало значимость беды. Зло и тоскливо завывал ветер в трубе, уныло

потрескивала лучина, пугающе постукивал в окно ставень. Изредка несмело, словно кого-то боясь, брехали собаки.

Изведшись ожиданием хоть малого знака жизни, отец и мать, склоняясь над сыном, тихо окликали: «Данила! Данилушка!» — и вглядывались в лицо с надеждой увидеть проясненный взгляд, услышать ответный шепот. Данила в себя не приходил.

«Господи, спаси его! — молилась Ольга.— Спаси его, не призывай, не отними душу». Все давние, выстраданные обиды на мужа казались ей сейчас чужими; она от них отрешалась. Крепя молитву, Ольга искренне представляла себе другую жизнь с мужем: вот он поднимется — исчезнет между ними разлад; он изменится, она переменится, и пойдет живая, добрая жизнь. Она родит, в доме пойдут веселые хлопоты, шум, радость. Никто не виновен. Чем он виновен, думала Ольга. Разве он хотел горя? А она разве праведница? Замуж пошла за него, а нравился другой. С первого дня, со свадьбы, когда увидела здесь Мишку Росевича, вспомнила — вот кого хотелось, вот кого примечала в толпе. Может, с этого взгляда и пошло все вкось: ни Даниле радости, ни ей счастья. Сейчас оба помирают; а как оба помрут, так и свет опустеет.

Вошла старуха-челядница, сказала шепотом: «Полный день не евшие. Поесть надо». Сели к столу, насильно поели просяной каши. Не столько ели, сколько уныло посидели над миской, не зная, что делать и о чем говорить.

Вдруг послышался Данилин стон, и он жалобно кого-то позвал, а через мгновение нетерпеливо, как о помощи, выкрикнул: «Мама!»

Бросились к нему — тихая улыбка смерти застывала на его лице.

С рассветом Ольга послала Рудого в Волковыск за своим братом.

В это дзядовское утро Юрий рано пошел на покутье. Здесь было уже людно. На окуренных туманом могилках бледно горели свечи и плашки. Юрий очистил материнскую могилу от нападавших пластом листьев, поставил возле креста восковую свечу. Отец был схоронен далеко, на Немане, под Ковно, где погиб в стычке с крыжаками. Юрий помнил его отъезд, помнил коня под боевым, с высокой задней лукой седлом, холодный блеск стремени, в котором глубоко сидел отцов сапог и за которое Юрий держался, провожая отца в поход, помнил улыбку отцовских глаз, последний, прощальный взмах рукой с холма. Потом отец постепенно исчезал за перевалом, словно уходил в землю.

Глаза у отца были синие, улыбка — растерянная и грустная. Через два месяца полк вернулся крепко пореженный. В городе по разным концам заголосили бабы; отец Фотий в церкви, а в костеле ксендз Миколай помолились за вечный упокой убиенных на войне волковысцев.

Вечером сосед, отцов приятель, принес мешок с отцовыми вещами и оружием. Матери уже давно не было на свете. Батька другой раз не женился. Может, не нашел новую по душе или не мог забыть первую, их мать. Хозяйкой в хате была Ольга, но всю тяжелую работу батька держал на себе. Вместо него домой вернулись его рубаха, свитка, меч, шлем, кольчуга, пояс с ножом, ложка. Пугающе выглядели эти вещи, разложенные на столе. Тайна, какая-то мрачная тайна скрывалась за тем, что они остались целы, что их привезли, а отца не стало.

Помня отца живым, Юрий не мог представить его убитым, не верил, что отца положили в ряду товарищей в яму и засыпали землей. Ему грезилось, что когда-нибудь он услышит знакомый стук в ворота; ему снились сны, в которых отец возвращался — и начиналось счастье. Тогда, в первый год сиротства, он зачастил в церковь молиться о чуде; однажды он сказал отцу Фотию, какого чуда он просит у господа: отец не убит, он в плену, его обменяют на пленного крыжака. «Дай бог!» — ответил священник после тяжкого вздоха и скоро стал приглашать Юрия к себе — учить уставному письму. Проводя с Юрием по нескольку часов ежедневно, старик приблизил его, словно отысканного по милости судьбы родича; оба одинокие, они стали дружны и неразлучны, как дед и внук. Чудо не совершалось. Юрий взрослел, душу его захватила страсть мести. Ему виделся победный блеск меча. Он попросил у Фотия благословения стать воином. Фотий благословения не дал, ответил: «Сперва возмужай». Помимо церкви, было у Фотия другое дело, святая страсть — он писал волковыскую хронику. Листы хроники хранились в окованном сундуке вместе с десятком накопленных за жизнь книг и саморучно переписанной в молодые годы Библией, по которой он читал в праздничные и воскресные службы. Однажды старику скрючило руку; гусиное перо не держалось в пальцах, стало прыгать по пергамину судорожными скачками, и Фотий, скорбя, доверил Юрию писать хронику со своих слов. Став книгописцем и получив доступ к заветному сундуку, Юрий прочел «Слово Кирилла Туровского», «Жития печерских старцев», «Требник» и «Златоуст». Чтение привело его к мысли, что зло победишь не злом, только силою

доброго слова и дела. Познавая дьявольскую природу оружия, он чувствовал в этом измену памяти отца. Но и любое пролитие крови казалось грехом против совести, вложенной в каждую душу, против сострадания и милосердия, в которых проявляется завещанная спасителем любовь.

И сейчас, видя вокруг суету людей у могилок, Юрий ощущал благость этой любви, просветляющей душу, роднящей всех в братстве по чувству. Всех, пришедших сюда почтить дзядов, сплачивало равное для каждого искреннее чувство благодарности, почтительности и умиления. Христос хотел, чтобы так было всегда. Только к сожалению, думал Юрий, люди пока еще неспособны на постоянную любовь, уважение, помощь друг другу. Множество глухих и слепых, как говорит отец Фотий. Соблазны богатства и власти обманывают их; ведь ни богатство, ни власть не удлиняют человечий век, и бог не взвешивает добытые человеком деньги или назапасенные сено, одежду, украшения. Он взвешивает только ту невидимую драгоценность, которую накопила душа.

Юрий развязал узелок, распрямил на могилке холстину, отлил из фляги вина под крест, положил угощение дзядам, сам отпил глоток и, глядя на огонек свечи, долго сидел, стараясь возродить в памяти материнский образ, вспомнить ее голос и слова. Мать учила его говорить, ласкала его, что-то нашептывала, какие-то добрые пожелания. Ни одно из них теперь не слышалось, заглушенное забвением. Эта неблагодарность, беспамятство, невозможность духовной встречи отзывались болью в душе Юрия. Он сидел на том месте, где отец, Ольга и он навсегда распрощались с матерью, но память не удержала́ ту горькую минуту или запрятала так глубоко, что ей не доставало силы появиться в сознании. Вот это и есть сиротство, думал Юрий. Ходишь по земле, появился на свете, рожденный, вскормленный, наученный матерью,— и не знаешь, кто она, будто не существовала. И неподвластная уму загадка туманом закрывает твое появление среди людей.

Эта невозможность духовной встречи смущала Юрия. Он собрался и пошел к отцу Фотию.

Скоро он пришел на площадь, в этот час пустую, с запертыми лавками, постоял в каком-то неясном удивлении перед костелом, из которого слышалось пение, и по крутой насыпи поднялся на Замчище, где стояли старая рубленая церковь, маленький пустующий за́мок и где в хатке, прилепившейся к дубовым плахам городни, жил Фотий.

Старик, по своему обыкновению накрывшись поверх рясы платком, грелся у печи.

— Поздно спишь,— укорил Фотий,— давно тебя ожидаю.

— На покутье ходил,— сказал Юрий.— Дзяды сегодня.

— А, верно, дзяды,— удивился своей забывчивости старик.— Хотя в старости все время — дзяды, одно прошлое и на уме. А вот сам умру, все, что помню, тоже со мной умрет и забудется. Слабеет память. Отца помню, а деда не помню совсем. Каков был? что делал? как звали? — словно и не было его на свете... А он меня, верно, на руках качал! Вот, чудеса жизни! Впереди — неизвестность, минувшее — богу принадлежит, а мы посередине, на узкой меже протекающей минуты. В будущее идем, на прошлое оглядываемся. Оно, как зеркало,— старик настроился на серьезность.— Ну, что, поработаем немного?..

Юрий открыл стоявший под образами сундук и достал лист пергамина, исписанный наполовину, пузырьки с чернилами и киноварью и пучок перьев.

— Скажи, отец Фотий, почему костел поставили у подножия горы? — спросил Юрий, вспомнив свое недавнее удивление.

— А где еще было ставить? — отвечал старик.— Там капище было, рос дуб, огонь горел. А лет двадцать назад крестили в латинскую веру деволтву и жмудь, тогда дуб сожгли и на месте кострища срубили костел.

— Отчего же в нашу веру не окрестили? — спросил Юрий.— Ведь волковыская церковь древняя?

— Древняя,— кивнул Фотий.— Три века стоит. Только не успели. Другие были дела. Вот и об этом надо записать, а то забудется.

— О чем? — не понял Юрий.

— Как здесь племена мешались. Кто жил, кто остался. Пиши.

Фотий сосредоточенно и неспешно, чеканно, как в церкви, стал говорить:

— Там, где Брест, Белая Вежа, Беловежская пуща, реки Ясельда, Мухавец, Нарев, Зельва, Сокольда, жили ятвяги. Они и сейчас там живут, но не сберегли своих отличий, ибо потеряли князей. А князей потеряли в войнах с киевлянами, поляками, а потом и с крыжаками. От Полесья до Вильно и Трок, от Гродно за Новогрудок — эта вся земля называлась Литвою. А как стали здесь селиться наши и построили города Гродно, Слоним, Вильно, Лиду, Крево, Волковыск, стала она называться Русь Литовская.

А за Вильно до Ковно лежит Деволтва, а от Ковно до моря — Жмудь, а в другую сторону от Вильно, к Полоцку, где города Ошмяны, Ворняны, Свираны, Медники, Крево, Сморгонь, Гольшаны, эта земля называется Нальшанской. А Полоцкая, Витебская, Смоленская земли называются Белая Русь...

Фотий, не повторяя сказанное, прижался спиной к печи и благостно слушал легкий скрип пера по выделанной коже, следил, как строятся одна к другой ровные буквы, нарастают строки и слова, уже загасшие в воздухе, обретают вечную прочность.

— На Литве и в Нальшанах,— продолжал старик,— кривичи и литовцы давно смешались, и стал один народ с одним языком. А Деволтва говорит на своем языке, и потому до Вильно река называется по-нашему — Вилия, а в Деволтве ее называют Нерис. Потому и держава наша называется Великое княжество Литовское, Русское и Жмудское. Литовское — это где мы живем, от Полесья до Вилии; Русское — Полоцк и Витебск и украинские земли, отбитые у татар на Синей Воде. Жмудскую часть крыжаки по жадности своей хотят оторвать, чтобы все побережье моря им одним навечно принадлежало. Раньше на Руси Киев был главным городом, потом Владимир стал главный, потом Тверь и — Москва. У нас Полоцк был самым сильным. Потом Новогрудок стал первым. Тогда и пошла Новогрудская держава. Первым ее князем был Миндовг, родом из-под Ошмян, а родовой знак Миндовга — Столпы. А гербом Новогрудка была Погоня, она и сейчас всего Великого княжества и каждого города нашего герб...

Опять настала тишина, и старик молчал, пока Юрий не закончил писанье. Тогда Фотий перекрестился:

— Дай, господи, вечную славу черноризцу Кириллу, от него наша письменность идет. Не его бы труды — грязли бы по сей век во тьме невежества. Читаешь древнюю книгу — видишь глубины времен, все дзяды проходят перед мысленным взором, в своих добрых и грешных делах, в величии или падении сердца. Была Киевская держава сильная, греков воевала, на Царьград с осадой ходили. Почему ослабла? Через корыстолюбие и тщеславие князей...

Внезапно Фотий вскочил.

— За власть глаза выкалывали! — прокричал старик.— Брат брату горла резали ножами, свои же города жгли. Кто Киев пожег и разрушил? Татары? И они. А первым Андрей Боголюбский святыни топтал. Собрались в Любече, поделили как тати добычу: тебе Владимир, мне Киев, тому

Чернигов, этому Пинск — и рассыпалась сила. Как на беду Батый пришел, немцы явились. Два века с ними воюем. Родился — в седло — в могилу. Не до грамоты. Только бы выжить. Вот ты дивишься, что храм латинский срубили вблизи нашей церкви. А тому не дивишься, какие пойдут от этого беды. Не могут чуждые церкви ужиться. Одна победить хочет, другая насмерть стоит. Чем обернется? Вновь ненавистью. Но если не будет памяти, если забудут люди, как жили деды и пращуры,— исчезнет народ. Мы немцев пруссаками зовем, а где сами пруссы? Онемечили их немцы, забыли они свою веру и свой язык. А храбрых и непокорных вырубили.

Старик шагнул к столу и ткнул пальцем в исписанный пергамин:

— Письмена мудрости и справедливости научают. Говорят: помни, что не ты первый, что и раньше тебя жили человеки и после тебя будут жить...

— Каждый знает, что смертен,— усомнился Юрий.— Где же в том справедливость?

Фотий поглядел на него удивленно, сел на лавку и опять прижался к печи, продолжил:

— Люди толкуют чудеса господни к малой своей выгоде. Слышат про исцеление слепого, думают: господь обычному слепцу новые глаза дал. А господь духовное зрение дает. Бродит человек во мраке себялюбия, никого, кроме себя одного, не видит — душа слепая. И вдруг прозрение — увидел, что и еще люди живут, и они страдают, и каждый ждет радости, каждый нуждается в любви и заботе, а истина счастья — в человеколюбии. Спрашивают: где же это человеколюбие? Дождями земля меньше полита, чем нашей кровью; дерев меньше рубим, чем голов сечем. Всегда так. Извечно. Надо отвечать: каждому жизнь дана и совесть дана, чистая, как первый снег. Погляди каждый на свою совесть. Какой господу ее представишь, когда придет срок? Покажешь грязную, в язвах, господь скажет: ты не для добра, ты для дьявола жил.

— Почему же никто не боится? — пытал старца Юрий.

— Как никто?! Да ты и не понял, о чем говорю. Не страхом зло уменьшается. Если злой и боится, он все равно злой...

— Зачем же крыжаков прощает, не может спросить с них, злых и грешных?

— Бог все может. Только что нам останется делать, если за нас он сделает? Молим о помощи — крыжаков разбить, а сами чем заняты? Сами грешим! Где больше

князей погибло — в битвах с немцами или между собой? Подсчитаешь — удивишься, что на наших мечах не меньше нашей крови, чем на крыжацких. Между собой замириться не умеем, а тяжелую работу непротив господу богу поручить. А почему? Перед богом все равные — что мы, что крыжаки. Бог за любовь, за добро своей милостью награждает. Меч — дьявол людям подсунул...

Перебив речь Фотия, в сенях щелкнула клямка, дверь отворилась, вошел Рудый. Поклонился старику, поздоровался с Юрием и сказал о смерти Данилы. И еще сказал, что Быличи просят отца Фотия приехать для отпевания.

Старик содрогнулся, представив дальний путь, холод дороги, и уже отказ был готов слететь с языка, но вообразились ему горестные родители, их желание проститься с сыном по-христиански, их вера, что убиенному сыну будет оказан почет, что не придется трясти гроб с мертвым тридцать верст в Волковыск, а потом назад, что если он, Фотий, откажется и Юрий приедет один, то обида за отказ перейдет на Юрия, что и Юрий хочет, чтобы он поехал, но, зная его немощь, не осмелится просить,— все это множество обращенных к нему взоров открылось ему, и Фотий, не медля, стал собираться.

Кончался светлый день, когда они въехали во двор Ольги. Фотий скинул тулуп, Юрий помог старику надеть епитрахиль и ризу, взял псалтырь, и оба прошли в избу.

Горели свечи, гроб стоял на столе, родня сидела возле гроба; Ольга и мать, повязанные черными платками, плакали, подвывая. В углу голосили, по обычаю, несколько старух. Увидев Фотия, старухи умолкли; в наставшей тишине зазвучала молитва по исходе души: «Помяни, господи боже наш, в вере и надежде живота вечного, преставившегося раба твоего, брата нашего Данилу...»

Проговаривая многажды повторенную за жизнь молитву, отец Фотий вспомнил, как этот человек, сейчас лежавший в гробу с берестяной грамоткой в застывших навеки пальцах, как он счастливо улыбался на венчании, как крепко он стоял возле Ольги, как радостно надевал ей на палец перстень, крестился и целовал крест. Потом ему вспомнилось совсем далекое: как эти старые теперь мать и отец Быличи привезли крестить этого человека, распеленали его и он недовольно закричал, когда его окунули в купель.

Потом отцу Фотию вспомнилась покойная жена, день ее смерти при родах. Не спасли повитухи и ребенка, и на его глазах оборвались две жизни — жены и некрещеного еще сына, рожденного, чтобы пожить на белом свете несколько

минут. Скорбный день. Так же сумеречно горели свечи, жена застыла в гробу в горьком недоумении перед несправедливостью своей судьбы. Ему казалось, что она приснула, и он ждал ее пробуждения, какого-то движения, вздоха, знака, и казалось, что она шевелится, открывает веки, и он наклонялся к ней, звал, гладил руку, но та все сильней холодела...

Потом он вспомнил семилетней давности разговор с Ольгой и Юрием. Ранним утром он вошел в церковь. Никого не было в храме, только брат и сестра, преклонив колени, стояли перед иконой Богородицы. Он подошел к ним и спросил тихо и участливо: «Что, дети? О чем вы просите Богоматерь?» «Чтобы вернулся отец!» — сказала Ольга. Он знал, что эти дети — круглые сироты, и не нашелся что ответить. «Она нам скажет, да?» — спросила Ольга. Тогда он сказал: «Она не говорит здесь. Она скажет во сне». И вот эта девочка уже повязана платом скорби, она — вдова, скоро тело ее мужа отнесут на кладбище, и она останется одинокой, с непреходящей горечью воспоминаний днем, в плену обманывающих снов ночью.

И, жалея всех, кого задела скорбь, отец Фотий начал читать по памяти очередной псалом, успокаивающий души.

Вошли Росевичи всей семьей — боярин Иван, жена его, дочери — младшая Софья и старшая Еленка, которую поддерживал, обняв за пояс, Гнатка. Перекрестились и остались у порога. Какая-то баба уступила Еленке из жалости место на скамье. Гнатка помог девушке сесть.

Когда Фотий завершил свою службу, мать Данилы обернулась к Быличам и, словно никого в избе больше не было, призвала их к плачу: «Вот и нет нашего Данилушки! Уже ни в дом не придет, ни слова не скажет!» Невольный укор Росевичам слышался в ее голосе, жалоба на судьбу: поранили обоих, а ваш жив, не оставили бы одного, кабы помирал. А наш мертв, почему так?

Фотия увели в другую избу накормить и согреться. Юрий пристроился возле лучины читать псалтырь. Произнося слова псалмов, он чувствовал на себе взгляды двух сестер, и их внимание не давало ему сосредоточиться на сокровенном смысле того, что он читал вслух. Он говорил: «Господи, имя твое — свет во тьме», но не видел ни тьмы, ни света, ни светоносной выси, куда уходят святые и праведные, а видел два девичьих лица и испытывал непривычное лихорадящее смущение. Он думал: чтобы стать священником, надо жениться; в нашей церкви не как в латинской, священник не монах, неженатого в сан не рукоположат.

А жениться — невесты нет. Разве Росевич отдаст своих в попадьи? Честь не позволит ему выдать дочь за неимущего попа. Надо, чтобы боярин, чтобы двор, земля, челядь. Скажет: стоило ли девку растить, чтобы с голодным нищенствовала...

Боже мой, милостивый, прости, спохватился Юрий, грешен, грешные мысли в голову лезут. Человек в домовине лежит, а мне жениться захотелось, никогда про это не думал, а тут зажглось. Нет, читать, внимательно читать, и не смотреть на них, чтобы не соблазняли. Но через минуту не выдерживал, поднимал глаза от книги и встречался с любопытным взглядом младшей сестры и с грустным, тоскливым взглядом старшей. Обе, хоть и вытирали концами платков слезы, однако глубокой скорби Юрий за ними не замечал. Может, и они о другом думают, допустил Юрий, и почувствовал себя в каком-то приятном заговоре с сестрами. Надо с отцом Фотием посоветоваться, думал Юрий, пусть он подскажет.

Только не здесь ему надо сказать, не завтра. Но ясно наперед, что ответит: что сердцем решено, сердцем и отменится; сердце своевольно — дух тверд. А дух тверд — о невесте бог позаботится. Мало ли в Волковыске дев, ясных душой, зачем заришься на неизвестное? Это жадность в тебе не убита. «А чему доверять, если не сердцу?» — словно бы возражал старцу Юрий. И опять убеждал себя от лица Фотия: «Это она тебе нравится, а ты ей? Ты ее спросил, сговор между вами есть?» «Вот и верно,— как бы согласился с Фотием Юрий.— Надо поговорить; улучу случай,— решил он,— найду повод, заговорю».

Наконец вернулся Фотий, и тогда Юрия позвали передохнуть и поесть. Не много времени заняла вечеря, но за это время Росевичи уехали. Юрий, придя в избу и не увидев сестер, поразился — словно видение здесь видел, а не живых людей; и остался в сердце тоскливый след.

Наутро уехал в город отец Фотий. Юрий остался с сестрой, днем недолго спал, по ночам читал из псалтыри. Как-то ночью случился такой час, что при покойном сидела одна Ольга. Вдруг она, перебив чтение, спросила:

— Юрий, бог есть?

— Да! — кивнул он, удивляясь вопросу.

— Все делается по его воле?

— Да! — опять кивнул он, жалея сестру, думая, что у нее с горя помутился разум.

— Выходит, никто не виновен?

Юрий растерянно помолчал.

— Совесть подсказывает, кто виновен? — сказал он, подумав.

Ольга не ответила.

В день похорон развиднелось, вышло солнце; в толпе, следовавшей за гробом, говорили, что Данилу примут на небеса — вот господь разогнал тучи, святые сверху глядят. Прошли полверсты по полевой стежке к рощице на холме. Здесь уже была отрыта могила. Под гроб подвели веревки, стали опускать. Закричала мать, заголосили бабы. Скоро вырос песчаный холмик, стал крест — Данила ушел к дзядам.

В этом березнячке, усеянном изветшавшими и крепкими крестами, наведываемыми и забытыми могилами, в тишине прощания, как-то разом видя и далекую голубизну неба, и отталкивающую свежесть земли на могиле, Юрий вдруг ощутил малость своего тела на земле. Малость тела и краткость жизни, множественность людей и жестокую невозможность единого для всех чувства. Где-то в избе сидели при раненом брате Еленка и Софья. Отец Фотий, закутавшись, верно, в платок, жался зябнувшим телом к жаркой печи. Где-то далеко, где он, Юрий, никогда не был, шумел главный крыжацкий город Мальборк, окруженный тремя рядами каменных стен. А за стенами мог ходить, или спать, или молиться человек, убивший Данилу. Где-то еще дальше был город Рим, откуда разошлась по земле римская вера, а в другой стороне был город Константинополь, откуда пришла сюда вера греческая. А здесь, под ветвями оголенных берез, под пожухлыми, слепившимися листьями, под саженным слоем бурого песка, спали вечным сном местные люди. На городских стенах, у крепостных ворот, в засаде на рубежах стояла продрогшая и злая стража. Кто-то сейчас ехал конно, другой шел пешью; старик помирал, а дитя плакало; кузнец подковывал коня, а оружейник ковал меч; тиун принимал серебщизну, а кто-то в баньке плескал на камни квасом и, ни о чем не думая, блажился...

Но если так много людей на земле, думал Юрий, если их столько же, сколько звезд на небе в ясную ночь, то зачем их так много? Как им ужиться в этой тесноте дорог и разности забот, когда один помирает, другой рождается, третий скачет в седле по ночной дороге под лязганье волчьих клыков, жадный считает деньги, нищий просит милостыню, сирота ждет ласки, душегуб, готовя кистень, ждет жертву, вдова страдает, как сейчас Ольга, а каждый — мал, хрупок и обречен превратиться в прах. Любите друг друга,

пока вы есть, призывал всех Юрий. Прозрейте, что каждый взгляд, каждое слово — не само по себе, они и есть душа. Вот чему надо служить, думал он с тихою радостью,— такому всеобщему прозрению. Как в этот час здесь все люди прозрели, видя мрак и вечную немоту бездушия. Вот что он будет объяснять людям, когда взойдет на алтарь после отца Фотия: зло убивает, смирение — от страха и скорби, мир — от любви. Познавший скорбь стремится к любви. Для того и дано человеку изведать несчастья.

Чувство малости тела прошло. Юрием завладела радость родственности к этим людям: к истерзанной горем матери Данилы, растерянному Степану, к ссутулившемуся старому Быличу, задеревеневшей сестре, к их соседям разного дела и достатка, пришедшим сюда разделить с несчастными скорбь. Это новое чувство не оставляло Юрия на поминках. Он жалел, что рядом нет отца Фотия, ему хотелось рассказать свое переживание. Когда поминание переломилось на беседу, Юрий вышел во двор. Опускалась беззвездная ночь. Он обошел избу и прислонился к глухой ее стене. Напротив черной стеной высился тын. Юрий долго стоял в этом огражденном уединении, испытывая грусть и умиленность.

Вдруг он услышал голоса за углом сруба, совсем вблизи. Кто-то печалился. Юрий узнал старика Былича.

— Эх, Степка, сын, вот и нет Данилы,— говорил старик.— Теперь все это ей. А она и не плакала, как другие воем воют по мужу. Едва слезу выдавила. Сидит с каменным сердцем, может, и довольна, что полная здесь хозяйка. А все это Данилово, ему я отдал, а он на небо ушел. Какой двор! Веска в тридцать дворов. Горько...

— Так что делать? — спросил Степан недовольно.— Вчера Данила помер, мы завтра вдову его вон. Что люди скажут?

— Да разве завтра,— отвечал старик.— Душа болит. Я все мечом наживал, а ей задаром...

Разговор оборвался, тяжело заскрипели сапоги, и спустя несколько мгновений голос старика неясно услышался за стеной в избе.

Юрий хотел и не мог отслониться от стены. Слабость нашла на него и держала. Выходит, и смерть не умиротворяет, думал он раздавленно. Жадность и зависть сильнее скорби. Вот здесь, на этом затиснутом лесами дворе, среди людей, оплакавших сына, слушавших молитву успокоенья, увидевших воочию смерть, опять душевное зло. Он хотел пойти в избу и сказать Быличу: так нельзя, так грешно! Потом он подумал, что скажет Ольге, и они уедут, и опять будут

жить вместе, в отцовском доме. Ольга — гордая, лишней минуты не задержится на этом дворе. Потом он подумал, что не скажет о подслушанном никому; боль о сыне мучает старика, он и сам засовестится. Ярая гордость — тоже против любви. Прости другому — и с него снимется грех, подумал Юрий.

Побыв с сестрой до девятин, он вернулся в город.

## ТРОКСКИЙ ЗАМОК. ДЗЯДЫ

Проснувшись, князь Витовт по старинной привычке обратил взгляд к окну: рассвело, в глубокую нишу окна вползал сквозь мутные стекла утренний свет. Князь встал, отворил свинцовую раму; в грудь, в лицо ударило холодом, и все, что тревожило его во сне, в один миг истаяло, сгинуло, сникло от бодрой свежести, и на душе стало свободно.

Прозрачный туман стоял над застывшим в безветрии озером, завесью его прикрывались леса на берегу, хаты караимов, татарский табун и их утренние костры. Захотелось в поле. Скакать, разрезая воздух, слушая гулкий перестук копыт по пристывшей земле, ярый лай хортов, лететь вместе с ними по яркой озими, жухлой траве, не помня себя, забыв обо всем, о всех делах, заботах, бедах, людях, о канувшем и грядущем, выть в упоении пылом минуты, жаром крови, силой жизни. Сразу и увиделось: бежит под копыта трава, мелькают извалы, сосны, круг солнца в облачной поволоке, багрянец рябины, синяя гладь Гальве, кленовая пестрота, шумы и шорохи леса, колючая свежесть воздуха, гул земли, трепет в душе.

Вдруг, вспомнив, осекся: какие ловы, какое поле — сегодня день поминальный, святой — дзяды. Дзяды придут, прилетят, соберутся — мать с отцом, братья, дед, стрый, Иванко с Юрочкой, другие прочие. Придут, а он свору по дорогам гоняет. Нельзя. Обидятся. Не простят.

Князь, на сколько удалось, высунулся в окно и увидел вдали, на полуострове, малоприметные за туманом развалины старого Трокского замка — любимое отцовское гнездо, колыбельное свое место. Хоть и давно было разрушено, и не ставил себе цели тот замок поднимать, отстраивать, жить в нем, все равно кольнула острая боль, что замковые стены разбиты крыжаками, древний дом сожжен, замчище отдано кустам и крапиве, которые росли там, где он учился ходить, где горел дедовский очаг, зажженный Гедимином, кипела жизнь, теснились толпы, правил отец. Мелькнуло, правда, воспоминание, что сам вместе с немцами, когда бил-

ся за власть, осаждал этот замок и радостно следил, как ядра крушат старые стены, образуя проломы. Но что с того — сам, не сам? Нет отчего дома, стерт, порос полынью.

А ведь было: мать провожала с крыльца, сани срывались, из-под копыт летел снег; мороз, полозья скрипят, свищут пуги. Летели в Гродно, на рубежи, по дороге примыкали бояре, и сотенный поезд выносился в Пруссы, в зимние гости к крыжакам. Вихрем пролетали пятьдесят, сто верст в глубину, вдруг возникали из снежной завеи у крепостей, рубили крыжаков, брали лупы, все, что могли взять: зерно, золото, мясо, оружие, мед.

Потом вспыхивал костер, горело городище, и наезд сникал в снегах, в лесах, под вой вьюги. Сверкал, скрипел наст, луна пряталась и выходила, а рядом с санями шли рысью зимние волки, и жадно горели их глаза в глухой темноте. Он и Ягайла сами были как волки — молодые, крепкие, в овчинах поверх кольчуг, на широких поясах золотые литые пряжки, в руках лук, прицелишься, стрелы исчезнут в желтом свете месяца — и двое вожаков зарываются в снег, а если один, то сколько веселых споров — чей? И в Пруссы, и к ливонцам, к ляхам на Лысую гору всегда неразлучно, в одних санях, бок о бок в седлах, бок о бок в рубке. День врозь казался неделей, неделя врозь — месяцем; спали в обнимку, грея друг друга братским дыханием, истосковавшись, скакали — он в Вильно, Ягайла в Троки; если вдруг встречались на пути — счастье.

Казалось, вся жизнь так пройдет, так отцы жили, Кейстут и Ольгерд: все пополам — дела и битвы, земли и города, дань, подати, подарки, пленные крыжаки, лупы. И рухнуло все, как в могилу: мать утоплена, отец удавлен, четверых братьев бог прибрал, из друзей враги вышли, все переиначилось, перекроилось, старина изошла дымом вместе с отцом на погребальном костре, сгорело старое, унесено вешней водой, было и словно не было, а всех следов — горькие засечки в душе.

Князь прилег, уставился в окно на белесое небо. Вдруг слабо плеснула вода под стенами замка, за окном что-то затрепетало, послышался слабый шорох у ниши, рама дрогнула, что-то прошелестело на потолке. Дзяды явились — отец, великий князь Кейстут с женой, княгиней Бирутой к любимому сыну пришли. Ну, не взыщите. Будет и хлеб-соль, и сладкая чарка. А может, и не они. Что им здесь? Бродят среди развалин, ищут в горькой полыни свои стежки, былое счастье, слушают отзвуки своей славы. Эх, боги, славный был рыцарь отец, теперь таких нет и больше не будет.

Лгать, хитрить, копать за спиной яму не любил. Сотни походов прошел, мечом рубили, копьем ссаживали с коня — вставал; крыжаки, поляки трижды брали в плен — уходил. А что погубило? Кто? Сын, он, князь Витовт!

Жаль, жаль, дзяды, не увидели его умником, запомнили дураком. Да, ошибся. Не дружбу ценил Ягайла, всего выше ценил власть — выше совести, кровных уз, родной земли. Один желал править, сам, ни с кем не делясь — ни с родными братьями, ни со стрыечными, ни со стрыем, старым Кейстутом, который дозволил ему занять место Ольгерда. Как давно уже нет князя Ольгерда, подумал Витовт. Тридцать два года прошло, а память каждый час из тех лет держит. Вот тело Ольгерда положили на погребальный костер, ударило кресало, выпорхнула искра, вспыхнул хворост, запылали дрова, дым поднялся черным столбом, и Знич унес душу великого князя в рай. Вот Ягайла млеет от нежданного счастья — корона великого князя на его голове. Уже спешит, крестится в греческую веру, чтобы легче стало победить старшего брата — Андрея Полоцкого. Ягайла стоит на коленях, а владыка виленский объявляет: «Нарекается раб божий Яковом». Вот когда следовало задуматься: на что еще решится великий князь Яков-Ягайла, если родного брата выбивает из Полоцкого удела, как врага?

А затем и вовсе началось колдовское: крыжаки только те земли жгут и грабят, которые Кейстуту и ему, Витовту, принадлежат, а Ягайлову половину обходят, словно заказана. С чего бы такое различие? Полтора века не различали, всех равно жгли, теперь одних режут, других и пугать не хотят. Скоро Кейстуту кто-то из крыжаков проговорился: это Ягайла так попросил, даже Жмудь тайно отписал немцам, чтобы Кейстута воевали и обессилили. Отец напал на Вильно, взял замок, отыскал Ягайлов ларец — там этот договор.

Всех отец бросил в подвал. Ягайла, матушка его кровожадная, мятежный Дмитрий Корибут, братья Скиргайла и Швидригайла — все сидели в темнице. Пусть бы и посидели, пострадали, помучились. Посчастливилось бы сбежать — ваша удача, а нет — так радуйтесь, что живые. Если б тогда был сегодняшний разум. Князь не может быть рабом чувств. Князь — один. Все прочие люди имеют равных: бояр — тысячи, наместников — десятки, купцов — сотня на город, ратников — хоругвь в каждом повете. Им надо приятельствовать, они — равня. А княжеское место — одно. В этой непостоянной жизни невозможно

остановить перемены, люди приходят и исчезают, вспыхивает и угасает любовь — это судьба, а на судьбу не обижаются. Судьба — это и есть великий князь. Самый главный. Он равнодушен к слезам, а слабость сердца — такой недостаток, который он презирает. Вот и князь среди людей подобен судьбе. Нетрудно это сообразить.

Но тогда не понимал, дал волю сердцу, как женщина, сердце защемило — не по-рыцарски, не по-братски. Витебск им, Крево — пусть пользуются, пусть знают великодушие Витовта, который отца на коленях просил — и жизни сберечь, и уделами наделить. Даже на том поле, в пяти верстах отсюда, уж, кажется, следовало озлиться, не блажить, но как пьяный ходил, будто заколдовали промах на промах низать — захотел воду и огонь примирить, волкодава с волком. Поле то ненавистное, язвина, вечный свищ, и в смертный час на память придет, как несчетно являлось.

Вся жизнь могла по-иному пройти. Минута слабодушия годами страдания окупается. Жаль, что поздно такое знание приходит. Кто за власть бьется, жесток должен быть, как волк. Никому не верь, никого не щади, бей намертво. Власть — это меч. Княжеский венец равного рядом не терпит. Хочешь власти — окаменей, иначе не устоять. А кто сладость властвования испробовал да лишился — тот втрое опасен. На все пойдет, лишь бы вернуть, на любой грех, на любую подлость. Подумать бы тогда наперед, что не смирится Ягайла, что поверху только смирится, а в рукаве всегда будет нож. Да еще и Витебское княжество ему дали — людей много, народ храбрый. Хитер был Ягайла — этого не отнять. Списался с братом Дмитрием Корибутом, тот в Новгороде-Северском княжил, внушил восстать и отъединиться. Дмитрий, истины не ведая, дальнего прицела Ягайлы не зная, восстал. Пришлось Кейстуту собирать полки, идти на Дмитрия силой. И Ягайлу призвали в этот поход.

Он, как было известно, выступил. Витовта отец оставил своим наместником в Вильно. Как-то выехал на охоту, возвращается — его самого ищут, Ягайла взял город, занял замок, сел на трон. Прискакал Кейстут, собрали новые полки, вышли против Ягайлы. На поле том и сошлись рубиться за власть. Ягайла на одном краю поля, на другом — великий князь Кейстут и он, Витовт, с гродненской своей хоругвью. Какой мир? Какая дружба? Пятьсот шагов отделяли. Меч бы из ножен, остроги коню, и вперед — бей! руби! — и, боевые боги литвинов, решайте, кому престол, кому бежать на расставных конях в Мальборк, кланяться

великому магистру, Жмудью платить за помощь, брататься с немцами, жечь вместе с ними свою же землю, бить своих же людей, страдать, руки искусывать по ночам от неутоленной мести...

Слепец! Сам сновал между войсками, клятву пьяницы Скиргайлы принял всерьез, льстивые Ягайловы враки слушал с вниманием, трепетно билось сердце от лживых слов, согласно кивал головой: справедливо, да, справедливо, ему, Ягайле, отцовское — Вильно, Крево, Полоцк с Витебском,— и ему, Витовту, отцовское — Жмудь, Трокскую землю, Гродно, Брест, Подлясье. А Киев, Подолье, Волынь, Русь Северскую — прочим Ольгердовичам. И, как в дурмане, рисовалось невозможное, из юношеских мечтаний: они правят вдвоем, каждое дело судят вдвоем, вместе в походы, как прежде, в санях по скрипучему насту. Что жадничать! Княжество большое, он, Витовт, уступчивый, а седой князь Кейстут, старый его отец, мудрым словом, советом, отговором будет помогать обоим, пока кровь от долгой жизни, трудов, боев, княжеского бдения сама собой не застынет в жилах, как смола с приходом зимы.

И на небе начертывалось: насмерть сходиться можно Литве с Пруссами, а Ягайле с Витовтом — дружить, иначе Перун молниями убьет, Велемос жизни задует. Пили из одной чаши, в ляхских походах друг друга от ударов спасали — и вдруг рубиться, сечь мечом любимую голову? Юродивый! Не князь был — чернец полоумный! Отца убеждал: мир, мир, помиримся, притремся, вновь слюбимся! Не понять, как зрение ослепло, зачем оба к Ягайле поехали, а не он к ним?

Что-то мелкое сидело на потолке. Князь, приглядевшись, различил пяток мушек; недвижно, невидно замерли на красном кирпиче дзяды, слушали его мысли, горевали о былых днях. Проглядел, как влетели. Кабы не глупость тогда, дзядами многие еще могли не быть, жили бы сейчас... Вон, на потолке, едва различишь, а великие были люди. Иванко с Юрочкой могли княжить, сердце радовать, уже внуков бы приучал к седлу...

Заныло сердце. Князь вскочил, рванулся к дверям, к жене Анне — но зачем? Каяться в ошибках? Не утешит жена эту боль. Самой горестно. О своих дзядах горюет. Тоже по его вине круглая сирота. Детей немцы отравили, отец, князь смоленский Святослав Иванович, погиб в битве на реке Вохре, брат Глеб убит татарами на Ворскле, другой, Юрий, в драке зарезал лучшего друга, со стыда бежал в Орду, где и помер два года назад. Может, и он сегодня здесь, явился

на сестру поглядеть? Да уж что жалеть! Верно, так бог захотел. Зато Смоленск наш, все Смоленское княжество как приданое за женой перешло. Да, печально жизни заканчиваются, думал Витовт. Оглянешься назад, вспомнишь дзядов — кровь и кровь, мало таких, кто своей смертью помер. Были в Новогрудке, сменяя друг друга, князья Изяслав, Миндовг, Тройнат, Войшелк, Витень, Гедимин — все погибли; кто от рук врага в битвах, кто по злому умыслу родичей, жаждавших власти. Только один Ольгерд в постели помер. Князя Кейстута задушили. Его, Витовта, уже бессчетно хотели убить. Может, кому и удастся.

Князь растер грудь, вновь высунулся в окно. К мосту подходил конный отряд — лица не виделись, но по коням, по посадке бояр узнал сотню Ильинича. Подумал удовлетворенно: «Вернулись. Проводили Семена. Теперь к лету появится, крыжаков бить». А взгляд, скользнув по сотне, по ватаге татарчат, игравших арканами, убежал за прикрытый дымкой лес, в ту сторону, где, сам видел недавно, заросло олешником злосчастное поле.

Не забывалось и проститься не могло. Там, на роковом поле, видели ясно, кого Ягайла призвал в защитники — крыжаков, злобнейших врагов. Четыре прусские и ливонские хоругви стояли клиньями, шевелили копьями и мечами. Жмудь уступил им навсегда Ягайла за эту помощь. Видели ведь, плевались, роптали. Но отшибло разум, словно беленой накануне опоили. Поехали с отцом к Ягайле, обсудили, кому на каких землях сидеть. И уж полная у обоих потеря ума — отбыли с кучкой бояр, бросив войско, в Вильно, в старый дедовский замок, где Гедимин правил единолично — вспомнить следовало об этом, но времени не было, спешили договор о пожизненном мире на пергамин записать и печатями припечатать.

Уже через пять минут, как въехали на замковый двор, легли среди крыс в затхлом подвале, прикованные к стене, забренчали цепями под хохот Ягайловой челяди, а свои бояре были посечены, их покидали на телегу и вывезли за город на свалку, где стая ворон склевала их, как падаль.

В подземелье, в их каменной темнице, свечник Лисица держал лучину, а Ягайла, нынешний король польский, скрестив на груди руки, говорил с непонятной улыбкой: «Ты, князь Кейстут, старый лис, много бегал из плена. Теперь не убежишь!» В ту минуту не верилось, но скоро поверилось, принял решение — убить. И вот этот голос спокойный, ледяная улыбка при тех словах никогда в памяти не затирались. Разное бывало и у него, Витовта, тоже головы

сносил, может, триста или четыреста, если брать за все годы, но так, со змеиной улыбкой,— никому не объявлял. Порода у них такая. Скиргайла ручался, что волос с головы не упадет, а сам, лично, отвез князя Кейстута в Крево, и через пять дней холопы задушили старого князя с его же ферязи золоченым шнуром. А жену князя Кейстута, его, Витовта, мать, сыскали в Брестском замке и ночью при свете звезд кинули в Буг, привязав к шее камень. Разве можно простить такое зло? А он простил. Живет Ягайла и будет жить. Разным мелким и средним исполнителям отомщено, хоть на них вины меньше. А тот, кто придумал и приказал, здравствует, с него не спрошено, ему забыто.

Хотя, что врать, и сам небрежно судьбы решал, легко обрывал жизни. Своя дорогá, чужие — как листья — сорвал и бросил. Сколько там прошло — каких-то две недели,— как Рамбольду голову отрубили... А он крыжаков посек, крепость спалил. Ему бы шлем золота за это отсыпать, а послал на плаху. Перестарался — после перемирия пожег. Крыжаков не жалко, но они пожаловались, спросили от имени магистра: «Это что, знак, что ты, великий князь, и Ягайла хотите продолжить войну?» А как продолжать — Ягайла без войска, силы не собраны. Пришлось сказать: «Случайность. Не для того вчера замирились, чтобы сегодня вновь воевать. В следующем году навоюемся». «Значит, воины великого князя не слушают приказов?» — усмешливо спросили послы. Пришлось сказать: «Если сотник не знал о перемирии — он невиновен. У нас земля большая, всех в один день не оповестишь. Если знал — умрет!» Ах как хотелось, чтобы Рамбольд ответил: «Не знал!» Но он сказал: «Ведал!» А ведал — иди под топор.

Помилуешь того, кто ослушался твоей воли, пусть и на пользу, завтра десять ослушаются во вред. Нет права на жалость у великого князя. Начни жалеть — держава развалится. А казнил — опять враги. Брат Рамбольда бросался с мечом отомстить, едва охрана скрутила, теперь в подвале на цепи сидит. Что с ним делать? Помиловать — новые не побоятся, казнить — скажут, боится князь, за все равно наказывает. Ладно, решил Витовт, пусть побудет в оковах, на пользу пойдет. Кто казни не ждал — жизни не знает.

Уж это ему самому ведомо, научил Ягайла. Отца задушили, а сказали — умер. И его, Витовта, в Кревский замок привезли, в тот самый подвал, где отцу горло давили. Намерзся, поклацал зубами среди осклизлых, потянутых плесенью камней. Бился о стены, кричал, выл, бесился, боялся. Хотелось света, славы, жизни. И ничего — четыре стены,

гранитный мешок, крысы, гнилая соломенная труха и ожидание петли, боли, холода, конца. Тем же, что отца убивали, тем самым поручили его сторожить: подчаший Ягайлы Прокша, братец его Бинген, некий Гетка и свечник Лисица. Отборные были висельники. Всех потом приказал удавить, сами друг друга и вешали на воротах. И бояре, кто хохотал над их доверчивостью, языки пооткусывали. И те, что мать бросили в Буг, там же легли на дно. И те, что стрыя матери ломали на колесе, отведали лома, и другие разные люди стерты со света.

Вот так, дзяды. Мог бы и он сейчас кружить вместе с вами над землей. Был такой час: жизнь исходила, гасла, рвалась; за дубовой дверью подвала рядом со сторожем сидела его, Витовта, смерть, ждала, когда четверо висельников приведут ее с кубком яда в руке. Так сердце шептало, а сердцу боги нашептывали: бойся, спеши, напрягись, срок истекает, к неживым причислил тебя великий князь Ягайла, перекрестившийся в Якова, чтобы православные витебляне помогли ему вернуть власть. И он напрягся, обманул, обхитрил, вырвался из могилы. Укротил отчаяние, собрал волю, прирос к сгнившей соломе, не ел, не пил, позволял крысам сидеть на груди и просил гнусную свою стражу впустить жену для последнего прощания. Те радостно помчали к Ягайле: подыхает, шепчет увидеть княгиню; Ягайла сказал: пусть простятся. Крыс выбили, труху вымели, принесли топчан, шкуры, светец, и вошла Анна, а с ней прислужница. Спасение вошло. Неделю княгиня с девкою приходили по утрам, в сумерках удалялись ночевать в слободу.

И настал день — сладко вспомнить: он в платье прислужницы вышел позади княгини во двор. Увидел небо, звезды зажигались в синеве, кликуны выходили на стены, брамная стража ждала закрыть за княгиней ворота. Ему весело, у него в юбке корд, кто остановит — захрипит разрубленным горлом. Дурака не нашлось. Вышли из замка; за спиной стукнул в гнезде засов; зашагали по улице, тут легкий свист, кони, Волчкович привел бояр — знакомые лица, он в седло — воля! Воля и жизнь! А кроме воли — ничего. Чужой конь, чужой меч, чужая свитка — Иван Росевич подал накрыться. Еще жена с дочкой, два сына, брат Товтивил да полсотни бояр. Голову преклонить негде. Туда-сюда, в Слоним, в Гродно, в Полоцк, к Янушу Мазовецкому, мужу сестры. Хлеба приходилось просить. Гол как сокол. Но вернул, дзяды, все возвратил с лихвой. Девять годиков с малым перерывом старался, из них пять лет прус-

ским немцам прослужил, великому магистру накланялся, ночевал в каморах, с Конрадом Валленродом Вильно осаждал, жег посады. Уходил от крыжаков, опять являлся. Клялся, рвал клятвы, сам немцев рубил. Заложников оставлял и всех выручил, кроме двух, которые всего княжества дороже, их в Кенигсберге рыцарь Зомберг отравил. Если вы здесь, дзяды Юрий, Иванка, знайте, будущим летом ему припомнится...

Стучали. Кто-то с удивительной смелостью стучал кулаком в дверь. Князь досадливо пошел отворить. Непривычно взбудораженный маршалок Чупурна, забыв поклониться, огорошил:

— Великий князь, глянь, кого сотник привел!

Так весело, ошалело было сказано, что Витовт бездумно подчинился и, как был бос, в портах, выпущенной рубахе, шагнул на дощатый, сырой с ночи настил. Внизу, посреди замкового двора, увидал толпу бояр, каких-то пленников, Ильинича в гордо-смиренной позе и сразу же выделил Швидригайлу. Сердце екнуло, затрепетало, и легко, глубоко, счастливо вздохнулось: взяли волка! Швидригайла глядел куда-то вверх, то ли на гонтовую крышу, то ли в небо, а скорее, почувствовал Витовт, избегал глядеть по сторонам, потому что во всех дверях, проходах, в замковых воротах плотно торчала любопытная челядь.

— Здорово, брат! — выкрикнулось с откровенным злорадством.— Что, на дзяды прибыл? Ну, слава богу! Порадовал!

Швидригайла повернул голову и без поклона (а должен был поклониться, подумал Витовт) ответил с приготовленным спокойствием: «Здорово, князь Александр!», но в глазах его, настороженных и зорких, не было того спокойствия и той гордости, какие вложил в слова. В глазах его, Витовт с приятностью это углядел, мешались страх и ненависть, нетвердость: не знал, что лучше — пыжиться или виниться. Легкость телу, прояснение душе приносил вид Швидригайлы, кровь освежилась, как от чары вина,— гнетущий груз снялся с шеи. Ну, сотник, молодец, озолочу! Кусливую собаку пришиб, от огромных бед избавил. Верно, мечом взял — повязаны. Но Швидригайловых бояр Витовт не разглядывал, о них знал точно — казнит, уже мертвецы, хоть и бухнулись на колени.

Поминальный день, дзяды слетелись, нехорошо было ерничать, но не мог, не мог смолчать, неудержимо охватывал князя шутовской зуд.

— Неделю не виделись! — крикнул он, оскаляясь.—

Куда ж ты уехал? Чего не сказал? Я волновался! Охотился?

Швидригайла с неопределенным чувством кивнул.

— Ты мне ночью сегодняшней снился! — несло Витовта.— И прошлой! Всю неделю думал о тебе. Не забывал. Праздник сегодня — дзяды! Мед будем пить! — И, впиваясь взглядом в ненавистное лицо, требуя поднять глаза, говорить, спросил: — А что, брат, хорошо встретили тебя мои люди? Если ставились высоко, не уважили, скажи — я их в цепи, на крюк, в Гальве.

Сам слышал, что мрачно, зловеще, с вороньей хрипотцой сорит словами, и видел — многая челядь устрашалась, пятилась с глаз долой; Ильинич с какими-то свертками в руке бледнел позади Швидригайлы; бояре его сотни, холодея, теряли дыхание, но нашло, нашло шутовство, поднялась вся давняя, копленная десятками лет злоба, сжигала, и чувствовал, что скоморошество это мучает Швидригайлу, надрывает, бесит. Грозно крикнул Ильиничу: «Что стоишь, сотник? Беги рассказывай!» Следя, как тревожный Ильинич спешит по лестнице, сообщил Швидригайле:

— Уже дзяды пришли. Батюшка мой, матушка. За столом сидят, нас ожидают чарку им налить.

Резко обернулся к Чупурне:

— Готов стол?

Маршалок, хоть и не его была забота, кинулся глядеть.

Приблизился с поклоном Ильинич, протянул свернутые трубкой пергамины. Еще не читая, только взглянув на печать, князь понял, что́ держит в руках — глейт на безопасный проезд Швидригайлы по орденским землям. Таких бумаг в давние годы сам получал от крыжаков добрую дюжину. Развернул, пробежал глазами по четкому готическому письму, ухмыльнулся. Выхватились слова: «Великий магистр Ульрик фон Юнгинген... великому князю Болеславу Швидригайле вернуть отчину...» На этом слове споткнулся. Отчина — по отцу, по Ольгерду — все Великое княжество. Ну, скажем, вернул. А его, Витовта, куда? На тот свет? Сдержался, прочитал весь договор. Почувствовал, что зябнет и ноги стынут на сырых досках. Переступил с ноги на ногу. Кто-то, будто Ильинич, сорвал свитку, бросил под ноги. Стал на теплую шерсть, медленно, бережно свернул пергамины, облокотился о перила и, вонзившись в Швидригайлу безжалостными глазами, спросил:

— Князь, думал, что делаешь?

Швидригайла покривился:

— Почему тебе можно, мне нельзя?

— Потому,— тяжело ответил Витовт,— что запоздал лет на двадцать.

Появился Чупурна, хотел что-то сказать и не сказал, почуяв перемену. Витовт махнул ему:

— Бояр тех — в подвал. Князя — в башню, на цепь.— Повернулся к Ильиничу: — Сколько коней выставляешь?

Боярин, замирая в предчувствии награды, тихо вымолвил:

— Пять.

— Пять? — повторил Витовт.— Еще пятьдесят будешь выставлять! — И засмеялся, что такой малостью смог осчастливить преданного сотника. Не выслушав благодарности, ушел в покой.

Походил, оделся, сел к шахматному столу, вновь перечел орденские грамоты. Подлую измену позволял себе Швидригайла: союз с немцами накануне войны. Да разве накануне? В разгар. Вон Ягайла Добжинскую землю утратил. В любой день сюда жди крыжаков. И какая война? Насмерть хребты ломаем. Нет, долго его ласкали, все прощалось, а теперь не прощается — пора казнить. Хорошо, Ильинич схватил, а если бы дошел до немцев? Опять толпа недовольных потянется за рубежи, опять крыжацкие рейзы, разграбление земли, осада замков, трата людей, уже сейчас держи наготове войско, а летом — война. Волчище на все горазд. Кого хочешь убьет, не задумается и тут же забудет. Подолье пообещали, так воеводу подольского Спытка, поди, убил в спину там, на Ворскле. Исчез Спытка — Подолье ему. Нет, мало, еще хочу, не хватает. Почему не все Великое княжество? Собрался, полетел к немцам, с немцами под Вильно — осада. Бомбарды стены трясут. Чернецы в заговор — при Швидригайле, думали, лучше станет. Пришлось чернецов на стенах развесить. Вековал бы у немцев, но Ягайла сжалился — младшенький, неразумненький! Брянск ему дадим — пусть тешится на уделе.

Дали Брянск. Года в Брянске не просидел — наскучило, опять хвостом мотнул — на верность великому князю московскому присягать. Не один — сотни бояр черниговских, брянских, стародубских увел служить. Торжественный поезд, колокола звонят, народ пялится — как же, литовский князь в холопы своей волей идет. Василю Дмитриевичу, конечно, удовольствие, медом по сердцу — часто ли родной брат польского короля, сын Ольгерда, того самого, что копье ломал о кремлевскую стену в знак силы, вот так низко челом бьет. Впервые! И людишек прибавил, и, нежданно, брянские

земли к Москве присоединил. Пришлось объявить Погоню, идти на Василия Дмитриевича войной. Не идти — назавтра Смоленск отвалится, что пять лет назад наконец-то трудами упорными присоединили. А война — тут же немец бросится рубить в спину. Один человек выбрыкнет — тысячи головой могут заплатить.

Но умен князь Василий: одно дело Смоленск воевать — сегодня наш, завтра ваш; другое — большая война, на разорение земель, побитие народа. У Москвы своих врагов хоть сетью таскай. Съехались на Угре, постояли гуфами — он, Витовт, тесть, на этом берегу, зять Василий — на том, побеседовали и скрепили мир: границы не рушить, Смоленск за Витовтом, Швидригайле в пустых надеждах не помогать. Ну и чего достиг дурак Швидригайла? Подолье потерял, Северские земли потерял, князь Василий дал огромный удел — Владимир, Переяславль, Юрьев, Ржев, Волок, Коломну; сам бросил, плюнул на недавние клятвы, даже от татар свои города не стал защищать: не жалко, мол, пусть жгут, режут, раз Василий Дмитриевич ради него, Швидригайлы, в огонь не лезет. Еще и Серпухов сжег, людей вырубил. Сейчас вновь к пруссакам. Мечется, как бешеный волк. И дерзит: «Тебе можно, почему мне нельзя?»

Обожгло, словно кипящим маслом брызнули на кожу. Равняется! А ты тлен могильный вдыхал? Тебя четверо висельников сторожили? Ты детей крыжакам закладывал? Жизнями сынов власть окупал? Тебе яд, убийц, поджигателей подсылали? Да, ему, Витовту, можно! Кто потерял больше, чем он? Кто больше намучился? Господи, каких грехов не изведал! Крестовые походы: Мальборк гудел, франки, бургундцы, ломбардцы, британцы, венгры, тысячи рыщарей; турниры, трубы гремят, пиры, восторг, сволочье сборное тарабарит — к сарацинам, на сарацин, это — на Жмудь. В него, князя Витовта, тычут: князь сарацинский, неофит, диковина, ордену первый слуга. Походы, дороги, леса, реки вброд, почетные пиры под дубами, золотой дождь на приблуд. Учение Иисуса Христа несли: увидят деревеньку лесную — «С нами бог!» — кого посекут, а живых в хату, солому, сучья кругом — костер. Поют: «Спасибо, господи, помог сокрушить рог язычникам!»

Но и города брали. В Ковно три тысячи людей сожгли за один раз. Гродно, Вильно, Троки, Новогрудок жгли. Жмудь за язычество, Русь за схизму рубили. Пройдут — пепелища, постоят — пустыня. Вот так два годика: кровь, меч, конь, резня, трупы! Сердце окаменело, жалость избылась. А Якова-Ягайлу поляки на престол приглашают. Ему

Краков, корону, красавицу королеву дают. А взамен — малость: Великое княжество крестить в латинскую веру и ополячить. Все земли — Жмудь, Деволтву, Литовскую, Белую, Северскую Русь. Вот она, коварная жадность. Поморье не могли вернуть, силезские земли не удержали, Кульмская земля онемечилась. Галицкую Русь венгры оттянули. Давно ли сандомирская шляхта пряталась по лесам: «Литва идет!» И все — нет грозного соседа! Один человечек на трон садится, а все народы под польскую власть идут. За корону хотел отцовскую державу в рядовое воеводство переиначить.

Но что грешить, приятная была минута, когда Ягайла заметался, заискал с ним, Витовтом, мира. Не по себе стало, боязно: уедешь венчаться — а Вильно Витовт возьмет. Смех выйдет: и там еще не король, и тут уже не князь. Сразу тайные гонцы, секретные письма: рви с немцами, повраждовали — помиримся, бери все отцовское, княжествуй. Читал — душа ликовала. Пусть мчит в Краков, садится на польский трон. Чужой короны не жалко, а ему, Витовту, дедовскую, которую Гедимин и Миндовг носили... Сжег три замка, сотни рыцарей в плен увел — смыл грех службы крыжакам: на родину чистым надо приходить, чтобы родная земля добром встречала.

Однако как смеется судьба! В том самом Крево, где убили отца, где сам готовился к смерти, откуда бежал в женском платье в сумеречный час осеннего дня, в этом каменном тоскливом остроге Ягайла подписал унию Великого княжества Литовского с Польским королевством, а скрепили предательский пергамин своими печатками Семен Мстиславский и он, Витовт,— некогда первый друг Ягайлы, а потом — первый враг. Нет, не примирились. Замириться было выгодно. Но будь у Ягайлы там, в Крево, достаточная сила, он с радостью утопил бы его, Витовта, в дворовой луже. Наверное, жглось утопить, да боялся — умен стал Витовт, своих при себе привел; чуть что, вырубили бы Крево начисто — и Ягайлу, и польских послов. Мир на силе держится. По совести хочешь жить — сиди в келье...

А потом поехали в Краков. Вавельский замок, древний костел, паны толпами, Ягайла на колени рухнул — из православия в латинство обращают, из Якова во Владислава; ему королеву подводят, меч Щербец подают — все! прощай, Литва, здравствуй, королевство! И он, Витовт, в этом же костеле перекрестился в римскую веру из греческой, только имя прежнее оставил — Александр. Один Семен Мстиславский перекрещиваться не захотел. Так ему и нужды не

было, к большой власти никогда не рвался, поставили боевым князем в Новгороде — тем и довольствуется.

И что вера? Какая разница? Что некрещеный, что крещеный — душа прежняя. Робкий — храбрым, лживый — честным не становятся. Как Ягайла. В Крево, когда позорную унию свидетельствовали, Ягайла все обещал вернуть: Брест, Мельник, Бельск, Сураж, Каменец, Волковыск, Гродно, Полоцк. А сел королем — вернул только Гродно и Брест. Да еще Луцк на непонятных правах — вроде бы и его, Витовтов, однако тут же и староста польский сидит. Зато Скиргайле, пьянице слабоумному, вознесение, он — наместник в Великом княжестве. А Витовт — его князь подколенный.

И опять к немцам, вновь заложники, кровь, пожары, убийства, трупы, осады, месяцами в седле, смерть обхаживает и сам никого не щадит. Королевский братец Коригайла Вильно защищал — головой поплатился. Другой брат — Федор-Виганд не по праву на его, Витовта, место присел — захлебнулся цикутой. Клятвопреступник Скиргайла тоже ядом сжит, но это позже. Всем было воздано, кто заступал. Так боги решили — Великое княжество Витовту, он — вождь, спаситель отчизны, ему продвинуть границы, ему продолжить труды Миндовга, Гедимина, Ольгерда и отца любимого — Кейстута.

С усмешкою поднес к глазам бурый восковой отбиток печати великого магистра. Плохой был отбиток, с трудом различалось колесо букв, а в нем то ли дева Мария с Иисусом на руках, то ли Ульрик фон Юнгинген кого-то держал и сидел непонятно на чем, словно на крыше своего Верхнего замка. Князю сладко, счастливо представилось, как перекосится великий магистр, узнав, что лопнула, прогорела затейка с мятежом Швидригайлы. Нет его — некому бунтовать. Ушел вслед за теми, что раньше выдернуты. Голову с плеч — и никаких тревог, не надо гадать: изменит, не изменит? Давно пора, давно под топор просился. Еще в те годы, когда за отца мстил. Что Лисица и Прокша — шваль, повелели бы — пыль от князя Кейстута отгоняли руками, а кивнули давить — удавили. Швидригайла этот подлый приказ в Крево и доставил. Может, сам и подсматривал в дверную щель, как старый князь исходит. За одно это достоин... А ведь был в руках, когда Витебск у него отнимали. Выпустили, а надо было камень на шею, раз, два — принимай, Витьба! Уже память бы о нем обросла тиной. И свирепо, чтобы отместь шевелившееся в глубине ума сомнение, Витовт решил: «Казню!»

Словно путы снялись — освободился. Вспомнил, что голоден, вспомнил о дзядах, глянул на потолок — улетели. Ну да, уже там, в зале кружат над чаркой. Спрятал в ларец грамоты и вышел из покоя.

Кто был должен, сидели за столом. Князь подошел к Анне, поцеловал в висок, весело подмигнул: «Швидригайлу взяли! Камень с горба упал!» Княгиня понимающе вздохнула. Сел, огляделся, не увидел Ильинича, выкрикнул: «Эй, Ильинича позвать!» Придверный боярин ринулся вон. Витовт взял кувшин, сам наполнил кубок для дзядов, выложил на миску пшена: «Ешьте, пейте, дорогие!» Подчаший пошел обносить стол медом. Немного сидело народа: прибыл из Новогрудка брат Жигимонт Кейстутович; случившиеся по делам виленский наместник Войцех Монивид, гродненский — Мишка Монтыгирд, Чупурна, князь Лукомльский и любимец писарь Миколай Цебулька, а прочие, на дальнем конце,— бояре охраны, те сами себе наливали.

Витовт, не терпевший вина, чарку едва пригубил. И без вина было легко на душе. Явившемуся Ильиничу кивнул сесть возле Цебульки и громко, обязывая всех к слушанию, приказал: «Ну, рыцарь, выпей и хвались!»

Слушал Ильинича пристально, переспрашивал и уточнял, особенно о потерях: сколько своих намертво, сколько выживет, посочувствовал беде Мишки Росевича, полюбопытствовал, как Швидригайла бился в бою, и, к Андрееву удивлению, больше всего зажалел осадников, словно родню потерял: вот, народцу и без разбоя тяжко — сами землю осваивают, горбом поля корчуют, на порубежье в вечном страхе живут, а беглый князь хуже немца своих людей выбивает.

Кто больше Ильинича понимал в княжеских делах, затихли, как мыши, разумели, к чему клонится: уж если за ничтожных осадников, за три никчемных двора так горюет, чуть ли не слезы льет — все, конец Швидригайле. А князь вел свое:

— Вот, мало что мужиков посек, еще и хаты велел пожечь. Огонь любит, пожары. Страсть неуемная — поджигать. У Василия Дмитриевича, зятя моего, Серпухов сжег, осадников моих пожег...— И, припомнив, обернулся к жене: — Помнишь, Анна, как в Гродненском замке горели?

Княгиня печально улыбнулась.

Витовт тоже улыбнулся, но зло, и стал рассказывать, хоть многие, для кого вспоминал, сами претерпели в том огне.

— Как сейчас было — на дзяды, десять лет назад. Ут-

ром выпили, в обед, на вечерю, и мы с княгиней спать. Просыпаюсь — духотища, смрад, и кто-то жуткий, лохматый, хвостатый мне грудь раздирает когтями. С похмелья голова кружит, не соображаю — явь или сон. Думаю: сон — бесы снятся. Но больно этак дерет, оттаскиваю — опять наскакивает и — цап, цап! — нос, уши рвет, горло щиплет. Думаю: нет, не сплю, но точно бесы. И слышу: горестно кричит, просто жутко, дико; думаю: не может бес горевать, хихикал бы рогатик. Собрал силы, веки размежил — волосы дыбом потянуло: дверь, стена тлеют — пожар, а мы лежим, угораем. Вот мартышка моя смерть от нас с княгиней и отвела. Я княгиню на руки, мартышку на плечо, дверь ногой выбил — и во двор. Тоже кто-то поджег.

Хоть и сказал «кто-то», но само собой увязывался старый гродненский пожар со Швидригайлой. Тут палил, там палил, мог и замок поджечь, загубить князя Витовта. Почему бы и нет? Ну, не сам, самого в тот день в Гродно не было,— подкупил челядь. Могли, конечно, и с ведома Ягайлы устроить пожар. Тогда князь и король крепко враждовали, Кревская уния была порвана, Витовт набрал силу — с поляками не считался. И повод дал немалый смерти желать: на Немане без совета с Ягайлой договор заключил с крыжаками, по этому случаю пировали, и бояре, напившись, стали кричать: «Пусть живет Витовт — король Литвы и Руси!» Ягайла, узнав, страшно разгневался. Могли его прислужники постараться, наняли замковую стражу. И впрямь, не будь мартышки, угорели бы намертво. Но сейчас неудачное то покушение поворачивалось на Швидригайлу, еще один грех ложился на него для пущей убежденности в пользе расправы. Явственно касалось застолья колкое, холодящее предчувствие, что сейчас, в ближайшие минуты, будет сказано: «Князя Болеслава решил казнить!» А вырвется слово, великий князь его назад не возьмет.

Но Витовт не торопился.

— Ну, а вы,— спросил Андрея,— помогли хату затушить?

— Сечь кончили — помогли,— сказал Андрей.

Князь хитро улыбнулся:

— Чупурна! Вот сотник поджигателей порубил. За доброе дело — выдать ему сто пражских грошей! — И осадил рванувшегося валиться в ноги Ильинича: — Сиди! Тебе сегодня везет.

— Еще и на крыжаках заработает,— подсказал Монивид.

— Крыжаков я у Ильинича выкуплю,— неожиданно

заявил Чупурна.— Мой родич у крыжаков в плену, в Кенигсберге, в подвале на цепи кукует, буду обменивать. Что, Ильинич, какая твоя цена?

После щедрых княжеских наград следовало великодушничать, и Андрей ответил:

— Если пану Станиславу надо, я без выкупа уступлю.

— Ха! — засмеялся Чупурна.— Уступаешь — беру!

Жалко было денег, щемило Андрея, но знал, что больше выигрывает, чем теряет. Нужда наперед неизвестна, а подарок запомнится, и на людях сделан — всем понравилось, случится какая важность — можно смело маршалка просить, он большую власть держит в руках.

О крыжаках чуть было сказано, но сразу все оживились, и весело, дружно Жигимонт Кейстутович, Монивид, Монтыгирд стали вспоминать князя Кейстута: как лихо из плена уходил, храбро рубился, как водил дружины литвинов на Лысую Гору брать лупы с польского монастыря. Крепко тот монастырь облупили, гвоздя не оставили; действительно, та гора лысой стала. А поляки вдогонку только слух пустили, будто Лысогорская икона Богоматери камнем легла на воз, с места тот воз стронуться не мог. А те, кто снимал ее со стены, будто в тот же день и умерли страшной смертью. Смех! В голове богу польские иконы! Что и впрямь легло камнем на возы, так что кони едва тянули,— так это сокровища из лысогорской скарбницы. Два столетия их монахи собирали — наибогатейший был монастырь. Вся Польша плакала после того наезда. Славные были времена!.. Тут все старые приятели князя Витовта и он сам как-то одновременно притихли, припомнив, что они уже давно сами католики, и непристойно им выхваляться такими грехами...

Андрей внимательно слушал и благодарил бога за свое счастье! Повезло, как одному с сотни тысяч везет! Взял Швидригайлу — и все, наверху, действительно, из грязи в князи. С трудом пять коней выставлял, сейчас пятьдесят пять будет выводить. Своя хоругвь. Это же сколько деревень подарит ему Витовт. Дворов, может, пятьсот! Ну, пусть чуточку меньше. И деньги появились. Вот отец подивится! Жаль, что нельзя сейчас в Полоцк отъехать. И дзядам будет радость. Пошли Ильиничи в гору, может, со временем и в наместники попадем, может, не только сегодня, но и часто придется за этим столом сидеть... И дурман удачи, мечты, всегдашнего успеха хмелил Андрея сильнее, чем вино...

Витовт, краем уха слушая похвальбы отцу, не отступал

мыслями от Швидригайлы. Сомнение занозило, ершило, удерживало объявить вслух: «Казню!» Думал: казнить легко. Казнил, схоронил, ну и что выгадал? На белом свете нет? Держать в подвале — то же самое, словно нет. Старая, отточенная за годы осторожность подсказывала: невыгодно казнить. А уж если выдавать палачу, пусть и Ягайла руку приложит. Иначе ославят: Витовт — кровожадный кат, Ягайла — милосердный ангел. Пусть живет, оставлю жизнь. Но не даром же? Что даром, то не помнится. Даром Швидригайле давали то Витебск, то Новгород-Северский, то Брянск, то Подолье — он не помнил добра, бросал.

Проскочило в уме: «Подолье», и сразу вся затея ровно сложилась: не медля, после снеданья, продиктовать Цебульке письмо для короля — мол, Швидригайла вступил в союз с Ульриком фон Юнгингеном против короны и княжества, готовился в спину ударить, когда тронемся отнимать: вы — Добжинскую, мы — Жмудскую земли. С божьей помощью схвачен, сидит на цепи. Пусть задумается, что с братцем делать. А через месяц в Бресте съезд. Там уж твердо: если Швидригайле жизнь, нам — Подолье. Хватит, попользовались поляки лучшими землями, пора назад возвращать. И ведь согласится, чтобы побольше людей привели на войну. А Швидригайлу на месячишко в Крево, в большую башню, где князь Кейстут и он, князь Витовт, отметились ногтями на стенах. Камни осклизлые быстро остудят кровь. А затем в Кременец, туда никто не дотянется, ни немцы, ни приспешники, беглому пруссаку Конраду Франкенбергу под охрану, у него дьявол не сбежит.

И, решив судьбу стрыечного брата, Витовт забыл о нем, развеселился, перебил Жигимонта, сам завспоминал, как требовал того праздник, о памятных делах своих дзядов.

## ХАТА ШЕПТУНЬИ. ЛИСТОПАД

Старый Иван Росевич, встретив на дороге сына, не верил, что довезет его домой с душой в теле. Однако бог милостив, внесли под родной кров живым. Стали глядеть рану — мать, Софья, Еленка, бабы-челядницы в плач: из свищей текла гнойная кровь, жизнь была на последнем истлении, вот-вот загаснет. Если и оставалась в Мишке жизнь, то небесная, потому только и дышал, было видно, что запаздывала, ходя по другим, смерть.

Более скорые зашептались, что надо спешить везти из Волковыска отца Фотия — пусть причащает и отпоет. Но тут кто-то из дворни вспомнил о Кульчихе, возгорелась на-

дежда: вдруг колдунья осилит выправить? Гнатка поскакал за ней, и скоро древняя старуха переступала порог. Одета была в черную рубаху, а поверх — в изношенный, изгрызенный мышью кожух и обмотана вороньего цвета платом. Никто не знал, сколько ей лет, считалось, что живет третий век — до того пригнулась к земле, ужалась, укоротилась, стемнела лицом, только колкие глаза светились среди морщин. Войдя, Кульчиха ни на кого не взглянула, никому слова не сказав, прошла к Мишке, отвернула тулуп, задрала рубаху и длинным заскорузлым пальцем потыкала прямо в рану. Из Мишки выдавился мучительный стон. Колдунья вновь тыркнула пальцем в свищ — посильнее — и захихикала, когда Мишку исказило от дикой боли.

— Вези, вези хлопца,— проскрипела Кульчиха, повернувшись к старому Росевичу.

— Куда? — удивился старик.

— В избенку мою! — ответила колдунья.

— А жить-то...— заспешила узнать главное Мишкина мать.

— На что ж он мне мертвый!

Заспешили везти. Жила Кульчиха в трех верстах от Роси, в когда-то крепкой, а сейчас покривившейся, обомшелой, грозившей рухнуть хате. Помнилось, а вернее, передавалось по памяти, что в былое время сидел здесь дегтярь, а что стало с дегтярем, кем приходилась ему Кульчиха — женой, дочкой, сестрой или никем не приходилась, а просто приблудила, заняла опустевший двор, этого никто не запомнил. Все хозяйство шептуньи составляла коза, которая, к отвращению боярина Ивана, обитала вместе со старухой в избе. Еще в избе, когда стелили шкурами лавку и опускали на них раненого, обнаружился бурнастый, мерзкий пес — вот в этакий-то хлев приходилось помещать сына. Старуха, недолго подумав, выставила условия: чтобы сенца привезли, и ржаной муки привезли, и мяса, и по гарнцу конопли, мака, сушеной малины и косу лука, и по бадейке брюквы, репы, моркови, и кувшин свежего медвежьего жира, и через день телячью печенку, и каждый день живого куренка. И чтобы никто не появлялся наведывать — она это не любит, будет надо — сама призовет, а если поднимется молодой боярин, то ей должны дать сорок гривен. «Зачем тебе? — чуть было не вскрикнул изумленный Росевич.— Что тебе с ними делать?» Шептунья, поняв, разъяснила с прихихикиваньем: «Чтобы крепче здоров был. Тебе на память. А гривны в землю зарою, на них девясил хорошо растет».

Хоть и было очевидно, что и сенцо, и репа, да и все прочее, кроме, может, жира и печени, к лечению раны не приложатся, но все названное шептуньей в тот же день было доставлено, и потекли в Роси дни неведения и волнения. Челядник, ежедневно возивший Кульчихе курицу, Мишку не видел, зато видел и сообщал, что колдуньина коза обжирается морковью, а пес жрет отварное мясо и вовсе не косточки, а полностью куриные ножки идут ему. «Прибью! — думал боярин Иван.— Помрет Мишка — зарублю и Кульчиху, и козла, и собаку ненасытную!» Но потом, пугаясь, что злобные такие мысли услышатся колдуньей, каялся и молился за ее здравие и исцеление единственного сына.

На четвертый день жизни у старухи Мишка очнулся от приятного покалывания в висках; доходил откуда-то тихий шелест. Разлепив веки, увидел над собой темное пятно, рядом дрожало светлое, а вокруг была глухая чернота, и слышался мерный, скрипучий шепот: «Иди, изыйди, отвались от груди, от бела тела, от горячей крови, беги, не озирайся, назад не возвращайся, ступай в пни, в колоды, в гнилое болото, там тебе постель постлана, изголовье высокое, перина глубокая, там тебе жить, со мхов воду пить!» Потом различились огонек лучины, внимательные глаза на старушечьем лице. Словно сама собой приплыла ложка, коснулась губ, и что-то горькое потекло в горло. «Где я?» — хотел спросить Мишка и, казалось, спросил, но старуха не ответила, вытянула над ним узкие руки и таинственно начала нашептывать: «На синем море камень лежит, на том камне дева сидит, красную нить мотает, кровавый посек сживает, твою рану заживляет!» Под этот приговор Мишка забылся, а когда вновь открыл глаза, опять рядом стояла старуха; но сейчас она накладывала на горячий бок что-то холодное, присмотрелся — какую-то темную кашицу из глиняного горшка.

— Ты кто? — внятно спросил Мишка.

— Бабка Кульчиха. Помнишь, измывался? «Ведьма, ведьма!» — кричал.— Старуха беззлобно хихикнула.— Ты не пужайся,— сказала, заметив в глазах Мишки испуг и недоумение: почему Кульчиха? как он здесь? — Отец тебя привез. С того света выходишь.

— А это что? — спросил Мишка, косясь на горшок.

— Корень земляничный, гноище твое загоит.

Мишка засыпал, пробуждался и всегда видел старуху за делом: то стояла у печи в дыму, который уползал в волоковое окно, то, сидя на лавке, толкла неизвестно что в дере-

вянной ступе; резала, терла, рубила топориком и вновь спешила к печи; пятижды в день глядела рану, смывала гной брюквенным соком, прикладывала то крапивную кашицу, то заваренный ежевичный лист, то тертую морковь, или смазывала кровавые рубцы густой мазью из шишек хмеля на медвежьем жиру, или подавала пить одно другого горше питье, или принуждала жевать, иссасывать теплую, с живой еще кровью печень. Ни разу не приметил Мишка, чтобы шептунья спала, хотя бы замирала вздремнуть. Казалось, и вовсе не спит.

Силы прибывали медленно; подолгу бывал во сне, а если не спал, то бездумно разглядывал пучки трав и кореньев, которыми сплошь были завешены стены и столь; или глядел на козу Лешку — ее вначале пугался, думал: как есть нечистик рогатый, а бабка Кульчиха — ведьма, но пообвык и даже умилялся при виде немигающих, добрых козьих глаз, а Лешка, почувствовав расположение, стала подходить, осмелилась приближать свою морду и дышать в лицо, лизала шершавым языком руки. И пес Муха, на ночь зазываемый в хату, как объяснила Кульчиха, чтоб не загрызли волки, тоже стал привычным, и Мишке мерещилось, что он с давних лет живет под этой низкой столью, откуда исходят дурманом сухие травы, и с этой седой, иссушенной временем старухой, которая ростом была чуть выше Лешки, но которой, вспоминалось, все боялись или побаивались, и с этой ласковой бородатой козой, и с бурнастым псом, который свирепо облаивал конного паробка, привозившего старухе припасы. Радовался, что жив, оживает, но хотелось лежать и лежать, вот так, беззаботно, только бы в боку перестало жечь.

Потом вспомнилось, что живут поблизости мать, отец, сестры. Мишка огорченно спросил, почему не приходят.

— Потому что велела не приходить,— отвечала Кульчиха.— Помочь ничем не помогут, только зазря Муха будет брехать и Лешка пугаться. Земля — главная мать, она чувствует, кто отходил свое, кто свое недоделал, она сама решает: кого забирать, кого рано. Пусть дома об здоровье молятся или в церковь ездят, а здесь не церковь.

— А как Рыгор мой? — спрашивал Мишка.

— Встал твой Рыгор. Слабо его стукнули.

— А меня?

— Ты чудом живой. Тебя теперь не скоро убьют.

— Значит, убьют? — повторил Мишка.— А как, бабка Кульчиха, ты судьбу гадаешь?

— Никак не гадаю,— отвечала старуха.— Сколько жи-

ву, всегда из десяти мужиков только, может, один своей смертью помирал. Других или крыжаки зарубят, или свои же побьют. Кто-то тебя, ты — другого, так и кладетесь, полжизни прожив. А зачем рубитесь, зачем головы сносите — и самим непонятно. Рожают вас бабы, радуются, а потом выхаживай вас дохлых или клади в могилу, как Былича поклали.

— Данилу? — удивился Мишка, припоминая чьи-то жалобные слова, давнего соседа возле себя на полу в неизвестной хате. Он спросил: — А что жена его, Ольга?

— Откуда мне знать? Жива. Не следом же лезть.

Шептунья вдруг пронзительно глянула на Мишку.

— Далеко мыслями летаешь,— сказала она с усмешкой.— Живучий!

Мишка смутился.

Как-то ночью не спалось — гудело в лесу, ветер бил в крышу, свистел в щель,— Мишка спросил старуху:

— Скажи, Кульчиха, ты была молодой?

Впервые шептунья удивилась:

— А как же, была!

— И муж у тебя был?

— Был.— Мишка ожидал обычного ее смешка, но она не хихикнула.— Был,— повторила старуха.— Дед твой как-то призвал моего на коня — в погоню шли, где-то там его и убили, вот, как тебя, ткнули рогатиной, но назад не привезли. И экая судьба — все целы, один мой сгинул.

— А потом? — спросил Мишка.

— Потом дед твой хотел мне другого мужа прислать, только раздумал. С тобой, сказал, никому не будет счастья. Хочешь, дегтяря дом пустует — живи, а деревню оставь.

— Отчего так? — удивился Мишка.

— А мать ворожила. И ко мне, мол, тяжелый глаз перешел.

— А не скучно без людей, Кульчиха?

— Ты разве не человек? — спросила шептунья и на этот раз хихикнула.

— Ну, я. Ты ведь не всех берешь.

— Кого хочу, того беру, а другие сами приходят: у кого смок корову сосет; кому ведьму отпугивать; эту муж бьет — нашептать, чтобы не бил; та хворает; у той дитя молчит — чтоб заговорило; кого гад укусит, кого трясца бьет — побольше вижу людей, чем ты.— Помолчав, старуха продолжала: — Мне так и лучше. Вот лес за стеной, в нем каждой травинке земля дает силу, я знаю какую. Вот ты помирал — я выходила, будешь жить. Вон сколько корешков, стебель-

ков, листиков, никто не знает, как брать, голосов не слышит — я слышу, они из-под земли мне шепчут. И заветные слова я знаю, вы — нет. Хоть ты слышал, а не запомнил, а запомнишь — с пользой не повторишь. На каждое слово свой есть час. Одни в звездную ночь можно шептать, другие — когда Вечерница выходит, другие — под утро, когда звезды меркнут, а еще другие — если серп месяца рогами на Гусиную дорогу глядит. А слово для смелого не то что для боязливого. На зимней дороге волков отвести — тоже отдельное слово есть. Вурдалака прогнать — тоже особое...

— Кульчиха,— запалился Мишка,— ты меня научи.

— Ты не научишься,— сказала шептунья.— В лесу надо жить, землю слушать. А ты — боярин, твое дело воевать, пока довоюешься. Ведь очуняешь, поднимешься — опять на коня?

Мишка встрепенулся:

— А скоро ли подымусь?

— Колядные морозы придут — поднимешься,— ответила старуха,— а конно раньше пасхи не сможешь.

Радуясь близкому исцелению, он неожиданно вспомнил сестру, ее мучительную неподвижность, нудное заточенье в избе.

— Бабка Кульчиха,— спросил он,— почему ты нашу Еленку не излечишь?

— А как ее целить? Ее напугать надо.

— Мы пугали,— возразил Мишка,— не помогает.

— Ей настоящий страх нужен,— сказала шептунья.— А что вы с Гнаткой волчью морду в окно всовывали — за это обоим руки бы поотсечь. Тот, медведь, ходит — землю трясет, а разум как у дитяти, и у тебя не шибко ума. Додумались — живого волка связать...

— Откуда знаешь? — поразился Мишка.

— Гнатка приходил за советом: как еще пугануть. Я говорю: чтó волк, зубра надо пригнать. Как сунется в дверь, мертвый подскочит, не то что ваша Еленка. Подумал: нет, говорит, зубра — силы не хватит. Я говорю: нет силы — браться не надо. Добра не смыслишь, худа не делай. Не вашего ума труд. Придет час, без вас напугают. На все срок есть. Раньше срока не сделается, хлопец, как ни тужься...

Скоро Кульчиха стала оставлять Мишку одного. Приходила какая-нибудь баба, рассказывала свою беду, и шептунья надевала древний кожушок, обвязывалась платком и исчезала на полдня, не забыв поставить Мишке у изголовья питье и горшок с едой. Возвращалась она продрогшая, в дождь — промокшая до последней нитки, но тут же бралась

за обычное дело — толочь, варить, запаривать. Мишке становилось жаль старуху, он говорил:

— Ты бы прилегла, бабка Кульчиха, погрелась бы на печи.

— Чего лежать? — отвечала старуха.— Не хворая. Да и не лежится, Миша, без дела. Вспоминать, что было,— так его нет, наперед думать — не невеста. Что делаешь, тем и жив. А прилег дремать — будто мертвый.

— Отдохнешь,— уговаривал Мишка,— силы прибудут.

— Помру — отлежусь.

Мишка не находил что возразить, задумывался: где же силы берет? Не понять, в чем душа держится, никакой плоти, светится вся насквозь, а без дела минуты не просидит. Плоть слабая — дух сильный. Земля бережет Кульчиху, думал Мишка. Вот не было бы бабки, где он сам сейчас бы лежал? Может, в земле, как Данила. Не нашлась для него такая шептуха. Теперь Ольга одна живет... И так невольно сложилось в правило, что, о чем бы он ни думал, обязательно думы выводили на Ольгу. «Подымусь на коляды — съезжу навестить»,— решил Мишка.

Но неожиданно Ольга сама подала весточку. В один из морозных дней долетел в избу перестук копыт по мерзлой дороге, потом — заливистый брех Мухи, храп коня, стук в двери, и вошел Юрий, держа в руках небольшой узелок. Заметив Кульчиху, поздоровался; та уставилась на него пытливо и строго.

— Я вот его навестить,— объяснил Юрий и, поставив узелок на стол, подошел к Мишке.— Сестра тебе кланяется и гостинец передает...

— Скажи: благодарен ей!

— Что за гостинец? — полюбопытствовала от печи Кульчиха.

— Не знаю. Целебное что-то.

Шептунья недоверчиво развязала узелок — там оказались два запечатанных воском горшочка. Сколупнув воск, Кульчиха попробовала на палец содержимое. Юрий почему-то забоялся, что старуха выбросит горшочки или скажет увозить. Но она пробурчала нечто одобрительное и понесла горшочки на полку в холодный угол.

— А еще Ольга велела передать,— успокоенно продолжил Юрий,— что желает тебе здоровья.

— И ты передай сестре, что добра желаю.

Юрий кивнул:

— Передам!

— Скажи: вспоминаю о ней.

— Скажу,— заверил Юрий.

И оба замолкли, не зная, о чем говорить.

— Ну, а ты как? — спросил Юрий, мучаясь этим молчанием.— Лучше тебе?

— Да так, лежу,— отвечал Мишка.— Очунял с бабкиной помощью. А ты у Ольги сейчас живешь?

— Нет. Наведать пришел.

— Значит, в одиночестве она...— посочувствовал Мишка.— Горюет?

— Конечно, не по себе.

— Ну, передай мой поклон.

— Передам.

— Скажи: даст бог встать — заеду.

— Скажу.

Опять замолчали. Мишке хотелось спросить: неужто Ольга сама сказала брату поехать, дала коня, собрала узелок? Что при этом говорила, чем объясняла, отправляя за двадцать верст? Но не спрашивал, стесняясь шептуньи.

— Буду ехать мимо твоих,— сказал Юрий.— Может, передать что?

— Передать? — задумался Мишка.— Что передавать? Скажи: живой и здоровый.

Кульчиха хихикнула:

— Ага, скажи: здоровый уже ваш Мишка, как вол.

Она прошаркала к Мишке, неся ковш.

— Глотни, богатырь. И ты присядь, раз явился,— сказала Юрию повелительно.— Спешишь, словно гонец.

Стукнула клямка, и вошел старик с обернутой в рогожу лирой на одном плече и скудной котомкой на другом.

— Признаешь, бабка? — поклонился он Кульчихе.— Давно не виделись.

— Давно ты здесь не был,— согласилась Кульчиха.

— Иду, думаю: дай гляну, жива ль ты еще.

— Хорошо бы и помереть,— отвечала шептунья,— да времени нет. Куда, старый, бредешь в такой холод?

— Куда глаза глядят. Может, в Слоним или в Волковыск. Зима близится. Был бы медведь — в берлогу залез, а так — печка нужна.

— Садись грейся!

Старик без лишних слов пристроился у печи.

— Да, плохо без своей хаты,— сказал Юрий участливо.

— А на что мне своя хата? — улыбнулся старик.— Мы, лирники, живем, пока ходим; помираем в пути. Идешь, присел отдохнуть и заснул вечным сном.

Мишка не поверил:

— Разве, дед, всю жизнь ходишь с лирой?

— Весь век. С того дня, как деревню крыжаки пожгли. Это сейчас меня борода к земле тянет, а тогда хлопчиком бегал... Как-то на Тётю сидим празднуем — батька, мать, сестра старшая. Вдруг грозный топот, злое ржанье, страшная речь. Отец глянул в оконце — и за топор. А трое кнехтов уже в хату идут. Первый вошел, широкий голый меч в руке держит. Отец взмахнул топором и врубил ему в грудь, как в осину. Взял меч, перекрестился и ступил за порог. Мать следом нас вытолкала: «В лес, детки!» Я понесся, сестра и мать сзади бегут. Там и бежать-то всего было — полоска житная, и сразу чаща — укрытие! Бегу, а впереди — ви-р-р! — стрела впилась в землю, и еще одна над головой прошла, прямо по волосам. В деревьях оглянулся — два белых пятна на стерне лежат. А отца возле хаты дорубливают... А потом мне старец встретился, приласкал, я ему лиру стал носить. Лет десять вместе бродили. Как-то пришли в Новогрудок, тогда еще Михаил Кориат там княжил, старец мой перед самым городом говорит: «Ноги гудят», прилег отдохнуть и тихо, бессловно помер. Люди добрые дали мне лопату, я старца схоронил; досталась мне лира. Три года в Новогрудке прожил, потом в Чарторыйске женился, князь ночным стражем в замок взял. Только недолго счастье мое длилось. Прихожу утром домой — тишина: все мои насмерть угорели. И что удивительно: когда были жена и детки, редко пел, а когда пел — мало люди слушали, а как все потерял, пою — и слушают...

— Голый, что святой,— сказала Кульчиха,— зла не боится.

— Ага,— улыбнулся лирник,— хуже, чем есть, не сделается, а лучше — сам не хочу.

Юрий спросил с жадным вниманием:

— Похоже, дед, ты и на Синей Воде был?

— Было, бился против татар,— отвечал старик.— Ольгерд большое войско собрал. А наш князь Кориат Новогрудский всех, кто мог оружие держать, повел в этот поход. Не счесть, сколько народу шло на святое дело. Ночью взойдешь на древний курган, оглянешься на таборы — огней по степи, как звезд на небе. И у каждого не двое, не трое, а десяток людей. Коноводы всю ночь табуны гоняют на водопой, и над степью мгла ночная дрожит от нетерпеливого ржанья. А чуть заря — войско тянется по травам тремя ручьями в десять верст каждый. Кто конно едет, кто пеше идет, скрипят подводы, на них грудами доспехи блестят.

Трава нагреется — пьянит, небо сияет синью... А я сам молодой, и вокруг молодые...

Старик расчувствовался, вдохновился, глаза его молодо засияли, и сам он гордо распрямился, словно ожившая память, вернув в давние дни, вернула и давнюю силу.

— Подошли к Киеву, там кучка татар сидела — дань брала с киевлян; татар тех как ветром выдуло. Сто годов был Киев под татарской неволей, а мы пришли — рассыпался этот гнет. Колокола звонят, из Софийской церкви крестный ход, из Печерской лавры древние старцы вышли, все христосуются, как на пасху,— свободным стал Киев, кончилась татарщина. Потом пошло наше войско на Канев и Черкассы, к Южному Бугу, к Синей Воде. Поле и небо — две равнины. И там, где смыкаются небеса с землей, вдруг черная полоса, как змея поперек дороги,— татары. Три хана — Котлубай, Катибей, Димир — для битвы объединились. Утро пришло, солнце поднялось над Диким полем — мы уже стояли в шихтах. Ольгерд развел полки широкой подковой, наши новогрудские хоругви поставил по сторонам — оберечь от татарских наскоков бока. Так и стояли мы, как рыбаки, когда сеть тянут против течения. А косяки татарские напротив нас, в двух полетах стрелы. Ждем. Трава сохнет. Шлемы греются. Холодно на душе. Вдруг конские хвосты на сотенных древках замотались, грохнули бубны, татары стронулись. Тогда Ольгерд подал знак — наши наставили копья. Годины две татары крепко держались, потом начали жижеть, как студень на солнце, заворачивать коней. А мы на хвосты им сели, целый день гнали по степи, все Дикое поле покрыли трупами, травы местами не было видно. Распорошили их до самого Крыма. Все Подолье, всю Украину от татар очистили...

— А наших много было побито? — спросил Юрий.

— Потратилось людей, да,— вздохнул лирник.— Из новогрудцев, может, каждый второй там лег. Только кто их считал! Вырыли могилу, сложили мертвых, насыпали курган, сейчас и найти нельзя. Степь. Дикое поле. Сейчас, да, трава на холме, а были живые люди. Гнет скинули. Древние земли воссоединили...

— Приходи в Волковыск,— сказал Юрий старцу.— У меня перезимуешь. Хата большая, я один.

Старик поблагодарствовал.

Не хотелось Юрию уходить, но и засиживаться далее не годилось. И была другая цель — повидать сестер. Ради них и выбрался за двадцать верст передать гостинец. Сам Ольгу и убедил, что надо раненого приветить. Побыв у Миш-

ки, полное право есть к Росевичам заглянуть. Когда другой случай представится, думал Юрий. Поспешить надо, пока не стемнело...

Скоро он был у Росевичей. Хоть парень, открывавший ему ворота, и сказал, что хозяева дома, в избе оказалась одна Еленка.

— Мишку вашего видал,— объяснил свой приезд Юрий.— Поклон вам передает. А где ваши?

— Наши в Волковыск поехали.

— А ты почему не поехала? — спросил Юрий.

— Они в церковь поехали,— сказала девушка.— Молиться. А я здесь могу помолиться. А Кульчиха и без молитвы помогает. Что молиться? Сколько я молитв нашептала, каждую ночь... Все спят, а я молюсь: господи, ничего мне не надо, верни то, что раньше дал,— ходить по земле, ведь я молодая, а я обузой в доме, меня на руках носят...

— Бог добрый,— сказал Юрий,— поможет.

— Бог суровый,— возразила Еленка.— Меня наказал, а за мои грехи — всю нашу семью...

— Какие у тебя грехи? — искренне удивился Юрий.

— Когда вот так сидишь изо дня в день, в бессилии, всю прежнюю жизнь переберешь, каждый взгляд, каждое сказанное слово вспомнишь, оглядишь и оценишь. Гордыня меня слепила — вот и грех. Три года назад стал ходить здесь один парень, может, ты и видел его — Юшко Скирдан. Ничем он не был хуже других, только я будто его и не видела. Я самой красивой себя считала, даже злилась, что он на меня глядит, что в церковь следом скачет, из церкви тоже вослед и на гуляньях рядом, как тень. Он сватов прислал, а я отказала. Так он подстерег меня у Роси, схватил в седло и помчал. Девки прибежали, сказали отцу. Мишка, Гнатка, отец, старший брат Волк — за мечи и вдогон. А с Юшкой были дружки. Он сбросил меня на землю, стали биться. Мне страшно: вокруг вздыбливаются кони, кости хрустят под мечами. Вдруг вот так близко, рукой достать, повисает вниз головой человек, кровь льется на землю, и вижу — это брат мой Волк, мертвый. А наши их перебили. А у меня ноги отнялись...

— В чем же твой грех? — тихо спросил Юрий.— Он виновен.

— Чем он виновен? Любил...

— А чем ты виновна?

— Могла сказать «да», сказала «нет». И Волк был бы жив. И он. И его друзья. И я была бы здоровая. И матуля о Волке горюет. И страшно мне, что навлекла проклятье

на дом. Вот Мишку ранили, а я думаю: за мои вины...

— Ты добрая,— сочувственно сказал Юрий.— Но чужую вину брать на себя нельзя. Юшко виновен: силой любить не заставишь. Даже бог не насилует людей любить себя. Как же может человек человека принуждать? Это грех. А на тебе нет греха. Придет час, наступит облегчение. Ты только молись. А знаешь, почему...

Но досказать, почему надо молиться, Юрий не успел: в избу вошла грузная, с тяжелым дыханием баба и, увидав рядом с Еленкой незнакомого, по-детски удивилась, но, признав Юрия, присела к столу с явной охотой послушать и поговорить. Юрий вновь рассказал о Мишке и опять передал от него поклон, а тетка Малаша (так назвала бабу Еленка) стала жаловаться на шептунью: не пускает к Мишеньке подойти, даже ее, тетку Малашу, не пустила. Вышла на порог, говорит: «Нечего тебе тут делать, ты и в дверь не пролезешь, только Муха лает попусту». Так в дождь и пошла назад, обреханная собакой. Но все можно перетерпеть, лишь бы Мишенька стал здоровый. Поделившись обидой, тетка Малаша принялась выспрашивать: что Кульчиха говорила? видел ли он козу и где? брехала ль на него собака? что лирник говорил?

Видя искренне внимание тетки и Еленки, Юрий увлекся и поведал о летописи, давно начатой отцом Фотием для вечной памяти о здешних делах. «Ты гляди,— дивилась тетка,— и что, Юрка, через сто лет люди прочитают?» «Ради того и пишем! — кивнул Юрий.— И через сто, и через триста будут читать». «И обо мне прочитают?» — испуганно спросила тетка. «Ну, конечно,— согласился Юрий, но все же ради правды добавил: — Если написать». «Ну, так ты, хлопец, будь разумным, не пиши уже, что меня эта ведьма облаяла, будто я в двери не пролезу. Смеяться будут с меня». Тут тетка наконец догадалась, что довольно далеко до тех читателей и поспешила с оправданием: «Я стыдливая. Я и на том свете покраснею».

Рассказывая волковыскую старину, записанную отцом Фотием, Юрий отметил, что своими рассказами, а может, и приездом развеселил Еленку, и ему стало приятно. Он решил, что будет молиться за нее.

Досидев с Еленкой и теткой до сумерек, Юрий поскакал к сестре. Отдохнувшая и накормленная у Росевичей лошадь шла резво. В сгущающейся темноте, противясь мраку, проступали звезды. Весело будил пустынность дороги перестук подков по замерзшей земле. В лад этим знакам бодрости хорошо вспоминался прошедший день, и Юрий

чувствовал себя укрепленным в добре. Ему казалось, что его успокоенность передастся и Ольге, и печаль ее уменьшится, а надежда на жизнь окрепнет. Думая об Еленке, лирнике, Мишке, он верил, что и они сейчас вспоминают о нем, что сказанные каждым искренние слова создали между ними ублаготворяющее единение и родственность — знание своей нужности другим. Да не все складывалось по думам Юрия.

Мишка Росевич в этот час чувствовал себя ненужным на свете. Впервые душа его сильно смутилась, впервые он увидал себя чужими глазами — глазами Кульчихи, лирника, тех безымянных людей, которых он вольно и невольно обидел. Это смущение пришло к нему, когда лирник сказал гордые слова: «шли на святое дело». Отметилось, что и Кульчиха уважительно слушала старца, и припомнилось то небрежение, с которым она отзывалась о других битвах и стычках людей. Его заняло желание возразить бабке Кульчихе, объяснить ей что-то такое, чего она не понимает. Он задумался, о чем из своей жизни мог бы рассказать с такою же гордостью, как лирник о Синей Воде. Тому назад пять лет ходили на Смоленск, когда их князь поднялся против Витовта. Взяли город и очень радовались. Но кого рубили, казнили? Своих же одноплеменников. Сколько сирот потом пошло по дорогам, как этот старец! Чем гордиться? Грех! Ходили против крыжаков. И не однажды. Так ведь тоже не похвалишься. Как стояли Пруссы, так и стоят. Зато своих же, русских, в Коложе разорили начисто. «Крыжаки гродненцев порубили, мы десять тысяч коложан в Гродно силою перевели». Не расскажешь Кульчихе, как это было, не похвалишься. «Да,— кивнула бы,— самое боярское дело людей, как скотину, гонять!» Конечно, взять Коложу Витовт сказал, и народ переместить из родных мест в Гродно тоже он решил. Но чьи руки исполнили? Кто делал, кто рвение проявлял, из кожи вон лез, чтобы князь глянул приветливо?

Шли к городу и знали, что совершим: город сгорит, а людей за Неман погоним. Никого не велено было рубить, насиловать, грабить. Только самых буйных порубить, тех, кто смириться не стерпит. Самых смелых, схватившихся за мечи, и покрошили на улицах. Не татар на Воскле, не немцев в поле — кривичей, в их родном городе. Язык не повернется об этом Кульчихе сказать, да и никому иному. Стоял город, курился утренними дымами на свою же беду — из тех печей углями наши лучники потом хаты поджигали. Быстро горели: крепко высохли за многие лета стены и стрехи, солома и гонт... Ворвались сотни, заняли улицы и проулки, бойких коложан вырубили, а всех прочих взашей из

домов: запрягайтесь, скарб на телеги — и вон из города. Все до единого, до последней души. Там старик помирает, просится — дайте помереть дома, нет, на воз ложись, в поле помрешь, бог везде примет. Там баба кричит, рожает — и ее на подводу, быстрее родит, коли потрясется. Там парень раненый стонет — где ранен? с кем воевал? против наших? — нож ему в горло. Поп в церкви на молитву стал, городу пощады у господа просит — за руки того попа, за ноги, и тоже на воз. Кругом крики, плач, мольбы, только юродивый сидит возле церкви, хохочет — весело ему, вконец дурачок спятил от всеобщего сумасшествия. И его в шею, в шею, за город, чтобы не сгорел в обреченной Коложе. Коровы мычат, свиньи связанные верещат, куры, петухи ошалели, бабы мечутся за ними, вяжут, кидают на воз, псы взбесились, бросаются грызть коней, псов рубят пополам намертво. Дети плачут, девки воют, старухи голосят...

В аду тише, чем тогда в Коложе, в последний ее день на земле. Гул, горестный гул, десять тысяч народа сразу страдает. У самих страх на душе, жалко тех людей, и плетью их: шевелись, поторапливайся. У кого пять подвод — всё грузит, до последней онучки уложился. А у соседа один конь — выкрутись-ка, уложи на телегу все нажитое за свою жизнь и дедовскую: бадейки, одежду, кули, сундук, стол да лавки, мешки с крупами, свинью, кур, прялки, решето, косу и вилы, соху, борону, овчину, жбаны, сковороды — кто ж тебе их потом даст! А бедные, безлошадные, те и не собираются вовсе, сидят на земле перед домом, плачут: убейте нас лучше тут! Другой мужик от отчаяния топор в руки — и рубиться: нате, берите все. А его древком копья по лбу, чтобы упал, и ногами, ногами, сапогами в бока: собирайся, выводи семейство из города, ты князю Витовту нужен, не порубишь вас всех, заказано.

И вытекает из городских ворот поток несчастья, где все вопиют о страхе и бедствиях: люди, коровы, привязанные к возам, овцы и куры, немощные деды и малые дети. Бурлит этот поток человеческий, как река, по руслу меж конной стражи, выносится за версту от города на луг и поле. Молодых несколько парней кинулись в бега через поле — куда ты убежишь, голова глупая! Тут же их конные лучники и свалили, чтобы другим бежать расхотелось. А матери их и сестры убиваются, рвутся поцеловать своих родненьких в последний раз, а их плетью, плетью — в толпу, в табор...

К ночи вымели город, словно сусек, пусто на улицах, кладбищенская тишина. Табор коложский притих в кольце стражи, сбились люди семьями возле своих подвод, стра-

шатся, ждут необычной смерти; непонятно им, что далее последует. Пересидели ночь под возами, а пришло утро, их всех на дорогу, подводу за подводой, в поход, на новое местожительство... А по городу в полторы тысячи дворов расскакалась сотня факельщиков. В одни ворота влетели, в другие вылетели, поднялись в синее небо дымы. Все подожгли: хаты, овины, лавки, звонницу, рубленую коложскую церковь, стены, обложенные хворостом и снопами. Вспыхнули тысячи огней, взвились клубы черного дыма, осыпались сажей, провалилась маковка церкви — запылал огненным столбом древний псковский город. Кто-то, однако, оказался там — может, хитрец простодушный прятался в яме или дитя несмышленое сидело в подпечье,— теперь он возопил о спасении, крик провисел в воздухе недолгий миг и сгинул, и голос этот из огненного чрева прижег совесть.

«Неужто и я там был и вместе с другими все это зло делал?» — не верилось теперь Мишке. Но забытые те деньки вставали перед глазами в ясности всех лиц, живости голосов, в очевидности всех грехов и страданий... Тысячу верст дороги прошли, и через версту могилка с крестом осталась. Девочка зачахла и умерла, старики вымерли от тягот, дитя грудное в холодную ночь замерло навек на руках у молодухи, девку кто-то из стражи изнасиловал, она удавилась, бунт подавили... И дожди, грязь по колено, а по грязи бредут, держась за телегу, дети — от сожженной нами Коложи к разбитому немцами Гродно, где холмы над Неманом и где треть их помрет зимой от голода и морозов... «Грешен я, грешен,— шепчет Мишка.— Души губил! Чужие и невинные губил, а свою жалко, Кульчиха спасает...

Почему же мы такими зверьми бываем и не стыдимся? А про грехи и душу тогда только вспоминаем, когда собственная жизнь на волоске висит? Не стукнули б дидой в бок, никогда не припомнилась бы та Коложа. Там все казалось понятным и правильным. Великий князь приказал, значит, так и должно быть, он лучше знает, он перед богом ответчик. Да и как простой вояр может прекословить, если князья молчат, и священники молчат, словно не видят. Заговор какой-то между людьми на злые поступки. Может, и шевелится совесть, да никто не пускает ее в рост; наоборот, душит ее и черное дело старательно исполняет. Как собаки, думал Мишка, за мясную кость. Вычистили от людей Коложу, князь сказал: «Молодцы, хлопцы!», все сразу улыбками расцвели и готовы другой любой город огнем пройти. Еще и собачья надежда в душе: вдруг, если

крепко потрудишься бизуном, заметят и награду дадут — коня позволят взять себе из чужой стайни, или в десятники повысят, или из десятников в сотники, если сотника убьют. А другому достаточно и похвального взгляда. А третий на друзей равняется. А кто таким злодейством набыл чужое имущество, очень рад, что свой двор обогатит. В церкви на иконах Христос в одной рубахе нарисован, веревкой перепоясан, деревянный крестик на груди. А у нас золотые. А кто не имеет, тот мечтает о золотом, и мечом ради него рубит, над душой человеческой издевается, как безумец... И Мишка утешал себя: «Но не своей же волей стал я горлорез. Чужая воля на грехи движет. Хоть бы однажды на святое дело подвигла, чтобы зло добром уравнять!»

И с этой думой он дожидался своего выздоровления.

## БРЕСТСКИЙ ЗАМОК. СГОВОР

В полдень первого декабря великий князь Витовт на четвертой версте Люблинской дороги встречал короля Владислава Ягайлу. День выдался неудачный: небо, час назад еще ясное, вдруг обвалилось мокрым снегом; выведенные для ублажения королевской гордости знатные бояре и почетная хоругвь терялись за снежной завесой, словно их вовсе не было. Снегопад заслонял дорогу; текуны, говорившие о приближении королевского обоза, становились видимы лишь с двадцати шагов.

После долгого, нудного ожидания послышался наконец глухой шум, что-то затемнело за белой пестрядью, и тут же появились облепленные снегом всадники — Ягайла, подканцлер Миколай Тромба, первый ряд сопутствующих панов, а вся прочая свита, растянувшаяся на добрых две версты, еще должна была приблизиться. Витовт стряхнул с коня снежную опушку и поскакал навстречу Ягайле: «Рады видеть нашего брата, светлейшего короля!» Поздоровались, поцеловались, поругали непогоду и тронулись в Брест. Молчали — снег лепился в лицо. Через полчаса достигли слободы, а когда вошли в стены, на костельной звоннице и на всех городских церквах зазвонили колокола.

Выгнанный на улицы народ кланялся князю и королю, дивился огромному польскому поезду: шла в две сотни копий отборная королевская хоругвь, восьмерики лошадей тянули поставленные на полозья домины, обшитые сукном, украшенные золотыми гербами, с застекленными дверцами; опять шла хоругвь, уже поменьше числом, потом потянулись несчитанные подводы с добром и припасами, потом шла

еще сотня польской конницы, а следом — великокняжеская хоругвь. Все это множество людей, лошадеи, весь обоз двигались в замок, но было ясно, что в замке им не уместиться, и скоро уличные старшины стали разводить прибывших поляков на постой по лучшим дворам. Тут же понеслась молва, что король будет отдыхать в Бресте неделю, а затем выберется на зимние ловы в Беловежскую пущу.

Тихий, спокойный город превратился в охотничий табор. В замке и на рычночной площади с утра до темна жгли костры, жарили на вертелах воловьи окорока и баранов, не остывали котлы. Что ни день — шли под нож сотни овец и коров; из пущи везли на санях туши диков, лосей, зубров; непрерывно приходили в город сенные обозы; овес взлетел в цене, и княжья сотня зло порола перекупщиков; из замковых подвалов десятками выкатывались бочки с медом и пивом; на Мухавце били лед, поднимали соленья. В корчмы было не пробиться; пьяные валялись по улицам; откуда-то понабралось старцев; воры шмыгали в тесной толпе, их били тут же, на месте, несколько было спущено в Буг; стаи собак носились по городу, грызли кости. В костеле и церквах шли службы, ксендзы и попы молились во здравие князя Витовта и короля, хоры старательно пели. В замке каждый завтрак, обед, вечеря оборачивались пиром. Княжеские лесники нанимали людей для загонов; бондари выгодно сбывали бочки; каждый, кто мог, старался урвать себе на корысть от неожиданного праздника хоть что — мешок овса, охапку сена, свиную голову для холодца. Кто не мог что-либо урвать, старался ничего не утратить в той сумятице, смешении людей и языков, лихом веселье, которое внезапно обрушилось на Брест.

Помимо поляков стояли в городе полтысячи татар охраны хана Джелаледдина, тоже приглашенного великим князем на ловы. На всех пирах хан сидел с правой руки князя Витовта, а сам Витовт сидел рядом с королем. Уже было несколько кровавых стычек татар с польскими рыцарями, которые на пьяную душу выступали в защиту христианской веры и вспоминали татарам обиды за Легницу и гибель храброго воеводы Спытка. Княжеская стража, которой под страхом смерти было запрещено князем Витовтом не то что напиваться — пробовать вино, и днем и ночью скакала по улицам, сохраняя, насколько удавалось, покой и порядок.

Эти предловные пиры с песнями, суета, теснота, давка в городе длились неделю, и всю эту неделю Ягайла, Витовт и королевский подканцлер Миколай Тромба в глубокой тай-

не, прикрываясь шумливым гулянием панов и бояр, обсуждали план летней войны с орденом крестоносцев.

От завтрака до обеда и на целые вечера замыкались в дальнем покое княжеского дворца и часами простаивали над картой или сидели у камина, глядя в огонь, и обговаривали все необходимые действия, спорили, принимали решения. Иной раз подканцлера Тромбу не приглашали, сходились вдвоем и до глубокой ночи просиживали за шахматами, поочередно играя то за крыжацкую, то за свою стороны. Шахматы эти, подаренные Витовту князем Иваном Гольшанским, сами по себе располагали к игре со значением. Резанные из мореного дуба фигурки довольно точно представляли и крестоносцев, и поляков, и русь с литовцами. Король польской стороны и был король, а напротив стоял великий магистр Ульрик фон Юнгинген, ферзем крыжаков считался великий маршал Фридрих фон Валленрод, противный ферзь понимался как великий князь Витовт. Понимали, конечно, что занятие почти что детское, пустая потеха — здесь, на доске, снимать удачным ходом «великого маршала» или ставить мат деревянному Ульрику Юнгингену, но было и приятно, и каждый ход давал повод для серьезных размышлений по их делу, делу совместной войны с орденом. Двигая вперед «крыжацкую» пешку, осознавали, что невзрачная дубовая фигурка олицетворяет шесть — восемь рыцарских хоругвей — три-четыре тысячи одетых в латы, отлично вооруженных немцев, которых там, на поле битвы, летом, когда истечет в канун купальской ночи срок перемирия, придется остановить, сломать волю и посечь. Не то они нас посекут.

Гордые испытывали чувства: решились и делали вдвоем то, что отцам было не под силу, что Гедимин завещал, что несколько поколений четырех народов желали, о чем и старым и новым богам молились тысячи, десятки тысяч душ, когда гибли под крыжацкими мечами, горели в кострах. Святое делали дело, которого ждали десятки лет. Давно было пора, давно, но мешкали, боялись, и все помехи, помехи. То сами грызлись за власть, как псы в стае, то миролюбица Ядвига, думал Витовт, срывала, жалея христианскую кровь, то ты, брат, думал Ягайла, татар ходил воевать, загубил поколение, то малопольские паны большой войны не хотели, то сами не могли подружиться и заигрывали с орденом, терпели убытки и унижения, лишь бы друг другу досталось убытков и хлопот. Но вот теперь впрягались в одно дело, одну заботу брали на плечи.

Глядели один на одного — высокий, с удлиненным ли-

цом Ягайла, коренастый, широкоскулый Витовт; видели: постарели в заботах, волосы пошли сединой, морщинами лбы изрыло, зато ума прибавилось; любви нет, но есть уважение — самые крепкие оказались в отцовских выводках, выстояли, выжили в бурях. Возникали, правда, непрошено ненужные сейчас тени, вдруг мелькали в темном углу или в камине, в полыхающем пламени. Тогда думалось Витовту: вот за стеной, за крепостным валом, течет Буг, где с челна мать в воду столкнули, как ведьму или воровку. Не мешало это воспоминание серьезному разговору, ибо знал Витовт, что найдет в себе силу сдержаться. Одними мыслями — о сегодняшнем дне, о нуждах летнего похода — он был рядом с Ягайлой, а другие плыли сами по себе, как облака над землей, может, только слабая малоприметная тень их ложилась на ответственную беседу. Князь видел ночь, трех палачей, что вошли в комору, где держали его мать. Она поняла их цель, и поднялась, и, окруженная ими, пошла по двору. О чем думала мать на этом последнем своем пути по земле? Увидела звезды на небе? Или не было звезд? Такое выбрали время, чтобы была полная тьма, чтобы люди не приметили, не объявили потом об убийстве случайные какие-нибудь свидетели. Может, мать вспоминала свою жизнь. Она была уже в старых годах. Хоть и намного моложе отца, но пятьдесят годов могла насчитать. А ей жернова на шею надели... Летом выходит на берег с другими русалками... Сказать Ягайле — что же ты натворил, сволочье! — откажется, поклянется, что невиновен, те перестарались, своей волей нагрешили, а он на такое, чтобы родную тетку в реке утопить, никак и ни за что на свете. Вода осенняя холодная, жернова тяжелые, Буг глубокий... Боги, боги мои, с кем я сижу, с кем делю кров, хлеб, тепло в этом доме!..

А Ягайле вспоминались скорбные лица погибших братьев. Не дожили, думал он, Скиргайла и Виганд до этого желанного дня, и Коригайлу крыжаки убили. Братья должны были сидеть сейчас тут, Ольгердовичи. В Польше Ольгердович на троне, и тут на Литве тоже кто-то из Ольгердова колена. Было бы справедливо, и отцу виделось такое будущее в последний час жизни. Но всегда отыщется вор, завистник, злодей. Скиргайла, бедный, отравой поперхнулся. Может, и Коригайлу не крыжаки, а наемник подосланный застрелил. Все мы привыкли на крыжаков сваливать, отличная возможность свое зло прятать от пытливого ока. Тихим был в юношах гродненский князь Витовт, не проглядывали клыки. А трех Ольгердовичей съел,

сейчас четвертого — Швидригайлу — в Крево, в башенную темницу, запрятал. Тот, бедолага, там трясется от мрачных предчувствий — попался в волчью яму. Сам виноват. Но кто же его судьбу в руках держит — вот этот, который сам в кревском каменном подземелье должен был умереть. Батька его, Кейстут, старый черт, ладно испортил нам жизни, и Витовта надо сторожиться. А Витовт младшего Ольгердовича вынужден сторожить.

Бедная наша Литва. Всегда между собой тут бились, друг друга безжалостно убивали. Вот и Швидригайлу может убить князь Витовт. Все основания есть. Но, скорее, будет торговать его жизнью, иначе сразу бы снес голову. Бедные мы, литвины, мало среди нас с разумом в голове. Бешеных, упрямых хоть сетью таскай, а разумных по пальцам можно пересчитать. Разве что, единственный князь Ольгерд получил от бога державный разум. Да еще дед — Гедимин. Редкий литвин видит дальше своего носа. Может, князь Витовт и не из худших, да чужое колено. И обычная наша литвинская глупость — моего отца место племянник занял, а родные сыны по могилам да по мелким землям разбросаны. Давно бы немцев задавили, если бы Скиргайла или Виганд убийцам своим не дались. Такая у них судьба. А этому нарекла судьба княжить. Зачем же мы боремся, если судьбы наши предрешены. Грехами нагрузились. Состарились. Детей нет. До тридцати лет приятельствовали, с тридцати до шестидесяти враждовали то явно, то скрытно, а что ж потом станет, когда крыжаков победим? Может, одного из нас в битве убьют и разрешится, наконец, наша долгая и неразрешимая ссора?

Неприятные эти мысли вспыхивали и гасли, не оставляли следа, сами их и гасили. Мелким обидам, предубеждению, неприязни места сейчас не могло быть; надо все силы напрячь, все выложить, все отдать на войну, на победу, без утайки.

Однако Витовт все же повторил старое желание иметь под своим владением все Подолье — и ту его часть, что опекала польская корона.

— Вот уже десять лет,— жаловался Витовт,— я не знаю покоя с этими землями. Князь Болеслав упорно сеял смуту среди подольских бояр и панов, трижды поднимал людей против меня. И сейчас, когда уходил к крыжакам, но по божьей милости был остановлен, опять списывался с подолянами. Хотя ты, король Владислав, и писал, что я могу поступить со Швидригайлой, как требует право, за лучшее считаю применить право к тем подолянам, от кого каждый

день могу получить отраву в кубке или нож в спину. Но земли этих людей не в моей власти...

— Согласен с тобой,— ответил Ягайла, поняв цену за жизнь Швидригайлы. Дорого просил стрыечный брат.— Но передать Подолье Великому княжеству до войны невозможно. Ты, князь Александр, и сам понимаешь почему. Потеряна Добжинская земля, шляхта возбуждена, негодует на позорное перемирие; если сейчас отпадет от нас к Литве и подольская часть, то коронные паны просто взбунтуются. Без их бунта полно забот. А после войны, брат Витовт, когда всем запомнятся заслуги твоих хоругвей, никто не осмелится возразить...

— Значит, после войны? — утвердительно спросил Витовт, понимая все недосказанное королем. Бунт панов угрожал Ягайле потерей короны. Как радные паны призвали его на королевство, так могли и снять. На убедительном основании — не выполняется Кревская уния, Литва не присоединена, и к тому же отнимает назад плодородные подольские земли. От Швидригайлы радным панам пользы никакой, живой он или мертвый — им все одно, а на подольских землях многие богатые гнезда свили, за них кому хочешь глаз выклюют.

— Не раньше,— ответил Ягайла.

Однако за такую уступку, рассчитывал Ягайла, князь Витовт обязан заплатить.

— Мы не сможем обойтись без наемников,— начал торг Ягайла.— Если не наймем мы, наймет орден. Лучше нанять и не вести в битву, чем увидеть их в орденских гуфах. Но в коронном скарбе — хоть шаром покати...

— Тысяч двадцать гривен я наскребу,— согласился Витовт.

Но что значили эти двадцать тысяч, если один наемный рыцарь требовал за месяц службы самое малое двенадцать гривен, а приглашать следовало хотя бы месяца на два. Три большие хоругви. Ульрик фон Юнгинген мог нанять в пять крат больше. Подсчитывали, сколько хоругвей выставят крестоносцы. Каждое комтурство по хоругви — рагнетское, клайпедское, острудское, гданьское, бранденбургское, бальгское, мальборкское, радзинское, торуньское, кенигсбергское... Пальцев не хватало, двадцать семь. Будут еще хоругви великого магистра, хоругвь Казимира Щетинского, хоругвь казначея, и епископы снарядят по хоругви; конечно же, косяками придут на выручку крыжакам и вестфальские, швейцарские, английские, лотаринг-

ские, австрийские, французские, сакские рыцари, а сколько их соберется, угадать было нельзя.

Знали, что давно кружат по королевским и княжеским дворам посланцы великого магистра, вручают письма с жалобами на Польшу и Литву, с просьбами о защите. Лживые были письма, но кого это занимало, кто мог не верить? Тысячи наемников получили рыцарский пояс в ордене, ходили в крестовые походы на Жмудь и Русь, жили с его милости, получали от него дорогие подарки, годы проводили в орденских замках, посылали сюда сыновей, доставали здесь славу, имения, богатства. Кто усомнится, слыша молву, что язычники, схизматики и сарацины жаждут разорить древний оплот святой веры, что опасность угрожает не только ордену, но и всему христианскому миру, что король сарацинов Витовт стремится расширить сарацинское царство и на месте храмов господних возжечь костры, что польский король Ягайла крестился притворно, ради короны и скипетра, и отравляет ядом язычества некогда христианскую, а сейчас грешную перед Иисусом Христом Польшу?

Тем более, что все это не совсем пустая выдумка. Действительно, Ягайла принял католичество ради королевской короны. Правда и то, что Витовт содержит десять тысяч татарской конницы. Чистая правда и то, что Ягайла и Витовт давно мечтали обессилить Орден. Нет лжи и в заявлениях об язычестве Жмуди, которая не желает оставлять старую дедовскую веру, забыть всех прежних своих богов и молиться одному. Да разве одна Жмудь? И в Деволтве, и в Нальшанах, и по всей Литве не привитa еще вера в Иисуса Христа. Так, стоят костелы и церковки, заходят в них люди, но назвать их верующими христианами может только слепой или великий князь, чтобы избежать крестового похода на свои земли. Ведь приведение силой к кресту считается достойной рыцарской заслугой. Только бог знает, сколько воинственных простаков откликнется на призывы великого магистра, сколько хоругвей составит из них великий маршал. Пять? Шесть? Девять? А главный обман Ордена таится в том, что пожертвуют эти простаки своими жизнями ради славы господней, а воспользуются результатами жертвенности исключительно крестоносцы. И поэтому необходимо каким-то влиятельным действием уменьшить рыцарское рвение. Может быть, через римского папу.

Подсчитывали число хоругвей, которые выставит Корона, когда король объявит посполитое решение. Выходило — бо-

лее двадцати тысяч шляхты, а при каждом шляхтиче самое малое один лучник и хлоп в обозе. Это при бедном, а богатый, конечно, приведет с собой полное копье и несколько слуг. А еще, подсказал пан подканцлер Тромба, стоит призвать для этой войны польских рыцарей, отошедших на службу и Вацлаву чешскому и к венграм на двор Сигизмунда. Помимо польских земель выставят хоругви и русины — Львовская земля одну хоругвь, Галицкая земля тоже одну, а также Холмская, Перемышльская, и несколько дадут подольские земли. И мазовецкие князья выставят людей.

Считали хоругви Великого княжества. Тут Ягайла знал возможности не хуже Витовта, сам сумел бы обозначить число копий в каждой поветовой хоругви. Крепкая у тебя память на чужое войско, думал Витовт, посмотрим, сколько ты своих приведешь. Если я всех выставлю, а их посекут в битве, ты же меня потом голыми руками возьмешь. А всех не выставлять — войны не выиграть. Вот задача! Если все, что есть, выставить в поле, можно, конечно, крыжаков сломать, а затем хорошей хоругви не соберем, чтобы Смоленск оборонить от московского захвата. Или Подолье поляки не возвратят, потому что обессиленный победитель — самая желанная жертва для разбойника: он и свое, и добытое неспособен защитить. Это извечный закон, так хитрый волк поступает, если видит бой двух лосей или кабанов. Ждет себе под кустом, пока один одного убьют или насмерть поранят. На самом ни царапины, а все ему... Однако придется рисковать, думал Витовт, и подсчитывал вместе с Ягайлой полки. Виленские земли дадут три хоругви, трокские — две, с Литвы — новогрудская, волковыская, лидская, слонимская хоругви, с Белой Руси — полоцкая, витебская, смоленская, могилевская, мстиславская, Подлясье выставит брестскую, пинскую, дрогичинскую, мельницкую, Гродно даст полную хоругвь, Жмудь, хоть и крепко там выбито народу, даст несколько тысяч воинов, Иван Жедевич приведет подольские хоругви, Киев, Стародуб, Новгород-Северский отрядят полки, Ковно выставит хоругвь, Слуцкое княжество, Ошмяны, Менск выправят хоругви, а всего за двадцать тысяч конных, а еще княжеская и боярская челядь, обозники, которых тоже можно пустить в дело при сильной нужде. Сюда причислялась и хоругвь новгородцев, которую в октябрьскую встречу с Витовтом обещал привести князь Семен, а еще хоругвь надо было вытребовать у молдавского господаря, зависимого от княжества и Короны в силу турецкой угрозы.

Прибавлялись и пять тысяч татар, которых мог повести

на битву хан Джелаледдин, принятый в княжестве и ожидавший от Витовта помощи в борьбе за ордынский престол. Но Ягайла сомневался: достойно ли ему, христианскому королю, быть в союзе с магометанами; к тому же такой союз может поднять против них не только всех немцев, а и всю христианскую Европу. Витовт улыбался и говорил: «Никто и знать не будет!» Что, есть нужда кричать о татарах на весь белый свет или просить позволения у римского папы? Кто разберется, сколько было этих татар: может, тысячи, может, сотня.

Смешило же Витовта охватившее Ягайлу раздумье: по-христиански ли идти с татарами на крыжаков или господь обидится на такое решение? Ну и благочестье, усмехался Витовт, прямо святой. Небось, когда списывался с Мамаем, когда привел полки под самое Куликово поле, тогда не думал: грешно или честно? И стал бы рядом с Мамаем, только сами полки возроптали. Испугался, что озлятся, перейдут к Дмитрию — и конец власти. А сейчас бояться нечего. Сейчас не мы к татарам, они к нам примыкают. И отказаться от пяти тысяч всадников — вот такого безумства и впрямь бог не простит. Зачем же их кормили, поили, приняли, срубили им хаты? Чтобы пользой эти расходы обернулись. Вся Европа поднимется! Если по сегодняшний день не поднялась, то и дальше стерпит, как десять лет терпела. Надо победить, и молчать будет вся Европа, словно воды в рот набравши. Да и что это такое — вся Европа? Это кто — Вацлав чешский? Так он сам чуть дышит. Кто еще — Сигизмунд венгерский? Этот, правда, начнет кричать. Но какой страх с его крика. Если и найдет сторонников, то исключительно для устных протестов или негодующих писем. Войну не начнут, а все прочее не имеет значения.

Как-то утром поехали на прогулку и за слободой наткнулись на татарский отряд младшего хана Багардина. Но сначала увидали не татар, увидали густую толпу рыцарей и крестьян-загонщиков. Подскакали, народ раздался в стороны, и открылось утоптанное поле. По двум дальним концам его стояли шеренгами конные татары, а посередине поля кругами и восьмерками носился в галоп татарин, водя в коротком поводе вторую лошадь, к седлу которой был привязан набитый соломой болван с глухим немецким шлемом. За этим странным развлечением наблюдали Багардин и несколько сотников.

Кто-то из сотников, верно, сказал хану, что позади стоят Витовт и король. Багардин повернул коня, смуглое красивое

лицо его осветилось веселой улыбкой, он с достоинством поклонился. Князь и король кивнули. Тут из шеренги вылетел татарин и, истошно завыв, помчал наперерез болвану. Взвился и развернулся в воздухе аркан. Кольцо удавки упало на шлем и захлестнулось на горле. В татарских рядах раздались крики одобрения. Игра продолжалась.

Крикнул сотник, и на поле выехал молодой воин. Держа наготове аркан, он сорвал коня в галоп. Взмах умелой руки был неприметен, и черная петля падала, казалось, точно на блестящий кованый шлем. Но упала на конский круп. Крики порицания и насмешки обрушились на неудачника. Понурив голову, татарин поехал в ряд.

Багардин махнул рукой и что-то негромко сказал. К виновному поскакал сотник и стал стегать его нагайкой по спине под смех товарищей и хохот толпы. Татарин снес побои, словно не чувствовал.

— Что сказал хан? — спросил Витовт толмача.

— Он сказал: «Ты — мертвый воин».

Опять понесся по кругу поводчик. Виновный вылетел навстречу, мелькнул черный шнур — и болван, захлестнутый удавкой, завалился на круп.

— Теперь — хорошо! — сказал Багардин.— Теперь ты живой воин.

Того же дня после обеда пригласили Джелаледдина и договорились с ним так: Джелаледдин выводит против крыжаков своих воинов, а после битвы Витовт силою Великого княжества поможет хану победить соперника, и в дальнейшем Орда и Великое княжество воевать не будут.

Вот и все силы. На помощь московского князя Василия после недавних войн рассчитывать не приходилось. Выставлять полки в помощь Витовту московский князь, если бы и хотел, не мог и по другой причине — над самим висела опасность татарского наезда. Хорошо уже то, что Василий Дмитриевич, как обещал, не воспользуется войной Великого княжества с крыжаками и не ударит в спину, чтобы завоевать Смоленск и Северские земли: хоть с одной стороны есть обеспеченные миром границы. А на всех прочих жди гостей: с юга могут налететь татары, с севера — союзные ордену ливонские меченосцы; неизвестно, как поведет себя чешский король Вацлав. Если Ульрик фон Юнгинген не поскупится дать флоринов, а тут не тот случай, чтобы скупиться, да и казна орденская позволяет, то король Венгрии Сигизмунд легко может ударить на польские границы. Подканцлер Миколай Тромба, правда, считает, что король Сигизмунд не решится на открытую войну и вторжение:

стоит ему повести войска на поляков, как его грозные соседи — турки попытаются отхватить кусок Венгерского королевства; кроме того, не истек срок мирного с ним договора, еще три года ему действовать. Но что договор, кинул в огонь — и нет. Мог и нарушить, войти в союз с орденом, чтобы исполнить то, что они надумали еще в 1392 году: объединиться, разбить войска Польского королевства и Великого княжества Литовского, а все земли разделить между собой. Могли об этом вспомнить, другого случая не представится.

Но если выделить на венгерскую, ливонскую, татарскую границы какое-то число хоругвей, то с чем идти против ордена? Уж сам-то Ульрик двинется всей силой, только небольшую защиту оставит в замках. Думали, примеривали, решили не распыляться — ото всех сразу отбиться нельзя. Если не удастся поразить немцев, то и защищенные окраины ни к чему, не спасут.

Стоя над картой, подолгу рассуждали, как лучше ударить: совместно со стороны Польши или врозь — Ягайла с польской границы, Витовт с литовской. От раздельного похода отказались: опасно, несомненная выгода для ордена. Немцы могут небольшими силами задержать великого князя, выиграть хотя бы день и в этот день главным войском разбить королевские хоругви, тогда и Витовту не спастись. Или, наоборот, нападая из замков, могут остановить Ягайлу, размести литовские и русские хоругви, а затем перекинуть все силы против поляков. И конец обоим. Сочли за лучшее свести войска и держаться вместе, тем более что такой ход мог быть для крыжаков неожиданным — осенью Ягайла бился отдельно, брал Быдгощ, Витовт отдельно ходил под Кенигсберг, и Ульрик должен готовиться к двум ударам, держать на жмудской границе большие или малые силы. Пусть держит, вот туда и надо выправить несколько хоругвей для обмана, заблуждения, отвлекающей суеты. И еще несколькими ударить на Дрезденко, и послать отряд на Члухов. Пусть гадают, где будет главный удар. А главными силами идти в глубину Пруссов, и уж там навязать или принять большое сражение, где сойдутся все войска обеих сторон. Только большая битва могла принести победу, это было ясно; только полный разгром крыжаков вел к цели войны! Витовту — Жмудь, Ягайле — Добжинскую землю.

Еще Ягайле мечталось выполнить свои обещания, данные в Крево, когда вступал на польский престол и получал руку Ядвиги. Четверть века пролетело с того дня, как легли на пергамин брачные условия, а ничего не возвращено, на-

оборот, утеряно, а брался, о чем записали в Кревском договоре, отнять у ордена Хелминскую и Михаловскую земли, Поморье. Да и не то мучило, что чернила выцветали, а дело не делалось. Как воздух, требовалось Поморье: торговля страдала, живые деньги уходили из рук, отнято было море. По доброй воле не отдадут, надо бить, и бить крепко, чтобы не завтра поднялись, чтобы не стало кому хвататься за меч. Татары так поступают, напомнил Ягайла: бьют всех начисто, пока-то новые подрастут. И когда Малопольшу прошли огнем, в первую очередь уничтожали рыцарство. И на Ворскле, не удержался король уязвить Витовта, татары не просто побили литвинов — уничтожили войско. Витовт нашелся что ответить королю: мол, московский князь тоже не утешился победой на Куликовом поле, его воины сорок верст до Красивой Мечи сидели на татарских спинах, едва ли тысяча ушла от погони. Хорошо, что хоругви Ягайлы опоздали тогда к этой сече.

Но что толку было колоть друг друга прошлым! Понятное дело, что лучше бить сильно, уничтожить войско, высекать беглецов, да как это осуществить. Было бы просто, давно бы деды и отцы исполнили. Ко всему прочему еще удача нужна. Поле битвы не шахматная доска, там десятки тысяч рыцарей соберутся, наперед их действия и настроение никто не определит. Сейчас хоть то хорошо, что решили действовать купно. Если силу хоругвей поддержит своей милостью бог, то, верно, победим тевтонцев.

Стали смотреть по карте, где лучше собрать войска. Выбрали за сборное место Червинск на Висле и туда к двадцатому дню июня решили привести хоругви, чтобы к заходу солнца в канун святого Яна, когда потечет время войны, все были вместе и готовы рушиться в поход. На прусских землях дать бой, не на своих, не на польских. Свои надо оберечь. Хватит, что Добжинскую землю крыжаки в августе разорили: как ураган прошел, ни одной крепости не осталось, вытоптаны поля, сожжены веси, народ потерпел, выбит. Нельзя ждать крыжаков к себе, лучше — к ним; привыкли в походах на Жмудь и Литву жечь и рушить — пусть отвыкают; не видели большого войска на своих землях — пусть увидят, пусть испытают, побегут по лесам, ужаснутся на ночные пожары, когда пылают в ночной тьме, обагряя звездное небо, местечки, дворы и замки. Мы терпели, пусть они потерпят урон, усомнятся — так ли крепки, как мнилось, стоило ли нахальничать на чужих землях — резать и насиловать, грабить и жечь, хватать чужой кусок и кричать «наше»!

От Червинска два дневных перехода до орденских земель. Шестьдесят тысяч рыцарей ступит на эти земли, в Мальборке услышится топот, земля застонет, пусть дрогнут сердцем — в великой битве будет легче их бить! И урон, урон! Припасы крыжацкие пойдут войску: зерно, мясо, сено, трава. В каждой крепости накоплено впрок жито, ячмень, овес, мясо — все пригодится, а прочая всячина — это уж лупы шляхте и боярам за труд.

Возносились в мечтах и со смехом мечтания такие обрывали: шестьдесят тысяч людей и шестьдесят тысяч коней крыжацким добром не прокормишь. Могло его вовсе не быть, могли сами сжечь, лишь бы не досталось врагу, как покойный Скиргайла в свое время пожег все окрестности Вильно — ни стожка, ни овечки; немцы пришли, постояли под стенами — есть нечего, голод — и убрались. Так что следовало к лету приготовить большие запасы, накопить на складах в Плоцке и Червинске необходимое — мясо, муку, овес, сено. И решили — каждый, выправляясь на войну, возьмет с собой корма на пять недель. Больше война не продлится, а продлится — тогда Корона будет кормить и крыжацкое пойдет в ход. Войсковые же склады в Плоцке надо готовить сейчас, пока тихо, пока нет горячих забот, пока действует перемирие и еще не объявил свое решение посредник — чешский король. Потому что объявит он свой приговор в пользу ордена, в чем ни подканцлер Тромба, ни Ягайла, ни Витовт не сомневались. Неприемлемо рассудит, нельзя будет согласиться, и тогда с десятого дня февраля можно ждать крыжаков на Литве. С Польшей у ордена перемирие, с Витовтом — война. Ждать нужно, говорил Тромба, на рейзы отважатся, но начинать зимой серьезную войну, высылать большие силы Ульрик фон Юнгинген не рискнет — невыгодно, тевтоны не готовы, выгоднее поберечь хоругви для летней войны, когда прибавятся наемники и придет на подмогу западное рыцарство. Тем более следовало использовать передышку — и для начала использовать эти зимние ловы. Битого зверя солить и в бочках санным путем везти в Червинск и Плоцк.

Опять раскладывали карту или сидели за шахматами и, двигая фигуры, размышляли: хорошо, Червинск на Висле — место удобное, но нет моста, не вплавь же переправляться, держась за хвост. А телеги, тысяч шестнадцать телег? На плотах не перевозишь. Рубить мост — тут же станет известно в Мальборке, рушится весь замысел неожиданного появления на прусских землях. Князь Витовт предложил срубить наплавной мост, на челнах, навроде того,

который стоит у него в Троках между замком и берегом. Мост можно собрать где-либо, хоть и далеко от Червинска, а в нужный день сплавить по Висле, собрать и провести сперва хоругви, следом обоз. Дело необычное, никто прежде не применял, крыжакам в голову не придет предусмотреть. Будет для них, как чудо. Всех удивит, потому что ни один человек, даже те, кто этот мост срубит, не должны знать, где их творение соединит берега Вислы. Так и решили.

За Червинском была еще одна водная преграда — Дрвенца. Но летом она мелела, были броды, и хорошие, особенно близ Кужентника. Тут уж никаких хлопот — только ноги замочишь. А после Дрвенцы старая прямая дорога вела в Пруссы, к твердыне, к оплоту ордена, к трем его красным каменным замкам, прикрытым каменной трехсаженной высоты стеной. Там гнездились белые плащи, там рядили, как измолоть Польшу и Великое княжество, оттуда выправлялись они на Жмудь и Литву, и пока они там, говорил Ягайла, покоя и мира нам не будет. «Верно, брат Витовт, ведь ты знаешь их лучше моего?» «Оба знаем неплохо»,— отвечал князь. «Ну, ты там жил, а я не был. Вдруг придется осаживать, возьмем ли замок?» «Если бог даст, побьет чумой! — говорил князь.— Иначе нет». Все это были шутки, про осаду и думать не приходилось, осады Мальборка великий магистр допустить не мог. Зачем? Чтобы Ягайла и Витовт разорили, пожгли все городки, смели все мелкие замки, оставили пустыню, посреди которой будет стоять осажденная столица, куда из бомбард и самострелов полетят дохлятина, мешки с дерьмом для истребления рыцарства не мечом, а заразой? Нет, нельзя Ульрику фон Юнгингену уклоняться от битвы. Выведет свои хоругви, встретит — и жестокая грянет битва, сто тысяч мечей засверкают, застучат, попьют крови.

На том и окончили тайный свой съезд. Обо всем не рассудишь. Дай теперь бог дожить до лета, исполнить то, что наметили: рыцарей нанять, свои полки приготовить, герольдов с подарками разослать по разным королевским дворам, оружие наковать, избежать войны на границах, назапасить еды и кормов. А уж как в поле биться — дело божье.

И утомленные, довольные собой, король и великий князь восьмого дня декабря покинули Брест, направились в Каменец, в Беловежу — охотиться.

Великий магистр сидел перед камином, уставясь в огонь, пожиравший березовые плахи. Иногда Юнгинген шевелил дрова кочергой — взрывалось пламя, взлетали искры, волной жара ударяло в лицо, и утренний сумрак на мгновения разбегался по углам и под своды, откуда вновь оползал по стенам, когда пламя темнело. Редко Юнгинген подбрасывал в костер новое полено и завороженно следил, как облизывают его языки огня, скручивается и ярко сгорает береста, легко дымит влага и высушенное, белое, словно раскаленное, дерево вдруг вспыхивает, обугливается, превращаясь в золу и пепел — в ничто.

Мысли же Юнгингена относились к неотложности разговора со свеценским комтуром Генрихом фон Плауэном, специально вызванным в Мариенбург, но прибывшим, как назло, накануне праздника. Какое-то глубокое сомнение мешало Юнгингену начать этот разговор. Сомнение возникло у магистра на заутрене в часовне, когда он, поднимаясь с колен после молитвы, увидал возле себя фон Плауэна и поразился твердости его взгляда. Ульрик фон Юнгинген мучился вопросом: не следует ли отнести неприятную беседу на будний день, а сегодня, в день праздника пресвятой девы Марии, заступницы и охранительницы Тевтонского ордена, не лучше ли держать в замках Мариенбурга ясную тишину умиления?

Но обмануть себя не удавалось, и великий магистр в ожесточении подумал, что не тот угоден богу, кто простаивает перед иконами с восхода до заката, первым бежит в церковь, последним покидает ее, постится, крестится, шепчет господу о своей любви. Нет, не он праведник. Ибо что господу от веры, озабоченной лишь собственным спасением? Только тот угоден господу, кто действует ради его славы, старается и о сохранении других душ. Жизнь Иисуса Христа сама являет пример постоянных трудов. Он не знал дней праздности в проповеди своего слова.

Да, можно было бы закрыть глаза на ночные бдения фон Плауэна, будь ясна и понятна мера исходящей от них беды. Но если человек покушается получить сатанинское знание, золотые россыпи и бессмертие, то налицо не простой грех, доступный искуплению, как грех блудодействия. Это — ересь. А среди братьев ордена не должно быть еретиков. Когда во всех странах Европы искателей философского камня, дерзающих уподобиться господу и превращать воду в вино, свинец в золото, свою старую плоть в молодую,

непреложно и безотлагательно передают палачу, орден не может терпеть подобное зло у себя. Не вправе. Малый грех обязательно приводит к большому. Ну зачем фон Плауэну философский камень, дающий вечную жизнь, если сам Христос принял смертную муку на кресте, утвердив обязательность смерти? О ненасытное честолюбие! Долг великого магистра — удержать брата, заскользившего в бездну ереси.

Но и вся бессмысленность разговора с комтуром виделась Юнгингену наперед. Плауэн назовет доносы слуг клеветой, тревогу великого магистра — напрасной, заботу — излишней, и что с ним делать? А вернувшись в Свеце, комтур накажет слуг, заменит ненадежных, и вновь в подвалах замка по ночам будет гореть печь, булькать в горшках и колбах зелье, и брат Генрих будет возноситься в пустых мечтах над братьями, орденом, церковью к пределам вымышленного могущества и славы. Несчастье глупости, подумал магистр. Что-то в фон Плауэне раздражало его с такою силой, что он не мог думать о нем здраво и снисходительно. Добиться правды было нельзя и не нужно, но хотелось осадить Плауэна, поглядеть, как, давя самолюбие, он будет изворачиваться и лгать. Отметая сомнения, Ульрик фон Юнгинген велел позвать комтура к себе.

Скоро дверь отворилась, и рослый рыцарь, одетый в белый орденский плащ, пружинистой походкой вошел в зал.

— Ты хотел видеть меня, брат Ульрик?

— Да, брат Генрих. Садись.

Великий магистр пошевелил кочергой поленья и сказал:

— Люди поддаются соблазнам любых желаний — одни по врожденной порочности, другие по слабости. Но рыцыри ордена всегда преданы долгу. Долг исполнения божьих заветов — наше вечное и самое сильное желание...

Плауэн согласно кивнул, пытливо вглядываясь в лицо магистра.

Этот проницательный взгляд холодных голубых глаз показался фон Юнгингену дерзким. Он сказал:

— Во Франции занятие алхимией запрещено под страхом смертной казни уже тридцать лет. Всякого, кто нарушает этот запрет, вздергивают на виселице, покрытой позолотой. Недавно такой же закон объявил король английский. Орден окружен врагами, множество недоброжелателей всегда готовы порочить нас в глазах христианского мира. И нам невыгодно, если станут говорить, что мы благосклонны к людям, отвергающим запреты церкви...

— Разве мы благосклонны? — спросил Плауэн.— У нас

в Пруссии мне не известен хотя бы один адепт алхимии.

— А мне, брат Генрих, известен,— возразил великий магистр.— У тебя в замке, в бывшей пивнице, по ночам пылает в печи огонь, а в шкафах стоит все то же самое, что отнимают у тех, кто стремится превратить в золото свинец. И в этом подвале, брат Генрих, ты проводишь ночи...

Плауэн слушал магистра с чувством презрения. «Если ордену суждено когда-либо погибнуть,— думал он,— то погибнет он по вине слабодушия великих магистров. Ульрик фон Юнгинген сменил Конрада фон Юнгингена. Мелкие властолюбцы, убогие фарисеи! Власть при робости духа всегда приводила к беде. В тяжкие дни ордена подсматривать в замочную скважину! Для таких ли забот братья избрали тебя великим магистром? Или, брат Ульрик, ты стал считать себя, подобно папе римскому, наместником бога на наших землях, единственным хранителем истины и ответчиком перед девой Марией? Какая рьяная забота о чистоте веры! Уж, верно, ты свои ночи храпишь в постели...»

— Какие-то загнанные в колбу красные и зеленые драконы,— говорил магистр.— Пожирающие драконов львы. Души планет. Ртуть и сера. Сера! — повторил он многозначительно и воскликнул: — Зачем?! Ради золота? Зачем золото братьям ордена, давшим обет нищеты? Бессмертие? Им наградит господь в день страшного суда...

«Невежда! — думал фон Плауэн.— Слышал звон. Читал древние рецепты, да не проник в тайнопись. Как еще удержался промолчать о невинных младенцах, не поплакать над бедными малютками? А сколько младенцев рыцари и кнехты сожгли вместе с хатами, порубили мечами — это не грех? Фарисеи! Бедность, судный день... Свою зависть именем девы небесной прикрываешь. Не вечная жизнь и золото, а страсть счастья,— вот что влечет к ретортам, тайна огня, возвращающего королевский венец низкому металлу. Пусти тебя в подвал — ничего не увидишь, а что увидишь — не поймешь. Избранные люди отдавали свои ночи алхимии. Альберт Великий, Роджер Бэкон, сам Фома Аквинский, говорят, любил глядеть, как совершается в колбе чудо аурифакции. Но знание, данное избранным, не дается людям тьмы. Как язычнику непонятно слово Христа, так невежде невнятен язык высшего искусства. Бог сам избирает души для открытия себя во всех экзистенциях...»

— Ты молчишь, брат Генрих,— настойчиво сказал великий магистр.— Как понять твое молчание?

— Да,— кивнул Плауэн,— молчу. Мне скорбно. Мне скорбно, что мы не душим клеветников. Иначе нас когда-

нибудь уничтожат, как во Франции уничтожили тамплиеров. А что взяли предлогом? Обвинение в черной магии и колдовстве. При желании можно послать на костер любого аптекаря или ювелира — у них тоже есть печи, ступы, тигли...

— Но ты, брат Генрих, не ювелир,— возразил Юнтинген.

— К счастью, нет. Я — рыцарь и брат ордена. И думаю, лучше нам не слушать людей, склонных разрушать единство...

— Неважно, что думают о нас люди,— прервал его Юнгинген.— Важно, что думает, видя наши дела, господь.

— Согласен,— кивнул комтур.— Но именно смелых дел он давно не видит. Мы стали чрез меру мирные. Мы хотим взять хитростью там, где можно взять только силой.

— Взять силой! — воскликнул Юнгинген в раздражении.— А где взять эти силы? Каждый занят мелкими делами...

Отворилась дверь, и вошел паж.

— Что? — недовольно спросил великий магистр.

— Гонец.

— Впусти,— сказал Юнгинген.

Измученный бессонницей гонец поспешно приблизился и подал магистру письмо. Юнгинген сорвал печать и развернул примятый свиток.

— Иди! — махнул он рыцарю.

Плауэн с любопытством следил, как мрачнеет лицо магистра.

— Ягайла и Витовт съехались на охоту в Брест,— зло процедил Юнгинген.— Волки сбиваются в стаю!

«Да, они сбиваются в стаю,— подумал Плауэн,— а мы грыземся. Вот главное различие. Пока великий магистр фарисействует, они трудятся. Ах, страхи: драконы, сера, львы! Вон где сейчас истинные драконы — в Брестской крепости. А мы у огня пятки греем. Бедный орден!»

— Брат Генрих,— сказал магистр,— я тебя не задерживаю.

Оставшись один, Юнгинген стал вышагивать вдоль окон. Досада забирала его. «Охота,— думал он,— собрались на охоту, откармливают татар. Проклятый Плауэн прав: мы размякли и разжалобились. Надо было осенью пройти мечом всю Польшу. А мы пугаем, но не бьем. Ну что ж, будет вам охота — навсегда разохотитесь...» Неожиданно для себя он заметил, что рассвело, за окнами было ясное утро. Магистр остановился, ему открылся вид города —

красные стены Верхнего замка, башни Мостовых ворот, мост через Ногату, по которому тянулся в крепость какой-то обоз. На доступных его взгляду улочках стояло густое движение рыцарей: отряд братьев, накрытых белыми плащами, двигался к воротам; по стенам ходила замковая стража.

Господь помог возвести эту твердыню, равной которой нет во всей Европе, думал Ульрик фон Юнгинген. Что здесь было, пока орден не принес сюда свет истинной веры? Глухие леса, убогие избы поляков и собачьи конуры пруссов, молившихся на каждый куст. Не счесть жертв, которые понес орден, озаряя светом Христова учения упрямые души. Но скота легче обучить почитанию святого креста, чем упрямого язычника. Полтора века трудились братья, и то не все плевелы преданы очистительному огню. Что ж говорить о Литве, принявшей крест на нашей памяти! И кто крестил? Кто кропил святой водой? Где брали эту воду? Один язычник брызгает на другого водой, которую подают русалки, и надевает крест. Скоморошество, надругательство над муками Иисуса. И смеют замахиваться на Орден рыцарей черного креста девы Марии, на орден, который бился за гроб господень в святой земле.

Неблагодарные свиньи! Разве забыл Ягайла, кто помог ему вернуть великокняжеский престол, когда старый пес Кейстут изгнал его в Витебск? Кости бы его давно растащили волки, если бы Орден по вечной своей милости не оказал помощь, если бы не стали возле него хоругви великого Конрада Валленрода и войско ливонского магистра Вильгельма Фримерсгеймского. А Витовт? Кто приютил его, когда он бегал, как бездомная собака, и вот здесь, у стен орденской столицы, выл, выпрашивая кусок хлеба и кров? Разве не проявил Орден величайшей щедрости, когда послал ему братьев и рыцарей брать Смоленск? Разве не прощал подлые измены, убийства братьев, разорение замков и крепостей? Как может жить существо, которое в насмешку над спасителем трижды меняло веру, принимая крест то здесь, в ордене, то от русских недоверков, то в Вавеле от полоумных польских ксендзов?

И теперь, когда гнусный язычник брызгает ядом на пергамин, что «он вступит со жмудинами в Пруссию и огнем и мечом погонит немцев к морю, чтобы потопить их всех в соленой, глубокой воде», то разве не ясно желание господа раздавить взбесившуюся змею? Разве могут быть угодны небу сонмы татар, осаженные в Гродно, в Лиде, в Троках, под Слонимом, вблизи святых орденских земель? Разве не

раздражает чувства слуг спасителя тлетворное дыхание язычников, их чавканье, когда они жрут конину, сосут кобыльи сосцы? Был ли пример в истории, чтобы христианский князь населял свои земли нечистью, кормил ее, поил, терпел богомерзкое горготанье? Не было и не может быть! Только язычник способен сносить столько тварей, не знающих спасительного знака креста. А язычника умиротворяет одно средство — меч!

Но чем разнится от него Ягайла? Узором короны, которой жадные поляки прикрыли бесовские рога, чтобы умножить свои земли. С кем поведешься — от того наберешься. Теперь и полякам отшибло память, забыли свои же клятвы, обещания, честные слова. Но разве не их король Казимир заключил с великим магистром Людольфом Калишский мир, по которому все Поморье, как этого хотел бог, отошло к Ордену? Или уже ни о чем не напоминают полякам могилы, в которых тлеют кости их предков с тех дней, когда Орден сровнял с землей Гнездно, Серадзь, Бреславль? Так напомним, нам нетрудно. Разве смели они задумываться о войне, когда Орденом правил великий Винрих де Книпроде, никогда не мешкавший обнажить меч? Нет, мир вреден для славян. Покойный брат Конрад, пусть спокойно спит праведным сном, совершил непростительные ошибки. Можно ли было проявлять столь ангельское терпение, какое проявил он, спокойно наблюдая растущую наглость врагов Ордена? Сколько великодушных уступок сделал Орден, надеясь делом добра смирить буйный нрав поляков! Разве Орден не возвратил им за бесценок Добжинскую землю? Все тщетно. Как ненасытный зверюга, захватив палец, жаждет откусить руку, так и они, получив Добжин, намерились проглотить Поморье.

А после того надсмеянья над верой, которое богохульственно было названо крещением Литвы, разве не литвины с поляками стали визжать под стук своих бубнов, что Тевтонскому ордену уже нет дела на этих землях, что Орден должен выселиться в Дикое поле, нести крест татарам, как прежде нес пруссам?

О тупоголовое язычество! По их мысли, достаточно размазать по лбу каплю грязи, упавшей с гнилого кропила, чтобы отмыть вековые грехи дружбы с лешими и водяными, поклонения кострам, дым от которых выедал светлые очи спасителя и его апостолов. Века грешили — века и очищаться, молясь на крест, который держит Орден. Сама мысль избавиться от соседства с богоугодным орденом есть страшное кощунство. Известно, от кого отбивается

христианин, сотворяя крест, и понятно, кому крест ненавистен. И услышится ли господу молитва, которую полуверок Ягайла пробормочет на языке схизматиков, потому что ни одному христианскому языку не обучен? Как лопотал по-литвински, когда садился на польский трон, так и по сей день лопочет, запомнив, может быть, только польские названия каши, мяса, пирогов, чтобы без промедлений на перевод набивать ненасытную утробу. А что доброго он мог впитать с молоком своей матушки-недоверки, тверской княгини? А что тем более впитал Витовт, когда припадал к груди язычницы Бируты, единственно умевшей кидать поленья в костер, у которого грелся их лохматый Знич?

Многие десятилетия, нет, века, века терпел Орден чудовищные обиды, воистину с ангельской кротостью подставлял левую щеку, когда его с размаху били по правой, хотя сразу, как только император Людовик Баварский, исполняя божье повеление, подарил ордену Литву и Русь, мог сжечь все змеиные гнезда. Радовались бы и целовали ноги братьям Ордена, что им дозволено жить в орденских пределах! Разве не их любимый Миндовг своей королевской властью подарил ордену Жмудь, а потом и все свое королевство? Любому суду — небесному и земному — может предъявить Орден эти дарственные грамоты, и любой суд скажет: да, Литва, Жмудь, Русь, Подлясье уже полтора века законные земли Ордена, его полная собственность. Так сколько же можно противиться божественному предопределению! Да, прав колдун Плауэн: будь у этих чудовищ силы, они и с нами сделали бы то, что сделал презренный Филипп с орденом тамплиеров, снискавших славу в грознейших битвах за гроб господень в святой земле!

Но Тевтонский орден будет стоять века, до последнего часа жизни всего сущего на земле, до второго пришествия, до судного дня, и братья его первыми вступят в рай. Бог среди всех народов счел лучшими немцев, распалял себя думами великий магистр. Именно немцы отмечены яркими знаками его расположения, им поручено нести свет христианской веры! Разве не германцы разрушили языческий Рим? Разве не они, погубив языческих богов, создали «Священную Римскую империю немецкой нации»? Разве не они, жертвуя кровь и жизни, двигались на восток, обращая в цветущие поля лесные дебри, где, подобно медведям, сидели под корягами ободриты и лютичи? По господней воле чешский престол перешел к династии Люксембургов, немцы вдохнули жизнь в города Силезии; благодаря немцам расцвел Краков, вся Малопольша преобразилась, когда в

селах и городках зазвучала деловая речь немецкого колониста; узнали божью благодать Ливония и эсты, все морское побережье украсилось городами, которые воздвиг неутомимый немецкий дух. Сотни тысяч покоренных язычников позабыли свои противные богу языки, усвоив тот, на котором говорит с орденом пречистая дева Мария.

А теперь, огорчался Юнгинген, мы дали окрепнуть врагам и вынуждены терпеть их дерзкое буйство. Император Карл IV сам водил рыцарей в крестовые походы против Литвы, его щедрость и подвиги увековечены постройкой Кенигсберга. Но его дети оказались не такими: чешский король Вацлав слабодушен, как мальчик, а венгерский король Сигизмунд по жадности переплюнет всех ростовщиков. Это позорит немецкую кровь!

Вспомнив о Вацлаве, великий магистр велел пригласить к себе казначея.

— Брат Томаш,— спросил он, когда казначей уселся напротив него в кресло у камина,— высланы ли деньги в Прагу?

— Разве король Вацлав их заслужил? — удивился Мерхейм.— Я не знал.

— Таким, как Вацлав, надо платить наперед.

— Никому нельзя платить наперед,— улыбнулся казначей.— Людям свойственна неблагодарность. Вацлав хочет угодить всем. Его слова непредсказуемы.

— Предсказуемы, если обласкаем. Вацлав — посредник в нашем споре с Ягайлой и Витовтом. Необходимо, чтобы он объявил решение в нашу пользу.

— Он и без денег объявит. Ему хочется вернуть имперский трон.

— Мало ли что кому хочется,— засмеялся магистр.— Нашему милому фон Плауэну хочется получить философский камень и пережить всех братьев на тысячу лет. Смешно думать, что господь это разрешит. Зачем немцам император Вацлав? — пожал плечами магистр.— Даже ничтожные чехи при нем подняли хвост. Кто простит ему нелепый Кутногорский эдикт, по которому немцы изгнаны из университета и им приходится покидать Прагу? Не думает же Вацлав, что в германских княжествах это считают заслугой? Но нельзя оставлять Вацлава без внимания. Не поласкаем мы — поласкают другие.

— Разумеется, он может сказать и за Ягайлу,— согласился Мерхейм.— С дурака станется. Тем более что Ягайла когда-то вытащил его из тюрьмы.

— Поостережемся. Надо связать ему руки. Тысяч сто флоринов с него хватит?

— Сто тысяч! — вскричал Мерхейм.

— Ну, а сколько? — усмехнулся Юнгинген.— Две?

— Ну, двадцать,— сказал казначей.— И то с лихвой. Разве нам некуда девать деньги?

— Полно, брат Томаш. Бедные подарки вызывают вражду. А нам нужна признательность. Верное решение Вацлава даст Ордену поддержку папы, а согласие папы позволит призвать для помощи рыцарей со всей Европы.

— Папа не объявит крестовый поход,— возразил Мерхейм.

— Но и не возразит против войны. Этого достаточно.

— Немецкие рыцари придут и без одобрения папы. Франция и Англия воюют, им самим нужны наемники.

— Всем нужны наемники,— перебил магистр,— но придут они к тому, кто лучше платит и за кого церковь.

— Хорошо,— сдался Мерхейм,— сорок тысяч.

— Семьдесят,— сказал великий магистр.

— Мы мечем бисер перед свиньей,— упирался Мерхейм.— Шестьдесят, и ни одним золотым больше.

— Кого отправить с деньгами, брат Томаш? — спросил магистр.— Может быть, Теттингена?

— Я сам отвезу этот рождественский подарок,— решил Мерхейм.— Завтра и выеду.

Оставшись один, великий магистр вернулся к камину. Огонь угасал, следовало подкинуть полено, но магистру не хотелось шевелиться. Он глядел на уголья, уже подернутые сизым пеплом. Он глядел на них завороженно: они темнели, их покидала жизнь, они остывали. После беседы с Мерхеймом великому магистру стало тоскливо: решение принято, дело сделается, это темное дело останется тайным, оно может принести пользу, но не принесет радости. Он грустно думал: нет ничего на свете, что не покрылось бы со временем пеленой забвения. Какой мощи люди создавали орденское братство в пустыне, когда рыцарские колонны шли на Иерусалим! Какая высокая цель освящала их души — освободить гроб Господень! Их кони ступали по песку, жаркому, как кострище, их доспехи раскаляло солнце, а наконечники копий были так горячи, что кровь сарацинов запекалась на них в черную корку. Белый плащ на тех рыцарях соответствовал чистоте их сердец, а черный крест на плащах означал мужественное терпение невзгод и согласие на смерть в любую минуту во имя Христа. Но гроб Господень остался у сарацинов, и рыцарские могилы

занесены песком, забыты их палестинские молитвы и песни, отвергнуты благородные обеты их вождей, а в нынешнее время короли готовы на любой грех за туго набитый кошель, не стыдясь уравняться в бесчестье с наемным лжесвидетелем или убийцей. Те давние полки крестоносцев сошли в песок палестинской пустыни, происками завистников подорвана слава лучших рыцарских орденов; может быть, и Немецкому ордену предстоит изведать скорбь своей старости. Но пока мы живы, думал магистр, мы должны исполнять завет первых братьев Ордена, которые услышали благословляющий призыв девы Марии. Каждый, кто выступает против нас, выступает против нее, а это такой грех, который лишает права на христианское милосердие. Ягайла и Витовт желают того, что люди желать не должны: они нацелились лишить смысла труды Ордена за сто пятьдесят лет. Поэтому Вацлав — этот никчемный сын своего прославленного отца, императора Карла,— получит деньги, а Витовта и Ягайлу неминуемо отыщут позор и смерть. Очень жаль, думал магистр, что нельзя миновать крови.

## ДВОР РОСЬ. КОЛЯДЫ

Стали браться, трещать за стенами колядные морозы, волки стали выть по ночам, а Мишка лежал пластом и лежал. «Погоди,— говорила Кульчиха,— зато сразу пойдешь». И вправду, однажды проснувшись, Мишка почувствовал, что лавка стала сама по себе, он — сам по себе и может встать. Он сел, переждал кружение и побрел к дверям. Выглянул — пылали, слепили белым светом сугробы, спал в горностаевых шубах лес и от порога, от глухой, чащобной избы, уходила стежка, звала, манила в позабытую веселую, живую жизнь.

— Вот, боярин, и здоров! — сказала шептунья.— Скоро расстанемся. Теперь ты уважь мою просьбу. Как помру, ты меня похорони, где всех хоронят, и в церкви свечку поставь.

— Да я хоть десять поставлю,— возразил Мишка,— только живи. Ты с чего, Кульчиха, вздумала помирать?

— Все помирают!

— Ну, то да! А ты живи. Мне тут хорошо было. Загрущу без тебя.

— Так обещай! — настаивала шептунья.

— Я добра не забываю, исполню, как хочешь. Вот тебе крест!

Но еще неделю, до коляд, прожил Мишка с Кульчихой,

только в самый праздник отпустила его домой. Утром прибыл отец, поклонился шептунье и подал завернутые в холстину сорок гривен, которые старуха тотчас, непонятно зачем, ссыпала в пустой горшок. Мишка надел тулуп, оглядел черную избу, где воскрес, потом подошел к Кульчихе, чмокнул в лоб: «Ну, старая, навек твой должник». Уваженная шептунья хихикнула и сказала: «Уговор-то помни, боярин!»

А под вечер того же дня нежданно-негаданно приехал в Рось Андрей Ильинич, когда уже зерном посыпáли и накрывали льняной отбеленной скатертью стол, свечи праздничные зажигали, клали по углам сено. Андрей и Мишка еще не натешились первой радостью встречи, как на покутье запарила в горшке кутья и развеселившийся боярин Иван, сам отыскав на небе первую звезду, которая в час его рождения светила, кликнул садиться. Андрея старик и Мишка усадили между собой, а напротив, когда пришли домашние и дворня, оказались Мишкины сестры. «Вот, дочери мои, Елена и Софья!» — гордо назвал старый боярин. Для Андрея Еленка, как только приметил ее немощь, осталась далекой и чужой. А глянул на младшую — сразу стала понятна отцовская гордость: словно ангел небесный присел к столу среди бородатых мужиков и полных баб украсить собой праздник. Боярин Иван пробормотал молитву, и пошла из рук в руки полная чара. Отпробовали кутью, вновь выпили и приступили к печеным и вареным рыбам. Скоро позабылось, ради кого трапезничают, и все внимание свелось на Ильинича.

— Как там князь Витовт? Как Ягайла-король? — спрашивал старый Росевич.

Андрей рассказал про ловы в Беловежской пуще, добавил:

— Жив, здоров король Ягайла — зубра убил, молится подолгу.

— Ну и верно,— похвалил старик,— есть что замаливать. А пойдем ли летом на крыжаков?

— Как бог есть, пойдем! — отвечал Андрей, поглядывая на Софью.

— Что, отец, может, и ты хочешь на битву? — улыбался Мишка.

— А что я, безрукий? — сверкнул глазом старик.— Ты не смотри, что крив. Не за девками бегать. Одним оком еще лучше, чем двумя, вижу. В седле хоть мечом, хоть копьем любого свалю. Кликнут Погоню — мы вмиг на коня. Правда, Гнатка? — Он весело подмигнул молча сидевшему земянину.

Седой Гнатка, здоровенный и молчаливый, как медведь, с готовностью согласился:

— Правда, мы вмиг.

Поев, высыпали на двор глядеть звезды, которыми было сплошь засеяно небо. Стояли, крестились на знамения добра, любовались сиянием небесной скарбницы. Прекрасны были в рождественскую ночь божьи чертоги, ярко светился Возок, в котором сын божий проезжал сейчас над землей, подглядывая, достаточно ли чтит его христианский народ. Сверкала над Возком голубая, самая крупная звезда — серебряный небесный гвоздь, каким прикован был к небу на веки вечные и виделся пятном мрака кровожадный смок. Наглядевшись на далекую, холодную красоту, Андрей стал подсматривать, как Софья счастливо улыбалась мерцавшим в вышине созвездиям. Вдруг девушка чуть повернулась к нему, и боярин встретил быстрый, полный любопытства взгляд — сердце сладостно укололось об острую, подсунутую чертом колючку.

Соглашаясь со старым Росевичем, читавшим по звездам, чего и сколько уродится будущим летом, Андрей теперь не спускал с девушки глаз, но она позабыла о нем, пялилась на небо, словно ждала второго пришествия.

— Ну, намерзлись — погреемся,— сказал старик и зашагал к избе, но сам же первым остановился, услыхав конский галоп, громко разносившийся в тишине морозной ночи. Скоро всадник прискакал под ограду и застучал в ворота.

— Кто стучит? — крикнул Гнатка.

— Я, Юшко! — ответили из-за ворот.— Верещаки наш двор осадили, хотят Миколу убить. Боярин помощи просит!

— Миколу! — зло вскричал старый Росевич.— Яська, меч! Эй, кто стоит — все за мной!

Спокойный двор мигом пришел в движение. Конюхи выводили из стайни лошадей, тащили седла. Боярин Иван опоясывался мечом. Ильинич тоже побежал в избу за мечом и надел под кожух кольчугу.

Жена старика Марфа, размахивая руками, грозно, но тщетно выкрикивала мужу:

— Куда, старый дурень, летишь? Вон, только одного от Кульчихи привезли. Мало тебе Волка. Сам смерти ищешь, так людей пожалей!

— Прочь, баба! — кричал старик.— В дом, к девкам! Чтобы тихо, пока не побил.

Через пять минут ворота распахнулись; Росевич, Гнатка, Андрей впереди, вооруженная топорами и сулицами че-

лядь за ними вырвались со двора. По дороге Ильиничу объяснили, что Миколка Верещака — крестник Росевича, а берут его в осаду старшие братья — Егор и Пётра, люди вовсе не плохие, даже хорошие, но не способные долго жить без какого-нибудь опасного буйства. А вот почему осаживают родного брата, почему в колядную ночь, когда надо сидеть в избе и мед пить, ни Гнатка, ни боярин Иван не догадывались. Но уж коли выпили, а не иначе что выпили, то способны натворить непоправимых бед.

Через полчаса прискакали к Миколкиному двору. Тут шла настоящая осада — паробки старших братьев бревном разбивали ворота; во дворе заходились от бешеного лая псы. Несколько всадников, выставив копья, заградили собой дорогу. Последовал вопрос:

— Кто скачет?

— Я скачу! — крикнул старый боярин.— Росевич! Что тут у вас за война?

— Мы с тобой не воюем,— ответил тот же голос.— Возвращайтесь.

— Ты что, Пётра, спятил? — зло сказал старик, подъезжая вплотную к копьям.— Что ломитесь к брату, словно тати?

— Что ломимся? А вот крестник твой в латинскую веру идет!

Боярин Иван, раздумчиво помолчав, крикнул:

— Отступите от ворот, сам спрошу!

— Спроси! — ответил Петра.

Старик и Гнатка проехали к воротам.

— Микола! — позвал старик.

Из-за ограды звонко отозвался молодой голос.

— Ты что, веру сменил?

— Женюсь на Видимунтовой дочке! — объяснил Микола.

— А бога не боишься?

— Пусть бог судит, не братья.

Росевич и Гнатка отошли от ворот в растерянности. Люди братьев опять взялись за бревно. Старик уставился на Андрея с немым вопросом: что делать?

— Убьют — князь Витовт головы срубит,— сказал Ильинич.— Он не стерпит.

Боярин Йван подумал и крикнул братьям:

— Эй, Егор, Пётра! Буду Миколу защищать! Гнатка, стань у ворот!

Богатырь и половина челяди шагом тронулись вперед.

— Ты что, боярин Иван, с нами биться хочешь? — грызливо спросил Егор Верещака.

— Не послушаетесь — буду!

Биться с Росевичем братьям было не с руки: тут же в спину ударил бы Микола со своими паробками. Братья выругались и призвали своих на коней.

— Микола! — закричал Егор.— Сегодня спасся, завтра помрешь! Молись немецкому богу!

— Хорошо, Егор,— отозвался младший брат,— помолюсь!

Осада развернула коней и ускакала в темень недалекого леса. Над частоколом высунулся по пояс, видимо стал на седло, широкоплечий молодец и, сняв шлем, поклонился:

— Спасибо, боярин Иван!

— Шел бы к черту! — выкрикнул старый боярин.— Знать тебя не хочу!

На том поездка и завершилась, помчали домой. Была глубокая ночь, но спать никто не спешил, обсуждали войну между Верещаками.

Мать говорила:

— Известные пустодомки! Как понапьются, одно в голове — биться. Брата родного готовы зарубить. Как хороший родится человек, так быстро со света сходит, а этих волков никакая холера не берет. Ну скажите, все люди в хатах сидят, только этих волочуг черти гонят кровь проливать в святой праздник.

Старик велел принести крепкого меда, сели к столу, однако Еленку и Софью, к сильному сожалению Андрея, отец к беседе не допустил: «Идите, не девичье дело полуночничать!» Мишка стал допытывать подробности похода.

— Ну, а если бы Егор и Пётра не ушли — побил бы?

— А ты что думал! — хорохорился старик.— Но будь я на их месте, ни за что бы не ушел. Лег бы там, но остался.

— Ну и зачем? — рассудительно сказал Гнатка.

— А просто так. Чтобы сердце не пекло. Да и правы. Каково отцу на том свете? Ты у меня гляди,— старик свирепо засверлил Мишку оком,— не учуди. Сразу убью. Никакая Кульчиха не поднимет. Пополам развалю.

— Наплевали бы Егор и Пётра на Миколкину веру,— сказал Мишка.— Видимунт за Данутой Ключи отдает, лучшие в повете земли. Вот им и завидно. А что вера, чем он виноват? Так объявлено: кто на бабе-латинянке женится — давай в латинство. Забычишься — кнутом спину пропашут. Мало ль такого? Раньше так не было, из-за веры не сердились.

— Много ты знаешь, как было! — дернулся боярин Иван.— По-разному было. Всем доставалось — и нашим, и

тем. Вон Ольгерд четырнадцать монахов латинских повесил, что пришли в Вильно немецкую веру внушать. Гроздью висели на дубе в черных своих рясах, как шишки на ели. И за грецкую веру казнил. В Свято-Троицкой церкви святые Антоний, Иван и Евстафий лежат. Кто их на дуб вздернул?

— Ну, то своих,— ответил Мишка.— В латинской вере и не было никого. Сами Ольгердовичи в греческую веру крестились, даже Витовт в церкви крест принимал, даже Ягайла в нашу веру крестился. А уж как ушел к полякам — вспять пошло.

— Наша вера древняя, нас бог защитит, если,— старый боярин подозрительно вгляделся в сына,— сами не побежите, как Миколка Верещака за клок земли. Ягайла! А кто такой Ягайла? Князь Витовт есть!

— Но и князь вроде бы в один день с Ягайлой от православной веры отрекся,— осторожно напомнил Андрей.

— Князь знает, что делает! — заявил старик.— Вы погодите, вот побьем крыжаков, он все изменит. Дайте срок, он виленскую ту грамоту в огне сожжет. Мало осталось ждать.

— А что за грамота? — удивился Мишка.

— Ха, главное тебе не известно, а берешься судить! — воскликнул старик.— По которой католикам — ласки, православным — слезки. Это когда Ягайла литву крестил, написали. Вы не знаете, а я своими глазами — оба были целы — видел. Вот и Гнатка подтвердит, рядом стояли. (Гнатка по-медвежьи кивнул.) Посгоняли виленскую литву, толпами поставили — мужиков отдельно, баб отдельно. Попы польские речной водой из Вилии: кроп! кроп! На толпу крестом поведут — готовы, христиане,— и всей толпе одно имя: Ян, Петр, Стась. И каждому по белой рубахе. Были ловкачи — тремя рубахами обзавелись, трижды в день крестились. И боярам литовским вольности: вотчины в полное владение, даже баба может наследовать или вдовой жить; никаких повинностей, только Погоня да на православных бабах нельзя жениться. Нашим — шиш в нос, мы — схизматики, чумные, наравне стали с татарами...

— Но кто с этим согласился? — выспрашивал Мишка.

— Свои, свои князья согласились и одобрили,— с горечью отвечал старый боярин.— Князь киевский Владимир, князь новгород-северский Дмитрий, Константин Скиргайла. Все в Вильно были, попрание родной веры благословили, заручили своими печатями, слова против не выронил никто. Изменники! — горячился старик.—

Только и думают усидеть на больших уделах. Разве это князья? Подгузье!

Наговорившись, решили ложиться. Гнатка Ильиничу и себе набросал на полу ворох тулупов. Задули свечу. Но не спалось. Зевали, вздыхали, думали — успокоятся ли старшие Верещаки или пожгут младшего, пока с Данутой не обвенчан. Потом старик завспоминал победную битву с князем Дмитрием Корибутом возле Лиды и ночную осаду Новогрудского замка, когда лезли на стены, рубились в темноте и он сам из рук князя Дмитрия выбил меч. Потом стал рассказывать, как Скиргайла в Киеве ополоумел: надумал в Рим ехать, креститься в римскую веру, греческая, мол, неправильная, а монахи киевские рассердились, и митрополитский наместник Фома ему отравы подсыпал в кубок. Князь Витовт того монаха велел сыскать и, когда сыскали, зарядил им бомбарду и выстрелил в Днепр. Злой молве, будто Витовт сам Фому и уговорил извести Скиргайлу, а потом следы заметал, верить не надо: клевета; кто так говорит, тому сразу надо кулаком в нос, чтобы не грязнил великого князя. Под конец старик стал скорбеть, что православным церквам деревни не приписывают, иной поп хуже оборвыша, смотреть на него стыдно, а латинским — прямо-таки насильно дают. Но дайте срок, скоро, скоро все переменится...

Под тихие речи удрученного старика Андрей и уснул. Разбудил его Мишка — тряс за плечо, приговаривал: «Разоспался, уже полдень, вставай, в церковь поедем». Наскоро поели и выбрались тремя санями: Мишка с Андреем, родители с Софьей, а на задних — Гнатка и Еленка. Андрей, лишь вышли на волковыскую дорогу, встал в полный рост: нашла вдруг озорная лихость, удальство и хотелось оглядываться на Софью, видеть, как светятся под собольей шапкой синие большие глаза. Кружил пугой, свистел, тройка мчалась по белым снегам, воронье, озлобленно каркая, срывалось с дороги, колокольчики раззвонились. «Эх, догоняй!» — кричал Софьиной тройке. Боярин Иван взволновался быстрой ездой, сам хотел гнать, да, увидав мольбу в глазах дочери, поручил лейцы ей.

Ильинич глянул через плечо: Софья стоит, щеки румяные, хохочет, думает обогнать. Чуть придержал коней, чтобы приблизилась, и уж так, перекрикиваясь, перемигиваясь, переглядываясь через конские гривы, домчались до Волковыска.

Ворота в город были распахнуты; над хатами столбились дымы; народ толокся по улицам; на рынке полно стояло

саней: со всех сторон съехались люди и шли помолиться — православные в свою Пречистенскую церковь на замчище, католики в свой Миколаевский костел у замкового холма.

И Росевичи, поручив паробку глядеть сани, побрели по крутой наскольженной дороге на замковый двор. Большой город Волковыск, а церковь одна. Своим сходить на молитву в будний день — вроде и не тесно, но как большой праздник, как соберутся все люди повета с женами и домочадцами — давка, плечом пробивайся к святым образам. Гнатка поднял Еленку и пошел впереди, как тараса. Чувствуя медвежью поступь, никто и не ругался, только пыхтели зло вслед. Вбились в церковь, а там народ впритирку стоит, плинфа в стене лежит свободнее. Надышали — пар, туман, свечи гаснут. Андрея к Софье придавили сзади будто валуном. Рука не шевелилась крест сотворить. Да оно и лучше, что не крестился, ложный бы вышел крест: так прижали, что ферязь не упасла — чувствовал Софьино тело, словно в сорочке пришел; забылся, зачем в церковь ходят, аж дух заняло от грешных мыслей. «Ну и моление»,— думал. Седой батюшка нараспев читал по-старинному святые слова. Вникать бы, проясниться душой, но слова, как по ветру, проносились мимо ушей, а до иконы взгляд не доходил, задерживался на русых завитках, выбившихся из-под собольей шапки. Так более получаса простояли, пока Мишке дурно не сделалось от духоты. Тогда Гнатка, глядя поверх голов, разгребая народ рукой (второй Еленку держал), вывел их на двор. У Андрея ноги дрожали, словно с волотом поборолся...

Стали выбираться с замчища, и у самых ворот встретились им два рослых, крепких, свирепого вида боярина (Мишка успел шепнуть: «Гляди, Верещаки. Тот — Егор, тот — Пётра»). Братья шли важно, с ленцой, придерживали руками мечи в дорогих ножнах.

— С праздником, боярин Иван! — поклонились старому Росевичу.— Здорово, Мишка!

— Здорово, здорово! — ответили Росевичи.— Как спалось?

— Сладко бы спалось,— сказал Пётра,— если бы ты в полуночь не прилетел.

— Эх, Верещаки,— вздохнул старый Росевич,— головы свои вы не бережете.

— А что ж ты, боярин Иван, не познакомишь? — без обиды на старика спросил вдруг Егор, с любопытством посматривая на Ильинича.— Все ж мы какие-никакие соседи. Не в зятья ли твои метит?

Старика вопрос удивил, но, не желая, верно, объясняться с Верещаками, он сказал неопределенно:

— Может, и в зятья...— и добавил: — Хоругви великого князя сотник Ильинич.

Софью же, заметил Андрей, этим разговором они словно в вишневый сироп окунули. Но чувствовал, что и у самого щеки горят.

— Не ты ли тот самый боярин, что Швидригайлу пленил? — спросил Егор.

— Я,— не без гордости ответил Ильинич.— Вот с Мишкой и брали.

— Ну и чего ради старались?

Все Росевичи и Андрей остолбенели. Если бы спрашивал злобно, то ясно было бы, как отвечать, а то спрашивал так простодушно, по-свойски, что с кулаками на него не полезешь.

— Надо было! — отрезал Андрей.— А что?

— Единственный все же из князей за наших был. Обидно!

Андрея покривило.

— «За наших»! Скажи-ка ему, Мишка, кто Швидригайле «наши»! — И, не дожидаясь Мишкиных речей, выпалил в лицо Верещаке: — Не пленили бы, он уже, может, всех вас тут посек крыжацкими мечами.

Егор собрался возразить, но Пётра потянул брата за рукав, перебил:

— Пойдем, брат, помолимся, а то не успеем! — И старому Росевичу на расставание: — Завидный у тебя, боярин Иван, зять. Будет свадьба, нас с Егоркой позови.

— Позову,— ответил старик,— если до того часа голов не лишитесь.

— Не лишимся! — заверили братья.

— Ну, дай вам бог!

Верещаки потянулись в церковь, Росевичи — к саням, и старый боярин, прискальзывая на дороге, пыхтел в лад каким-то своим думам: «Разбойники!» или «Ишь, сороки!». О братьях больше не вспомнили, словно не встречали их и не слышали. «А что, может, судьбу накаркали? — весело думал Андрей, косясь на пунцовую Софью.— Почему не жениться? Девка — красавица. Прямо ангел. Вон как рдеет. И род достойный. И приданого не пожалеют».

Волнующие эти мысли оборвал дружественный удар в плечо и обвал радостных криков:

— Андрей, Мишка, здорово! Что, ослепли? Семку не узнаете?

Глянули — Семка Суботка, вместе в августе под Кенигсберг ходили.

— Ну, как? Что? Где? — сыпал вопросами сильно хмельной Семка.— Пошли к нам, отпразднуем встречу. Вон мой двор, сто шагов!

— В другой раз,— отказался Мишка.— Помяли меня в церкви, едва дышу.

— Ну, так завтра, послезавтра? А то обижусь!

Меж тем боярин Иван с женой, Софья, Гнатка и Еленка дошли до своих саней. Старик глядел на младшую дочь, глядел и, развеселясь, бухнул:

— Что горишь? Замуж захотелось, а?

— Ах, тата, всегда вы! — растерялась девушка.

— Что тата? Что тата — слепой? — улыбался старик.— Слепому видно. Ну, Гнатка, скажи.

Богатырь пробурчал невразумительно и засмеялся.

— Ах, тата! — обиженно сказала Софья.— Выдумаете — стыд слушать.

— Ты у меня гляди! — погрозил дочке старик.— Быстро запру в камору.

По дороге в Рось Андрей как бы из пустого любопытства спросил приятеля:

— Мишка, а что вы Софью замуж не отдаете? Или не женихается никто?

— Женихами хоть пруд пруди,— ухватывая Андреев интерес, ответил Мишка.— Только куда ж ей замуж на пятнадцатом году? Молода!

— Что ж ей, до тридцати с вами сидеть? — усмехнулся Андрей.

— Пусть сидит. Что ей, плохо? Отец на икону меньше молится! — И спросил: — А что, у тебя жених на примете есть?

— Да нет,— смутился Андрей.— Похож я разве на свата?

По приезде, когда все легли отдыхать, Мишка передал отцу свой разговор с Ильиничем.

— Ей-богу, быть свадьбе,— сказал старик.— На нашей прямо шкура горит. Готова хоть завтра. Уж я эти взгляды-перегляды хорошо понимаю.

— А что дадим за Софкой, если посватается? — осторожно узнал Мишка.

— Залужки дадим! — решил боярин Иван.

Мишка ахнул:

— А мне что?

— Не скупись! — шикнул на него отец.— Выслужишь.

Сам к Витовту поеду, большее получишь по старой дружбе и памяти.

И установилось в Роси необычное настроение. Ничего вроде не произошло, ничего толком не было спрошено и не было сказано, а охватил всех зуд ожидания, внимательны все стали к словам, особого значения исполнились речи. Хоть и понимали, что серьезное дело вот так, с одного приезда, не делается, что Ильинич Софьину руку не сам попросит, а должен прислать почетных сватов, и неизвестно, попросит ли еще,— так было все зыбко, неясно, нетвердо,— все равно и старики, и Мишка, и Гнатка, и больше других Софья уверялись, что Ильинич не случайный заезжий гость, а что приехал он на смотрины. Одна Еленка мучительно тосковала и, отговариваясь усталостью, ложилась лежать и беззвучно плакала о своей ненужности никому. Мать да Мишка, жалея бедную, старались ее обласкать и развлечь. Но их жалость лишь усиливала печаль Еленки. «Никому не дорога,— думала она в печальном мучении.— Хоть бы Юрий приехал поговорить. Обещал молиться за меня, а сам и не кажется».

— Мамочка! — отчаянно зашептала она матери.— Вы свезите меня в церковь, только не в нашу, а к иконе чудотворной. Я хочу поцеловать и помолиться.

— Свозим, деточка! — шепотом отвечала мать.

После вечери, на которой Софья сидела не поднимая глаз, старый боярин глянул строго на дочь — и как выдуло ее из покоя. Вместо прелестной Софьи сел к столу старец с лирой, тянул древние песни, потом хором горланили до глубокой ночи, но Андрей удовольствия от пения не испытал. Спал плохо, снилось такое непотребное, что утром, открыв глаза, подивился, как жив, как господь стерпел эти сны. После завтрака поехали кататься, опять на трех санях. Кружили по дорогам, будили звоном троек лес и словно случайно оказались в Залужках. Тут были две большие деревни, дворов по десять. И опять же, словно по случаю, Мишка обронил, что Залужки эти — Софьины.

К обеду появились в Роси гости: прикатил из Волковыска Мишкин крестный, боярин Волкович, и при нем все семейство — три сына, две дочки и толстая боярыня. Девки были остроносые, неровня Софье и Еленке, и старый Росевич, втайне гордясь и радуясь, посадил дочерей меж них. Запалили лучины, принесли пиво, потекла беседа. Волкович был волковыским возным, ведал все тяжбы и сейчас рассказывал, что Микола Верещака нажаловался на братьев тиуну. Стали гадать: будет не будет резня?

Мишка лежал в постели, подзуживал волковичских девок: «Олька, спой раненому песню на ушко» или «Настя, у тебя рука легкая, погои мою рану». Толстая боярыня, притулившись к печке, дремала, попыхивала уголком рта на смех девкам. А трое братьев, расстегнув кафтаны для похвальбы узорчатыми рубахами, пялились на Еленку и Софью. Двое младших важничали тихо, против них Андрей ничего не имел, а вот старший был и красив, и глядел на Софью влюбленно, и оказался смел — пересел вроде бы к сестрам, потом сестер раздвинул — мол, загадки буду загадывать, вам лучше услышится, коли я не сбоку, а в середине буду сидеть,— и уже он обок Софьи, притирается, развлекает. Прислушивался. «Маленькое, кругленькое, до неба добросишь?» Девки недоумевали. «Глаз! — смеялся парень.— Без дорожек и без ножек, а бежит, как только может?» «Знаем! — весело закричали девки.— Эхо!» «Летит конь заморский, ржет по-унгорски, кто его убьет, свою кровь прольет?» Девки переглядывались, думали, терли лбы. «Нет, Василек, не знаем!» Парень торжествовал: «Эх, вы, яснее ж ясного — комар!»

«Сам ты комар! — со злостью думал Андрей.— Прилетел к девкам! Жужжишь! Загадать бы тебе кулаком: «Красная, а не малина, течет, а не водица?» Но до таких мер, понимал, никак не могло дойти. Хотелось к девкам, потеснить Василька, сесть возле Софьи и рассказывать что-нибудь, чтоб заслушалась. Да хоть про Мальборк — как там крыжаки пируют, или как в Троках немец играет на клавикордах великой княгине, или как татары женятся. Скамья кололась, прижигала сидеть со стариками, уныло болтать, и не мог уйти, потому что возный и боярин Иван не отпускали; заведя речь о войне, не иссякали догадками; чем больше говорили, тем живей становились, будто зависело от их споров самое важное дело будущего похода; скоро совсем позабыли, что есть в покое живые люди, которым не до войны. «Придет война — повоюем,— думал Ильинич,— а что проку языком-то молоть. Потолковать бы дали хоть чуток с Софьей». Не дали. Победили всех врагов, отсидели до крайней зевоты, пока боярыня не проснулась и не сказала: «Ну, пора и ложиться». Ушла вместе с девками в другой покой.

Стали стелиться и мужчины. Принесли солому, шкуры, тулупы, разложились, накрылись по глаза — и все в сон, только Андрею не засыпалось. Думал о Софье, прислушивался к трепету сердца, томился и неожиданно решил с веселым отчаянием: «Женюсь! Скажу боярину Ивану на щедрец!»

Через два дня Волковичи собрались домой. Поехали к ним. Как раз был рыночный день, последний перед щедрецом; все волковыские ремесленники и торговцы открыли лавки; на рынке перед замчищем гудел, давился народ. Андрей пошел по рядам глядеть, чем торгуют. Здешние кузнецы просили за железо дешевле полоцких, и Андрей для новой вотчины, что пожаловал князь Витовт, накупил подков, стремян, наконечники для стрел, десяток широких ножей, два десятка острий на рогатины, купил пять чешуйчатых панцирей; мечи испробовал о свой — мягкие, не купил. Еще походил вдоль лавок и у серебряка купил маленький литой складень, где на отвороте среди святых показан был и святой Андрей — решил подарить Софье перед отъездом.

Вечером собралась у Волковичей беседа. Пришел сосед Данька Рогович с женой и сыном и другой сосед — Засека, тоже с семьей, явились Быличи, а с ними — Юрий и Ольга. Старые да пожилые как сели за стол, так, за разговорами, уже и не вставали до полуночи. Женщины устроились своим кругом у печки, а вся молодежь сгурьбилась в самом темном углу, и уж тут-то Андрей упредил Василька и сел возле Софьи. Василек же, сдавленный сестрами, словно онемел. «А-а! Не все коту масленица!» — весело думал Андрей, поглядывая на скучного противника.

Ни с молодежью, ни с женщинами, но поближе к ним неприкаянно сидела Ольга. Осмелившись, Мишка перешел к ней. Начали беседовать — тихо, отрывисто, со скрытым значением каждого слова.

—Поднялся только три дня. Хотел заехать поблагодарствовать.

— За что?

— За мед. За память.

— Рада, что на здоровье пошло.

— Вспоминалась мне часто. Может, думала?

— Может, и думала.

— Пройдет щедрец, навестить можно?

— Приезжай. А как твоя рана?

— Слава богу!

— Куда ж они тебя?

— Вот сюда.

— Ты, Миша, изменился.

— Ага. Сейчас ровно кощей — кости да кожа.

— Не то, откормишься. Глаза стали другие.

— Разве помнишь, какие были?

— Помню, Миша.

— И я твои помню...

За столом Засека рассказывал товарищам:

— Велено зерно везти в Гродно. Это, я понимаю, не зря.

— А что понимать! — сказал Волкович.— Гродно на рубеже стоит. Поход будет, вот что. На крещенье первый обоз пойдет.

— Обоз? — обрадовался Рогович.— Вот и я приладкуюсь. Свожу товар коложанам.

— Куда, Данька, обоз? — залюбопытствовала от печи Росевичиха.— Скоро ли?

— В Гродно. Через неделю.

— А тебе, Марфа, что в том Гродно? — спросила хозяйка.

— Еленку в Борисоглебскую хочу свозить к чудотворной.

— Конечно,— закивали бабы,— надо свозить.

— Была в Гродно? — спросил Еленку Юрий.— Хочешь, поеду с тобой?

Еленку весь этот вечер томило предчувствие какой-то неожиданной счастливой минуты. Ей было радостно слышать шум разных разговоров, чувствовать плечо сидевшего рядом Юрия, встречать его добрый взгляд, видеть смущение сестры и Мишкиного товарища. Неожиданный разговор о поездке, близость этого дня, явившаяся, как свет, уверенность — через неделю пойду! пойду! — показались ей исполнением предчувствия. Она развеселилась.

— Уж ты поедешь! — шутливо ответила она.— Обещал навещать — месяц тебя ждала, ты и близко не показался. Так и в Гродно.

— Отцу Фотию занеможилось. Но каждый день за тебя молился.

— Молиться я и сама могу,— засмеялась Еленка.— Что ты, владыка или поп — за других молиться? Лучше бы сел на коня и примчал.

— Правда, не мог,— оправдывался Юрий.— Плохо было Фотию, чуть не помер. Ночевал при нем...

Андрей, вдохновленный близостью Софьи, развлекал ее и девок. Они сдвинулись к нему поближе, он их страшил:

— А у нас в Езерищах такой был случай с одной девушкой. Пошла она с мамкою и сестрой по грибы. И заблудилась. Выходит на полянку, там старичок на пенечке сидит. Говорит ей: «Помоги, доченька, встать. Подай руку!» Она и подает и вдруг видит у дедушки на руке волчьи когти и шерсть. А у нее нож был в руке. Он, не глядя, схватился

за нож и так сжал, что сам себе пальцы и отрезал, они в кошелку осыпались. Она со страху бежать. А тот воет ей в спину: «Отдай мои пальцы!» Прибежала домой, волчьи когти в огонь побросала — они зеленым огнем загорелись. А ночью стук в дверь. Мамка ей говорит: «Спроси: кто?» Она встала, спрашивает. А за дверью жуткий такой хрип: «Отдай мои пальцы!» Она шепчет: «Они в печке сгорели!» А тот: «Тогда свои отдай!»

— Сказки это! — мрачно объявил Василек.— А вы уши развесили.

— Лишь бы мешать! — сердито загалдели на него девки, и пуще других Софья.— Дальше, дальше что?..

Разошлись за полночь, когда уже против воли начали все зевать. Назавтра Андрей с Мишкой ходили по знакомым, зашли к Юрию — Мишке хотелось увидеть Ольгу, но ее не было — уехала в Быличи; тогда навестили Суботку, у которого весь вечер и отсидели. Через день вернулись в Рось.

Окончилась неделя, пришел желанный щедрец. С утра боярин Иван, исполняя обычай, стал выправляться на охоту. Уже давно прикармливались для этой охоты лоси; всех-то ловов — дождаться сохатого и метко пустить стрелу, но собирались с необычной важностью, отбирали стрелы, луки испытывали, словно кормление всего двора зависело от успеха праздничной охоты. Гнатка остался за хозяина, чтобы в щедрец не вела хозяйство нетвердая рука баб. Андрей поехал со стариком, держа на уме свою цель.

Долго шли санным следом, наконец спешились и побрели нетронутым глубоким снегом к кормушке, где привыкли брать даровое лоси. Челядники окружили поляну, попрятались за стволы, нудно потекло безмолвное ожидание. Прошло не менее часа; заскрипел снег под дровнями, росевичский холоп привез сено, скинул, сел в дровни и отъехал. Близилось урочное время; обманутая тишиной, появилась семья лосей. Медленно дошли до кормушки, не кинулись к ней, как свиньи, а достойно постояли, словно молились на еду, и лишь тогда ткнулись мордами в пахучее сено. Андрей прицелился в самца, отпустил тетиву — стрела впилась сохатому в бок. И еще несколько стрел, просвистев, ударили его в загривок, в шею, в лопатку. Лось прыгнул и, оставляя кровавый след, рванулся в чащу. Тишина оборвалась свистом и дикими криками; со всех сторон лося догоняли, жалили новыми стрелами. Пощаженная лосиха догадалась умчать санной дорогой. Охотники высыпали на поляну, старый боярин приказал челяди искать сохатого по

крови. Мужики поспешили за лошадьми, и скоро отряд исчез в лесу.

Старик и Андрей остались наедине. Случай был самый подходящий.

— Боярин Иван,— обратился Андрей осипшим вдруг голосом,— хочу тебя спросить...— и запнулся.

— Спроси, коли хочешь,— тоже сипло ответил старик.

— Я сватов пришлю, Софью сватать,— выпалил Андрей.— Ты не воспротивишься?

— Что я, не меня же сватать — Софью,— хитрил старик.— Ей замуж идти, ее и спрашивай. А я что, разве знаю, кто ей мил-дорог? Насильно и за князя не отдам.

— Ну, тогда на пасху приедут сватать!

Помолчали и, словно забыв о важном слове, стали гадать, далеко ли уйдет лось; потом Андрей помог старому боярину сесть в седло, и оба поехали догонять челядь.

Вернулись к исходу дня — лось оказался здоровенным, как бык, измотал погоню до последних сил. Зато въехали на двор гордясь — богатырского уложили зверя, добрый знак подал господь в начавшемся году.

Умылись снегом, переоделись в праздничное — и за стол. Ломился стол, большая кутья не постная, глаза разбегались: мясо жареное и вареное, копченые окорока, горячие и холодные колбасы, меды и пиво, запеченные гуси, холодцы, мясные и грибные пироги, а впереди — лосиная свеженина. Прочли молитву, выпили за божью щедрость и налетели с ножами на мясное печево, как голодные волки. Двор большой, народу много сидело, быстро и холодцы, и колбасы, и гуси таяли, но новое волокли из сеней да из печки. Насытились, пошли рассказывать про охоту, вдруг шум на дворе, собаки взбесились — кто-то разносит ворота.

— Ну,— гневно сказал старик,— если Верещаки рыскают в щедрец, бога не уважают, побью!

Высыпали во двор. В ворота били клюками в несколько разных рук.

— Кого бог принес? — пробасил Гнатка.

За частоколом послышался хохот, загудел рожок, заныла лира и звонкий молодой голос запел: «Ехала Коляда в красном возке, на серебряном коньке!» И большая, почувствовалось, ватага подхватила: «Коляда! Коляда!»

Дворня прогнала прочь собак, ворота распахнулись, и на двор ввалилась толпа колядников.

— Огня! — крикнул старый Росевич. Запылал сноп соломы, высветив вывернутые кожухи, страшную козью ха-

рю с соломенными рогами и мочальной бородой. Коза под пение товарищей заскакала, закружилась вокруг костра, с гоготом, визгом кидаясь на довольных девок.

Андрей пристал к Софье, наклонился, шепнул на ухо:

— Софийка!

Та замерла.

— Софийка,— зашептал Андрей,— больше жизни буду любить. Ночи не сплю, о тебе мечтаю. Пойдешь за меня?

Прижался грудью к плечу, ощутил, как вздрогнула, напряглась, глотнула горячим ртом воздух. Ждал слова. Но шут бессовестный, словно учуял, где он нужен менее всего, поспешил пакостить: прыгнул через костер, крикнул, ухнул, проблеял козлом и, наставив рога, поскакал пугать Софью. Та спряталась за Андрея. Малый, верно, разглядел глаза Андрея, быстренько повернул, запрыгал боком и вдруг, взвизгнув, рухнул как мертвый на утоптанный снег.

— Пойду! — коснулся Андрея ответный шепот.

— Не откажешь?

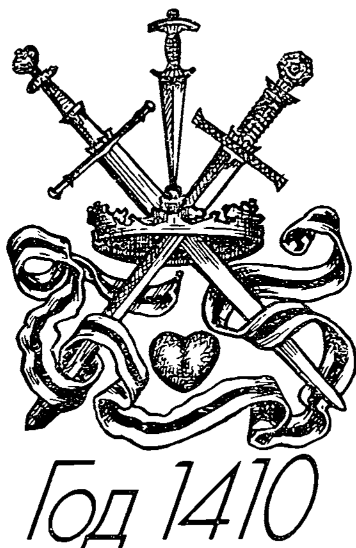
— Нет!

— Не забудешь до пасхи?

— Всегда буду помнить!

Ряженым уже несли из избы пироги и мясо. «Святое рождество всем радость принесло!» — запели колядники, коза с хохотом «воскресла», и вся шумная ватага выкатилась за ворота, обсуждая, куда двинуться дальше. Костер загас, старик призвал всех к прерванному застолью — чудесный миг близости оборвался.

Назавтра утром Андрей распрощался с Росевичами.



# Год 1410

## СМОЛЕНСК. СВЯТКИ

В сочельник, запершись один в большом покое дворца, Василий Борейкович гадал,как гадал в этот час весь Смоленск. Упорно глядя на сердцевидный огонек свечи, Борейкович ждал появления в пламени какого-нибудь знака, который внесет ясность в его думы и снимет тревогу. Огонек чадил, мерно оплывал и наконец трепетно забился синими язычками, загасая в лужице воска. Тогда Борейкович зажег вторую свечу. Угрюмое, уже привычное уныние овладело его душой. Эта нудная тоска стала наваливаться на него только в последние годы, и поначалу Василий не мог понять ее причины. Но мало-помалу за долгие размышления выклевалось прозрение: место вгоняет в нуду, Смоленск, город, в котором он наместником провел без малого шесть лет.

Теперь уже редко случались дни, когда Василий Борейкович, входя в эту самую палату, словно пьянел от счастья. Было раньше — так распалялось тщеславие, что сам себя корил и одергивал, страшась сглаза. Одергивал и не мог сдержаться, бродил по покоям дворца и честолюбиво дивился: неужто это он, Борейкович, ходит по тем самым половицам, по которым смоленские князья ходили,глядит в те же

самые окна, что и они, принимает малых князей в той же палате, где они их принимали! Но вот никого из них нет в живых, а он есть, прислан Витовтом, прибыл из Ошмянского своего угла в стольный город Смоленщины держать порядок. Да, говорил себе, не обманулся он в князе Витовте, когда терпел вместе с ним все мытарства изгнаний, опасности походов и битв. Возместилось сполна и воздалось с честью. Где наместничает? В старейшем городе, в обширном княжестве, там, где тесть князя Витовта властвовал по праву древнего рода, где в уделах сидели врожденные Рюриковичи, вынужденные ныне слушать, что он говорит, ибо через него шло сюда державное слово великого князя.

А что Рюриковичи? Под татарами пригнулись все Рюриковичи. Любят себя возвеличить, древностью рода нынешнюю слабину прикрыть. Так он и сам их ничуть не ниже. И отца, и деда, и пращура звали Борейками. И были Борейки ятвяжскими князьями, свои дружины держали, и свои конюшие им подводили коней. И стыдиться ятвягам нет причины, с четырех сторон их вырубали, но на колени не рухнули и дань врагу не платили, как Рюриковичи сто пятьдесят лет. Не затерялись Борейки, не исчезли. И при нем род не угаснет. Давно ли наместничество ошмянское получил, а теперь Смоленск князю Витовту держит. Правили тут смоленские князья, ныне ятвяжского рода князь здесь сидит. Конечно, Борейки не Гедиминовой были силы, но вот Вяземскому или Дорогобужскому в этом дворце вовек не сидеть, им сюда только по делу войти можно, если он призовет.

Да, не отнимешь грех — тщеславился, но, слава богу, быстро отрезвел. Забот и хлопот требует смоленское наместничество. Чуж и чужд остался город, непреодолимая враждебность сидит в смолянах, ничем ее не снять. Едешь по улице и читаешь по глазам: «Эй, сверчок, не на свой сел шесток!» Или вовсе угрозливое: «Потерпим, пока тихо, а хуже станет — переменим!» Василий Борейкович тогда думал, злобясь: недобитки, по-волчьи зыркают, только и жди, чтобы в глотку не вцепились. И этот бывший дворец Ростиславичей, и замок, где стоял его отряд, казались тогда островком посеред реки, ударит гроза — и воды затопят его бесследно. Уже было так — наместника топорами рубили и со стены в ров, ровно падаль, скидывали. Как разойдется народец — не уймешь, на испуг не берутся. Вон когда Витовт князя Юрия сгонял, три осады выстояли. Не будь Юрий в отлучке, и четвертую бы выдержали. Три года Витовт Смоленск воевал, дорого обошлось это усмирение —

тысячи своих людей под стенами полегло, много здесь ретивых голов пришлось снести, чтобы все прочие поостыли. Да, не заленишься в Смоленске, все тут зыбкое, востро надо держать ухо. Вот святки, народ пьет и гуляет, по вечерам гадания судьбы. Понятно, о чем девки гадают. Но что князья Вяземский и Дорогобужский выгадывают, сходясь в гости? Чего им в Вязьме и Дорогобуже не сидится, какая охота в Смоленск привлекла? Скуку свою разогнать в Соборной церкви? Богу помолиться в крещенские дни в толпе народа? О чем?

Не отмахнешься от дум, если было подслушано краткое, пугающее слово «отъезд». Теперь угадывай, что Вяземскому и Митьке Дорогобужскому возмечталось, в какую беду святочное их шептание может отлиться. Вдруг задумали Федора Юрьевича на отцовское место призвать, как девять лет назад князя Юрия призвали. Но Юрию тесть помогал, рязанский князь. Кто Федору поможет? Или самим вздумалось отъехать в Москву, к Василию Дмитриевичу на службу, а то и вовсе отломиться к нему вместе с землями — с боярами, с людьми, с данью и посощиной? Что воспоследует? Война с Москвой. Разве согласится князь Витовт с утратой Вязьмы? Давно ль Одоев прибрали, а тут Вязьму потерять. Но спросит: кто прозевал, кто допустил? А вот кто зевун — наместник смоленский. Знать, состарился — пора на печку.

«Ну и что делать?» — думал Василий Борейкович, угрюмо глядя на огонек. Не ко времени эта забота. Приказано овес отправить в Гродно, полки должны быть наготове в поход. И вдруг — отъезд. Вдруг полки эти в обратную сторону пойдут? Или придется сюда десять полков вести, чтобы эти три успокоить? Но здраво, трезво если глядеть: что для Вяземского этот Федор, чтобы из-за него на опасность смерти идти? Сын грешника, убийцы родича Вяземского. Нет, не нужен ему князь Федор, не захочет он свою жизнь и удел на край гибели ставить. «Мерещится мне,— подумал Василий Борейкович,— пустые мерещатся страхи, услышу звон — сам себя запугиваю, готов в набат бить. А уж если Лев с Митькою отъедут — пусть их, малая беда, только бы без народу, без смуты людей. Толбко ведь просто так не сбегут, какая им корысть жить в изгоях? Так о чем толковали?»

Василий Борейкович досидел до полуночи, гоняя по кругу тревожные свои мысли, и, утомившись и ничего дельного не решив, лег спать.

Наутро поздно проснувшись, он велел сотнику найти

и пригласить к обеду князей. Полдня было впереди, и наместник с горсткой охраны поехал к Днепру на потеху — поглядеть с обрыва, как отмываются в иордани ряженые.

Над городом плыл колокольный звон. Пышным ходом с хоругвями прошли к реке одетые в ризы попы Соборной церкви. Вослед двигалась с плотным давким шумом шагов толпа — бесконечная и сплоченная торжественным чувством. Шли мимо наместника, как мимо столба. «Да, не дай бог смутить,— думал с досадой Василий Борейкович, видя раскрасневшиеся на морозе чинные лица.— Вон сколько тысяч прет, возьмут топоры, рогатины, такое выскочит лихо — не уймешь».

Через четверть часа толпа поредела; Борейкович со своими конными пристал в хвост, скоро вышли к реке. Весь берег Днепра в обе стороны далеко был побит прорубями, возле них с пением служили водосвятие попы.

Поехали на Смядынь к Борисоглебскому монастырю. Здесь протолкнуться было нельзя сквозь людей. Монахи черпаками наливали освященную воду во фляги и кувшины. Толпа стояла тихо, в почете к месту и празднику. «Да, взяли тут силу чернецы и попы,— думал наместник,— во как народ благоговеет и слушается. Они не только на смирение, равно и на смуту благословят. И слова поперек им громко не скажешь».

Вернулись назад мимо неубывающей толпы, к Днепровскому спуску. Особенно грудился народ у последней, длинной иордани, где готовились очищаться колядовщики. Их набралось с добрую полусотню. Уже первые раздевались донага и, прикрывая руками срам, вприпрыжку бежали к проруби. Зрители — и близко столпившиеся мужики, и стоявшие на возвышениях бабы — пришли в неистовое веселье. Поплясав у кромки, голые с визгом ухнули в ледяную купель, присели по горло и через мгновение полезли вон, оскальзываясь на льду, становясь на карачки, забыв про стыд и наготу. Борейкович, откинувшись в седле, хохотал до слез, кричал купальщикам, как и прочие все кричали: «Уду спасай! Примерзнет!» Отмытые, неслись к кожухам, лезли в порты и рубахи, дружки подносили им вина отогреться. А уже другая десятка нагих, крестясь, прыгала в иордань, и ледяные брызги взлетали вверх, сверкая на солнце.

Натешившись, Борейкович повернул коня на Торжище, думая выпить с мороза и отдохнуть перед обедом, но на Торжище желание его переменилось, и он, сам не зная зачем, поехал к Васильевской церкви. Поднялись в гору, у

древней церкви оказалось немало людей, а в самом храме было полно, и оттуда сквозь открытую дверь слышался густой бас отца Климентия. Василий собрался уже сойти с коня, постоять среди праздного народа, как вдруг вскочил со своего места у входных дверей церковный дурачок Евсташка и понесся к нему, тряся лохмотьями, нелепо, как подбитая галка, размахивая руками и по-бабьи звонко выкрикивая:

— Кобылу в церковь ведут! Чур меня! Хуленье! Змеев сын едет! Одна голова наружу, две спрятал. Евсташку огнем сожжет! Сгинь, нечистая сила!

И запрыгал вокруг опешившего наместника чуть ли не впритир к лошади под веселые, поощряющие ухмылки толпы. Борейкович от визгливого дурачьего крика, от радостных, забавлявшихся его смятеньем лиц мгновенно озлобел и невольно нацелил пнуть дурачка сапогом в спину, но Евсташка в последний миг резво крутанулся, и удар сапогом пришелся в лицо, в самый нос. Юродивый залился кровью и упал на снег, возопив воплем смерти: «Убили меня! Ой, больно!» Народ ахнул и зароптал. Наместник повернул коня и зарысил ко дворцу, отплевываясь от нелепости столкновения.

Через час ему доложили, что явился и требует встречи священник Васильевской церкви Климентий. Борейкович подумал и сказал впустить.

Вошел ражий поп в незастегнутом кожухе поверх рясы, с серебряным тяжелым крестом на груди, строго прошагал по покою и, остановившись в двух шагах от наместника, спросил гудящим баском:

— Что ж ты, боярин Василий, убогого Евсташку побил?

— На кой ляд мне ваш Евсташка? — лениво возразил Василий Борейкович.— Сам под сапог сунулся глупой мордой. Дурачку место надо знать.

— Грешно, боярин, божевольнику кровь спускать! — словно не слыша, упрекал поп.

— Это что ж, Евсташка — божевольник?! — не снес Борейкович.— Дурацкие словеса вещает: «Кобылу в церковь ведут»!

— Таким уродился. Выходит, по божьей воле.

— Коли все по божьей, то чего ты, отче, встреваешь? Бог и решит — кто не прав. Или и ты по божьей воле пришел?

— Пришел по совести. У нас убогих и великие князья молча слушали,— ответил Климентий.— Сапогом в нос не били.

— То у вас. У нас дуракам не почет.

— Ты, боярин, все же у нас.

— Я у вас. А вы у нас.

— Нет, не так,— сказал поп.— Ты у нас, а мы у себя.

— Не заносись, отче,— остерег Борейкович.— Зачем злишь? Не побоюсь, что праздник,— сядешь в холодную.

Климентий усмехнулся:

— Думай, что говоришь, боярин Василий. Ступи-ка за дверь, глянь на площадь. Тебе ли говорить, что станет, если я от тебя не выйду. Сотню свою пустишь в мечи? Так ведь всех выбьют. Шапками закидают. Не похвалит тебя князь Витовт. Не для того наместничаешь, чтобы кровью снег поливать.

Борейкович подниматься к окну по поповской указке счел зазорным. Не видя, понял: собралась толпа, злопыхает, друг друга к буйству раззадоривают. «Поредить бы вас,— подумал наместник.— Давно вас не редили». Но и представилось до мелочей, чем такое реженье обернется. Возьмут топоры и луки, перебьют хоругвь, затворятся в городе, выкрикнут князем хоть кого — хоть Льва Вяземского, и придется Витовту вести полки, стоять под стенами, кидать камни из пушек, а всей-то причины — наместник смоленский с юродивым Васильевской церкви побился.

— Полно, отче,— увещевал Борейкович.— Не тяни дурачка в великомученики. Все равно бог не примет...

— Не в нем суть,— продолжал гнуть свое поп.— Ты веры латинской, мы — православной. Ты наместник, тебе власть дана, твое каждое дело — не случайное: убогого стукнул — зачем? На ущемление веры?

— Вера! — утомленно вздохнул наместник.— Хватает мне забот без вашей веры. Прыгуч и брехлив ваш Евсташка, словно пес дворовый. Мне об него мараться не радость. Самому противно. И будет о нем.— И еще сказал, уже с угрозою: — Пусть утишится народ, отче Климентий. Не бери греха раздувать искры. А кто раздувает — тому ты лучше сам своим крестом в лоб. Случится пожар — зальют кровью!

«Буянить, вина выпив,— дело нехитрое,— думал наместник, когда поп ушел.— Поглядим, как вы в поле побуйствуете в летний поход. У себя вы — верно, да не в своей воле. Как коровы на пастбище — за вами пастух следит. Не сами вы по себе, а за княгиней Анной Витовту достались. Так он и разжалобится вас отпустить — своих мышей к чужому коту. Старина вам помнится, бабушкины сказания, как Смоленск великим был. Может, и было, да прошло, не

вернется. Другое бы вспоминать почаще. Поход свой под Мстиславль на Вохру, где князя Святослава сгубили. Там надо было яриться. А сейчас поздно. За Евсташку зубами скрипеть нечего. Не убоюсь — вышерблю».

И как раз в эту минуту ненависти к смолянам появился князь Вяземский, легко хмельной и веселый. Василий Борейкович, чтобы не гадать попусту, отчего усмешлив князь — от вина ли усмешлив или наслышан про нособитие у церкви,— сказал после здравствования:

— Тут поп приходил меня совестить. А ты, князь Лев, гостем или тоже с укорами?

— Я не поп,— отвечал Вяземский,— меня твоя совесть не заботит.

— Слава богу,— кивнул одобрительно Борейкович.— А то у нас часто те чужую совесть спасают, кто свою потерял.

— Или у кого отроду ее не было,— добавил князь.

Посидели молча. Василий подумал: сейчас начнем какой-нибудь вздор молоть, лучше в открытую.

— Молва, князь, ходит, в Москву решил отъезжать?

Вяземский глянул на него удивленно:

— Молва ходит? Не видал, наместник Василий. Кто же тебе молвил?

— Молва ветром носится, сама в окно лезет.

— В окно тати лазят,— усмехнулся князь,— что доброе — в двери идет. А коли б и решил — тебе какая печаль, боярин Василий? Я человек вольный. Куда хочу — туда езжу. Хоть бы и в Москву. Право на отъезд древнее, никем не отменено.

— Что, в Москве лучше будет?

— Кто знает? За корыстью не гонюсь — не купец. Своей стаи надо держаться.

— Уж своя! — хмыкнул Борейкович.— Или не Калита сюда татар приводил, с осадой стояли, дружно ваши посады жгли? Хитрые вы, смоляне! Как Москва под татарами терпела, вы нас держались, вместе с Ольгердом на московские пригороды ходили. Теперь к Москве поворачиваете.

— А кто смоленские пригороды оторвал? — возразил князь.— Мстиславль, Пропойск, Кричев. Сейчас с немцами рубитесь, а кто немцев под Смоленск приводил?

— Полтора века с ними рубимся,— отвечал наместник,— а только сейча большая война. И летом поход.

— Летом поход — люди нужны. Это понятно,— сказал Вяземский.— Побьете немцев, за нас всерьез приметесь. Вот ты, боярин Василий, сегодня Евсташке рыло разбил.

А завтра кому? В Смоленске костелов не было, в Заднепровье одна немецкая божница стояла, а как Юрия князь Витовт вышиб, сразу церковь латинскую срубили. Она маленькая, неприметная. Так ведь и Васильевская церковь, которую здесь Владимир Святой поставил, не больше курной избы была поначалу. А сейчас сколько церквей? На Соборной горе каменный храм стоит. До судного дня простоит. Завтра, глядишь, и вы такие построите. Где князья наши? Кто на Вохре, кто на Ворскле погиб. Князь Юрий в изгнании сгинул...

— Уже и Юрий Святославович тебе мил,— ухмыльнулся наместник.— Не он ли у твоего родича душу отнял? К чужой жене насильничать полез. Это что, с горя?

— Дело пьяное,— хмуро пояснил Вяземский.— С каждым может случиться...

— С каждым может, только не с каждым случается. Можно и так сказать: к чужой жене полез, потому что свою в полон вывезли. Но что, расцеловать его должен был Витовт? Не в тихое время Юрий Смоленск взбунтовал. После Ворсклы взбунтовал, когда нас обескровили татары. В злой час обрадовался: ага, побили вас, так и мы добавим. Кто наместника ножом заколол, полную хоругвь вырубил по слову Юрия? Не смоляне? А потом в Москву помчал: спасай, княже, пришли полки. И что? Помог Василий Дмитриевич? Дал войско? Торжок дал для кормления...

Слушая увещевания наместника, князь Лев старательно вспоминал недавнюю беседу с Дорогобужским; были при разговоре и несколько бояр, но никак не Витовтовы доброхоты, передать разговор Борейковичу не могли. Но вот, просочилось где-то словцо. Какое? Всего хуже, коли о князе Витовте — зачем изводит князей? Так и то правда. Выгодно изводить. Вся дань ему переходит. Раньше в Смоленске посощина князю шла, теперь — Витовту. Или в Полоцке серебщизна. То же и в Киеве. Князей с больших княжеств на мелкие уделы переводит, на их место такие вот бессильные наместники, как Василий, идут. Богатеет Витовт, и тревог ему меньше — на скудных уделах князья силы не имеют, их в счет можно не брать. И еще, злясь, говорили, что псковский город Коложу с лица земли стер, словно не было, что и нас такое переселение каждый день ожидает. Рассердится, махнет рукой — и погонят вяземский народ за тысячу верст на какую-нибудь обезлюдевшую землю. Как брат, Иван Вяземский, в Литве поселен, теперь в деревне сидит. Но об этаких речах, чувствовал князь Лев, неизвестно было Василию Борейковичу, занимал его только отъезд.

А про отъезд не много толковали; так, поскулили друг другу, что хорошо бы отъехать, да некуда, везде не лучше. Под Василием Дмитриевичем жить — тоже не мед. Всего год назад хан Едигей стоял у московской стены, едва откупились. Отъедешь, дадут удел на отшибе — берегись каждый год ордынцев. Что тут с немцами воевать, что там против татар. А сейчас и вовсе не честь отъезжать — скажут, от войны спасались, чтобы в поход не идти. Тот же Василий Дмитриевич косо посмотрит: чего ушли, не тихого ли сиденья ищете; так у нас не подполье, чтобы тихо отсиживаться.

— Не пойму, что горячишься, боярин Василий,— сказал Вяземский.— Мне отъезжать не хочется. Мне и здесь по себе. Верь не верь, а трогаться с места не собираюсь. Мало ли что молва раздувает. О тебе молвлено, что ты коня в церковь вел, а Евсташка крестом руки раскинул, путь преградил, а верно, ложь...

«Врет,— подумал Борейкович.— Ишь как закрутил про кобылу!» Вслух сказал:

— Дыма без огня не бывает. Но коли не собираешься — тем лучше. Хлопотное начинается время. Скоро Витовт полки потребует. Уже пора бы всех перечесть, кто пойдет. Пусть готовятся. Ты сам сколько выставишь?

— Полторы сотни конных.

— Если Одоевского и Бельского прибавить,— задумался наместник,— уже и полк. А другой дадут Дорогобуж, Ельня, Ховрач, Пацин, Рославль, Витрин. И я полк соберу со Смоленска, Торопца, Клина, Лучина, Каспли. Вот где, князь Лев, заботы наваливаются...

Вяземский, не ответив, помрачнел и на минуту замкнулся. Увиделась ему дорога: полки на походе, пыль, котлы над вечерними кострами, послушное движение. «Глупые мы и слабые,— подумал он.— Как за свою биться, кричи — не соберешь; как за чужое — скажут через наместника — безмолвно пойдем. Лучшее воинство станет в полки, в битве сгинет, и будем мы еще слабее перед Литвой, чем были. А не пойти — измена и стыд».

— Что грустишь? — спросил Василий Борейкович.

— Виденье черное увидал. Достанется нам.

«Нет, похоже, не врет,— подумал наместник.— Не будет отъезда». И ему стало весело и легко.

— Все в бою решится,— заключил он бездумно, кликнул слугу и велел накрыть стол.

Поднятый первыми петухами, стягивался на площадь в свете полной луны волковыский обоз. Тишину лютого предутрия рвал в разных концах города треск распахиваемых примерзших ворот, скрип полозьев, гулкий топот подкованных лошадей. Тиун, браня запаздывавших, пересчитывал возы; никто, однако, лишнее не заспал, все двадцать семь съехались и выстроились гуськом. И еще пять саней с поклажей купеческих, и двое саней с харчами для охраны, и сами купцы — Рогович и Бармич — в санях с кузовами. Отряженные возчики, сойдясь кучей, притоптывая и прихлопывая меховыми рукавицами, кляли вполголоса свою неудачу: другим праздник как праздник, сидеть дома, греть бока, пить вино, а им мерзнуть в дороге, да сколько дней. Собрались и стояли отдельно десятка два молодых мужиков конной охраны.

Юрий, боясь опоздать, прибежал на площадь чуть ли не первым и примостился к Даньке Роговичу.

Наконец тиун убедился, что все назначенные к поездке люди собрались. «Садись! — крикнул весело.— С богом!» В тот же миг передние сани резво рванули, звякнули бубенцы, и обоз с ухарски взгикивающей охраной пошел из города в поле, на Гродненский шлях.

Проснулись в этот час и Росевичи. Трепетное волнение овладело всем домом. Хоть все, что нужно утром сделать, загодя было продумано, а все, что нужно с собою взять, с вечера было приготовлено, все суетились, помогая матери и Еленке собираться. Старый Росевич тыкался в каждую заботу, больше мешая, чем способствуя, ворчал на жену, что попусту копается, бегал присматривать, как и что укладывают, сам зажег настольные свечи, подгонял всех садиться за стол, как на добрый путь положено. Уселись, но от возбуждения и переживания этой необычной разлуки никто не мог есть. Едва прикусив, стали подыматься. Мать и Еленка оделись в шубы, все пошли во двор. Гнатка вынес и усадил в возок на солому Еленку, Софья и мать прикрыли ее шкурами. Трое паробков сели верхами. Старый Росевич благословил и поцеловал дочь. Ворота растворились, Мишка, отец, Софья прокричали: «Бывайте!», с саней ответили: «И вы бывайте!», и маленький поезд помчал к дороге.

На перекрестке пришлось ожидать. Еленка в изматывающем напряжении ловила каждый звук, страшилась, что обоз не вышел из Волковыска, что случилась какая-то от-

срочка, он не придет и ее повезут обратно в избу, на опостылевшее сиденье при окне, к муке неподвижности и неисполнимых желаний. Но вот послышались колокольцы, обоз возник в темноте, приблизился и стал проходить мимо чередой саней с многократным «Здорово, Росевичи!». Соскочил с какой-то повозки и подсел к Еленке Юрий.

Прошли последние сани, прорысили верховые, Гнатка пустил коня следом.

Через час езды стало синеть на восходе небо, проявилась багряная полоса туч, выплыло из нее яркое, как живое сердце, солнце.

Еленка глядела вокруг с жадностью ожидания чуда. Все для нее открывалось как бы впервые, в не чувствованной прежде красоте: сверкающий наст снежного поля, лисий след на целине, выбеленное инеем дерево при дороге, вспугнутый шумом уносившийся прочь беляк, сам обоз, растянувшийся на полверсты, веселый, звенящий, с резвыми пристяжными,— во всех виделись чары благосклонного волшебства, знамения близящейся доброй перемены. Ей хотелось сказать Гнатке и Юрию, что она счастлива, что к ней пришла забытая радость, что она готова вот так весело ехать месяцы, всю длинную зиму, и она вскрикивала: «Гляди, Юрий, Гнатка!» — и показывала рукой на занесенную снегом елку, или на березу с обмерзшими, блестящими, как сосульки, ветвями, или на волну высоких острых сугробов. Они взглядывали, улыбались, и ей казалось, что и они тоже пронизаны ликующим чувством высвобождения на волю и свет.

А мать, ехавшая с хлопцем-возницей в следующих санях, чем дальше удалялись от Роси, тем крепче начинала пугаться этой долгожданной поездки. Сердце ее сковывалось страхом, и дума становилась мучительной. Что будет с Еленкой, думала она, если и моление перед чудотворной не вернет силу? Вдруг чудотворная не услышит мольбы, не смилостивится? И по этой же дороге повезут дочку назад, опять на страдание и одиночество. Вспомнилось Марфе, как выхаживала Еленку в первую ее хворость. Только от груди отняла: крику сколько было, протеста. А в одно утро — тишина в колыбельке; даже обрадовалась — спит, глянула — а у нее глазки открыты, а сама синенькая, никакой жизни, простонать нету сил. Три дня, прижав к груди, носила по избе, сжатый ротик пальцами разжимала и по каплям сочила из намоченной тряпки настой. Выходила. А потом, уже девочкой, провалилась Еленка в полынью, старшие дети вытащили, привели домой — она вся звенит, вморожена в

лед. Две недели горела, никто не верил, что выживет. Кульчиха что ни делала — не помогало, а она над ней глаз не сомкнула, водой намочит холстинку, положит на лоб, пока та не высохнет, как возле печи, и опять смочит и наложит. Но крепенькая оказалась — очуняла. «Так мало отпущено на жизнь счастья,— думала мать,— а у Еленки и та малость, что другим дается, тоже отнята. Ни мужа встретить, ни дитенка родить. А помрем мы,— думала она,— помрет Гнатка, кто о ней позаботится? Софья к мужу уйдет, Мишка женится, невестка станет на Еленку коситься, еще и помыкать начнет. И не ехать нельзя, и едем — страшно. Сидели дома — хоть надежда была, а теперь уверились в чуде, мчим в Гродно, но где те исцеленные? Страдалиц много, а осчастливленные где? Кто их видел?» Надвинув платок на глаза, чтобы никто не подсмотрел ее слез, мать тихо плакала.

Днем в какой-то деревушке, набившись по хатам, поели горячего, недолго погрелись и опять помчали, рассчитав добраться к вечеру до принеманской деревни Забродье на ночлег. Тут мать, чтобы меньше печалиться, пересела в сани к говорливому Роговичу, Гнатка перешел в ее возок, Юрий остался вдвоем с Еленкой.

На передних санях затянули песню. За дальностью слова не различались — в хвост обоза долетал тоскливый, щемящий напев.

Еленка тронула Юрия за плечо:

— Неужто, скажи, и вправду случится — Гнатка внесет меня в церковь, а выйду сама? Как все. Ты веришь?

— Верю. Подымешься с колен и пойдешь. А уж летом находишься по лесу за все годы.

— Добрый ты, Юрка. Жалеешь меня. А отец Фотий добрый?

Юрий кивнул:

— Он близкий. У меня мало близких: сестра, Фотий да ты.

— Я?! Ты же увидал меня впервые на дзяды. Два раза виделись.

— По душе близятся люди,— сказал Юрий.— Увидал недавно, а словно всю жизнь тебя знал. А тебе кто близкий?

— Гнатка.

— Он разве не родня вам?

— Гнатка у отца лучником был, во все походы с отцом ходил. А как жена его однажды пошла за клюквой и потонула в болоте, так у нас остался. Не смог в своем доме

жить. Ему сватали многих, а он говорит: как слышу женский голос, так и слышу, как она кричит в болоте, меня на помощь зовет. Вот Мишкин друг приезжал, Андрей, сказал отцу, что сватов пришлет к Софье. Гнатка узнал, сел и плачет: жалко, что увезут. Так расстроился.

— Придет час, и ты разлучишься,— с грустью предсказал Юрий.

— Зачем? — не поняла Еленка.

— Вернешься из Гродно, и тебя увезут.

— Я Гнатку возьму.

— А если муж воспротивится?

— Не воспротивится. Я за злого не пойду. За доброго.

— Я — добрый,— уверил ее Юрий, словно в шутку.— Иди за меня.

— Там поглядим,— в лад ему отозвалась Еленка.— Как бог захочет.

Замолчали. Долго ехали в немоте. Юрий оглянулся на девушку, она лежала, откинувшись к борту, с закрытыми глазами.

— Юрий! — позвала Еленка, не открывая глаз.— Ты священником хочешь быть, должен знать. Скажи мне: как это — богоявленье?

— Это бог явился Христу на реке Иордани. Христос увидел его и принял крещение. В этот день воду в реках берут, она — целебная и святая.

— Может, и мне в проруби окунуться? — спросила Еленка.— Если бог установил.

— Тебе бог и без купания поможет. Ты безгрешная, что тебе отмывать?

— Не знаю. Хочу, чтобы явился. Любое могу сделать и вытерпеть.

Из Забродья выехали со светом и через час нешибкой езды вышли на гладь широкого льда. Все возликовали: «Неман! Неман!»

— Вот, Марфа, и прямой путь,— сказал Рогович попутчице.— Сегодня померзнем, завтра полдня померзнем, а к обеду прибудем и отоспимся всласть. А уж назавтра встанем — крещенье. Церковь Бориса и Глеба красиво стоит — на самом холме, к небесам поближе, с откосу вниз на Неман глядеть страшно, так высоко!

— Ох, Данька, страшно мне и без откоса,— вздохнула мать.— Чую сердцем, не случится так, как желается. Томно, тяжесть на душе, хоть назад возвращайся.

— Крепись, Марфа. Мало что будет. Тяжкая вам судьба, только такой крест не сбросишь.

— Не нам, ей тяжко.

— Всем тяжко,— сказал Рогович.— Бог сподобит — поднимется. А от твоих слез какой прок?

В таких беседах, перемежаемых чуткой дремой, прошел день до сумерек, пока не встретилась приречная деревня, где стали на ночлег. Назавтра поехали резвее. Бывалые люди уже отсчитывали версты, остававшиеся до города. Верховые парни лихо носились вдоль обоза, подзадоривали возниц: «Догоняй!», и сами пускались наперегонки, только летел брызгами и звенел под копытами лед. Потом скакали назад, объявляя: «Близко Гродно. Пятнадцать верст!»

— Ну вот, считай, что добрались,— говорил Еленке Юрий.— Даже не верится.

Еленка охнула.

— Не страшись. Мне виденье вещее было.

— Какое?

— Сон приснился, что ты подкову нашла. Подняла и сквозь дырку для гвоздя на хмурое небо поглядела. А в дырку солнце увидела.

— А давно снилось?

— После коляд. Ты мне часто снишься. Каждую ночь.

— Правда?

— Как есть.

— Так уже, верно, и надоела,— улыбнулась Еленка.

— А еще,— оживился Юрий,— снилось, что мы едем вот так, как сейчас. Лед звенит таким тонким звоном, в летний день так в поле воздух звенит... И лес, как и здесь, стоит стенами у самых берегов... Знаешь, сам дивлюсь, все — знакомое...

— Ой, молчи, молчи, боюсь я вещаний! Нельзя вслух...

Вдруг в голове обоза громко, пугающе закричали. Юрий вскочил, глянул. Что-то непонятное творилось впереди: обоз стопорился, рассыпался, отчаянно орали мужики, и туда неслась верховая охрана. «Или полынья? — подумал Юрий.— Провалился кто?»

Но не полынья остановила обоз, а внезапно вспорхнувшая со льда и натянувшаяся от берега к берегу толстая, перевитая проволокой веревка. Двое хлопцев выхватили мечи рубить преграду, но их тотчас свалили с седел стрелы. Тогда возница на первых санях, видевший их смерть, закричал: «Тати!» — и стал осаживать упряжку. А на лед, с обоих берегов Немана, из безмолвного леса начала выходить конная засада, и по шлемам, по одежде сразу отгадалось, что это не лесные тати, а немцы. Они растягивались в цепь, заступая дорогу, припустили вдоль обоза, безжалостно по-

глядывая на растерянных, обреченных людей. Крик «Немцы! Крыжаки!» пошел от саней к саням, возвещая смертное испытание, будя страх и ярость.

Охрана столкнулась с немецкой цепью, стремясь пробить брешь и выпустить обоз из ловушки. В толчее рубки веревку перерубили, путь был открыт, но немцы сшибли из арбалетов головную упряжку, и лошади, издыхая, вскидываясь в предсмертных мучениях, развернули сани поперек, застопорив дорогу для нескольких следующих повозок. Здесь возницы кистенями и секирами уже отбивались от набежавших пеших кнехтов.

В сани к Еленке прыгнул Гнатка. «Гони!» — рыкнул он Юрию и выхватил из-под соломы свой лук. Ожигая коней кнутом, Юрий правил на свободный еще лед. Но уже и к ним летели конные немцы, как-то наискось, жутко, держа мечи. И заваливались в седлах под ударами стрел. Юрий видел, что бьют их Гнаткины стрелы — они с жиканьем пролетали вровень с ушами. Страх, пронизавший Юрия при первых ударах мечей и смертных криках, исчез. Юрий принял одну заботу — вырваться от крыжаков, вынести этот возок с места смерти, спасти Еленку. Им овладела ясность точного действия, он понял, чего ждет от него Гнатка. Похищному зорко, широко глядел он поверх конских грив на пространство льда, занятое боем, улавливал возникающую опасность — чей-то злой взгляд, чье-то движение наперерез — и забирал вбок, отдавая цель Гнатке. Юрий перестал быть собой; все, что он видел — лужи крови под легшими лошадьми, порубленные люди, лица, изуродованные стрелами,— все видел без трепета, сердце его словно окаменело, даже крик Еленки «Мама! Мамочка!» не мешал ему, наоборот, давал успокоение: кричит,— значит, здесь и жива, и надо спасать.

Данька Рогович с первых криков «Немцы!» решил уходить назад, но узрел, что и позади обоза выходит на лед засада. Хоть и мало их было, но понял Данька, что одну его упряжку они не пропустят. Он погнал вперед, как и все. Приметив ставшего в рост Гнатку, Рогович прилепился к его саням, чувствуя в богатыре единственную надежную защиту. Мать, высунувшись из кузова, глядела на метавшийся впереди возок и, не видя дочери, отчаянно, истошно звала: «Еленка! Еленка!»

Они проносились мимо возов с подбитыми, загубленными лошадьми, возле которых бились обозники. Кровь лилась на лед, топоры и мечи врезались в лица, громко, тошнотворно хрустели кости и черепа. Раненые, узнавая зна-

комых, просили стоном: «Данька! Марфа!», вкладывая в имя всю свою надежду на спасительную заботу, призыв милосердно взять с собой, унести от смерти. Но не слышали их ездоки, и не останавливались сани.

Уже виден стал Роговичу край боя, за ним уносились прочь две упряжки, и, завидуя тем, миновавшим беды и спасшимся, он молил бога об одной милости. «Господи! — взывал он.— Убереги лошадей, не дай пасть, отведи стрелы!» Но пристяжная вдруг вскинулась на задние ноги, заржала и повалилась на лед, скособочивая оглобли. Сани резко и напрочно стали. Выхватив нож, Рогович стал на оглоблю резать постромки. Держась за чересседельник, он потянулся полоснуть ножом по натянутому ремню, и здесь в спину ему с глухим стуком вошла толстая стрела и пришила к конскому крупу.

Мать вылезла из возка, побежала за удалявшимися Гнаткиными санями, крича: «Доченька! Гнатка! Еленка!» и не видя их за возникшими вблизи верховыми.

У Еленки, глядевшей на упряжку Роговича, вырвался безумный, отчаянный вопль: «Мама! Гнатка, маму!» Подчиняясь ужасу и ярости крика, Гнатка обернулся. Увиделись ему Марфа в тяжелом, безнадежном беге, скакавший мимо нее крыжак. Немец лениво махнул мечом, и она быстро и плашмя упала.

Юрий не оглядывался. Он выискал среди конных поединков брешь, прикрытую одиноким кнехтом. Кнехту, наставив копье, сидел на лошади недвижимо, как идол. На нем кончалась угроза, за ним открывалась жизнь. Юрий разогнал упряжку прямо на кнехта, и тот не выдержал, убоялся сшибки, ушел вбок, и Гнатка пробил его насквозь последней стрелой.

Вырвались. Никакой препоны не было перед ними, виднелись двое саней, а кроме них, ни души, ни следа — чистый лед, чистый снег, сонный лес — спасение. Юрий глянул на Еленку. Она исступленно, с животным хрипом била кулаками свои бессильные ноги. «Мать осталась,— понял Юрий.— Осталась, а мы уносимся. Забыли о ней. Господи, что делать?»

— Гони! — мрачно бросил ему Гнатка. Вдогон им шли два крыжака.

Гнатка вытянул из ножен тяжелый двуручный меч. Крепкие, малоуставшие кони немцев быстро близились.

— Ну, прощай,— сказал Гнатка.— Сбереги ее! — И соскочил на лед.

Юрий недолго проехал, засовестился, остановил лоша-

дей. Гнатка, держа меч наотвес, шел навстречу конным. Первый несся ровно на Гнатку, и Юрию казалось, что сила и тело коня ударят Гнатку и собьют под копыта. Уже малый шаг разделял их, но в это последнее мгновенье Гнатка увертливо шагнул вправо, меч его взлетел, блеснул и коснулся крыжака. Не глядя, как он валится, хватаясь за луку, Гнатка в три скачка стал перед вторым. Немец, чуя умелую руку, взял влево, чтобы рубить с удобством, меч его, высоко поднятый, полетел на Гнатку и упал на лед вместе с отрубленной в запястье рукой.

Юрий, заколоженный жутью схватки, вдруг заметил, что возок пуст, нет Еленки, что она ковыляет назад, к месту смерти.

Юрий прыгнул, схватил девушку на руки и побежал к саням. Но перед самым возком что-то сильно ударило его в плечо, он споткнулся, упал на Еленку и не смог встать, почувствовал, как от плеча разливается по всему телу горячая, рвущая боль. Он усилием скосил глаза и увидал над плечом оперенный конец стрелы. А Еленка бессвязно кричала и била его кулаками, требуя свободы. Вдруг мощные руки подняли его, он оказался на соломе, увидал рядом онемелое лицо Еленки, огромные Гнатковы сапоги, услышал свист кнута и обезволился.

На загнанных лошадях добрались они до гродненской заставы, где сидели уже трое других спасшихся волковысцев. Здесь Юрию вырвали из раны стрелу, он очнулся, им дали выпить. Еленка в тихом безумье постанывала: «Ох, не хочу, не хочу, не надо!»

Через три часа они вернулись назад с полусотней гродненского наместника. Лишь пустые сани стояли на льду среди замерзших луж крови. Ни побитых волковысцев, ни мертвых немцев, ни убитых лошадей. Санный след засады уходил в глубь леса, а посреди реки темнела уже прихваченная ледком широкая прорубь. Кто-то разбил ледок — красная вода стояла в неманской иордани.

Стражники сняли шапки, помолчали над водяной могилой и зарысили в Гродно.

Еленка легла возле Юрия, Гнатка тронул коня, и они поехали домой, в Рось, по выбитому копытами, прорезанному полозьями следу.

## ГРАДЧАНЫ. 15 ФЕВРАЛЯ

Ко дню объявления чешским королем Вацлавом декрета о споре ордена с Польшей и Великим княжеством Литовским собрались в Праге крыжацкие, польские и ли-

товские посланцы. Представлявшие Витовта боярин Ян Бутрим и нотарий Миколай Цебулька ехали из Кракова вместе с посольством Ягайлы, вместе и остановились на постоялом дворе в Старом Месте, неподалеку от Карлова моста.

Девятого утром чем попышнее оделись и направились в Градчаны, во дворец, слушать Вацлава. Ничего выгодного для себя от королевского решения не ожидали, предсказывали, что Вацлав рассудит несправедливо, на корысть орденской стороне, но король всех поверг в изумление — и выступавших от имени Ягайлы познанского епископа Альберта Ястжембца и королевского маршалка Бжезинского, и нотария Дунина, и Бутрима с Цебулькой, и крестоносцев, главой у которых был великий госпитальничий Вернер фон Теттинген. Всех в равной мере ошарашил. Вышел к послам, поморщил пухлые губы и без тени стыда на землистом от разгульной жизни лице сообщил, что ожидаемого послами решения он принять не успел, ибо вопрос непростой, а у него своих дел в предостатке. И ушел. Все три одураченных посольства надолго онемели, потоптались, приходя в себя, облаяли мысленно Вацлава бараном, дубиной, подлецом и покинули дворец.

Вернувшись на постоялый двор, сели раздумывать, что делать: настаивать на декрете или отъезжать домой? «Справедливое решение Вацлав, конечно, не примет,— говорил маршалок Бжезинский,— а настаивать ради несправедливого — какая же нам польза? Пусть лучше Вацлав выглядит глупцом, чем мы — простаками». Решили отъехать. Но вечером прибыл дворцовый гонец с извещением — король объявит декрет через неделю, пятнадцатого февраля. Только и оставалось расхохотаться: то четыре месяца дураку не хватило, то неполной недели достаточно; не зря у него все вкось-вкривь идет.

Скоро от сочувствующих полякам чешских панов узналось, что орденский посол Вернер фон Теттинген ежедневно встречается с маркграфом моравским Йодоком; Йодок же пользуется немалым влиянием на короля. Сомнений не вызывало, ради кого постарается враждебный польской короне мстительный маркграф. Узналось еще, что король Вацлав сам принял Теттингена и уделил беседе с ним целых полдня — это при своих-то якобы важнейших делах,— и выплыло, что Мерхейм еще в декабре привез королю гостинец из ордена — шестьдесят тысяч флоринов чистоганом. Стало ясно, что сейчас фон Теттинген требует возмещения. И все немецкое, сочувствующее ордену окружение Вацлава как-то согласно и дружно задвигалось, засуетилось, по-

шло надавливать на слабую королевскую волю.

Польские и литовские послы, мотая на ус эти неблагоприятные сообщения, задумались: уступит или не уступит Вацлав натиску крыжаков? Казалось, и многое подсказывало верить, что не должен был уступить — множество обид претерпел от немцев. На императорском троне после отца сидел двадцать лет — немецкие князья сбросили и прогнали; родной брат, Сигизмунд венгерский, в темнице полтора года держал, конечно не без немецких подговоров; немцы Вацлавом недовольны, тычут, упрекают, насмехаются, желали бы и с чешского трона согнать; с Прусским орденом вовсе не приятельствует, более того — враждовал, сам выпер крыжаков из Чехии, отнял себе их имущество и земли; трех месяцев не прошло, как нанес немцам гулкую пощечину — Кутногорским эдиктом освободил Пражский университет от немецкого засилья, тысяча оскорбленных, разъяренных немцев выехала в империю, призывая на Вацлава проклятья. Так что вроде бы не за немцев и теперь удобнейший имеет случай чувствительно их ущипнуть, сказав правду: крыжаки — захватчики, ведут себя неправо, дерзко, грубо и должны вернуть Жмудь Витовту, Добжин и все польские убытки от осенней войны — Ягайле. Примет не примет такой декрет орден — дело второе; понятно, что не примет, но справедливое третейское решение далеко бы отозвалось, сильно бы ущербило орден перед летней войной.

Однако вряд ли он отважится на подобную смелость, рассуждали послы. Вацлав за здравие начнет, за упокой кончит. На немцев зол, но на них и оглядывается в тщетных своих расчетах вернуть императорский престол. Десять лет прошло, как курфюрсты его Рупрехтом пфальцским заменили, но корону до сих пор не вернул, по сей день именует себя императором «Священной Римской империи немецкой нации» и, стало быть, раздражать князей, расположенных к Прусскому ордену, сочтет делом рискованным, неосмотрительным, излишним.

Воли нет, ума зоркого нет, болтается, как щепка на воде, твердого берега разглядеть не умеет; воля хилая, отсюда и беды. В своей же Чехии неспособен навести порядок, грызня какая-то злая в народе: немцы кричат, что их чехи обижают, чехи кричат, что их немцы зажимают. Чехам, разумеется, легче поверить. В Старом Месте выйдешь на улицу — и словно в неметчину попал: редко по-чешски, а так все по-немецки горгочут. На голодном месте чех сидит, на сытом, важном, видном — немец, а если чех — то онемеченный. Стенками сходятся воевать. Отца-то, импера-

тора Карла, побаивались, а над этим недотепой курносым открыто смеются. Трудно понять, чего хочет. Одна забота — раздобыть денег и тут же спустить на потехи. А деньги не мыши, сами не плодятся. Одно название — чешский король, а беднее многих своих панов; за золотишко, конечно, на любой смертный грех готов. За шестьдесят тысяч флоринов может и немецкую песню пропеть. У него выбор прост: либо правду сказать по совести, либо за флорины солгать. Понятно, солгать выгоднее, коли в кармане вошь на аркане. И, предчувствуя, что Вацлав выскажется на руку крыжакам, послы вывели: не здесь, не в Праге, решается, быть миру или войне, в Мальборке решается, в имперских немецких княжествах, там за веревку дергают, здесь только звон идет. «От удобного нам декрета,— рассудили послы,— орден откажется, от декрета, удобного ордену, мы отпихнемся; в любом случае летнего столкновения не миновать». И с чистой душой поляки и литовцы стали ждать исхода условленной недели.

Пользуясь свободными днями, Ян Бутрим, впервые попавший в Прагу, знакомился с огромным городом. Трижды в день проезжал по Карлову мосту, ожидая с веселым любопытством, что тяжелые камни обвалятся и он вслед за ними рухнет в темную Влтаву. Нарочно спускался к реке глядеть на каменные опоры, упроченные клиньями ледоломов, на сводчатые полукружья, нависшие над водой. Изумлялся: не чудо ли — полверсты тесаным камнем перекрыли! А уж костелов! Во всем Великом княжестве меньше, чем в чешской столице. И уж костелы! Что там виленский или новогрудский — низкие, темные, крытые гонтом; здесь храмы божьи крестами небо подпирают, золотом разукрашены, красками расписаны, облеплены серебром; в таких костелах и молиться не надо, сама собой святость приходит. А костел святого Витта! Прекраснее, верно, на всем свете нет; сразу видно, что тут бог обязательно молитву услышит, потому что отсюда и не удаляется, до того ему здесь приятно,— сидит на алтаре, любуется золотыми своими ликами, цветными стеклами в узорчатых окнах, завитками резного гранита. Задерешь голову — далеко в вышине играют стрелами своды; стекла одного в окнах на тысячи дукатов поставлено, во всей Литве меньше стекла, чем в этих святовитовских стенах. Да что стекло! Кабы стеклом только разнились! А башни, а ратуши, а мощеные улицы? В одной Праге во сто крат больше каменных домов, чем во всех городах Великого княжества. Что у нас каменного-то, думал Бутрим. Десяток замков да деся-

ток церквей. А здесь какой-нибудь замухрышка купчишка — мясом торгует, шерсть валяет, седла шьет,— а у него домище кирпичный, наши лучшие бояре таких не имеют, жмутся в тесных избах вкупе с челядью.

Здесь, в Чехии, да и у поляков то же самое, пан — это пан, человек вольный, иначе живет, чем мы — боярство литовское. Наши повинностями, податями обложены, точно волки в загоне; замки строить — людишек дай, дороги чинить — шли, гатить топи — гони, жито — дай, меха, коней — подавай; голоса своего не имеешь, согласен не согласен — помалкивая делай, и точного места не знаешь: сегодня князь Витовт в Прагу послал, завтра взойдет на ум, не стой ноги встанет,— у тебя твое отнято, будто и не было, другой владеет. Чешская и польская шляхта устроилась правильно, домоглась свобод, завидовать остается. Король, спору нет, нужен, без него нельзя, пусть правит, но он по себе, паны по себе, у них свои земли, у короля свои; панских, шляхетских король не касается. Ну, если война — другое дело, тут и обложение гривнами можно стерпеть, и все должны ополчаться, слушаться великой воли, рушиться на врага и биться, как рыцарская совесть велит. А в мирные годы им до короля и дела нет. Чем наши бояре хуже? Стали христианами, как поляки и чехи, так и права не меньшие должны получить. А то крест надели, носим, а к нему — почти ничего. Как было встарь, так и ныне остается. Начнешь говорить с каким-нибудь паном, сравнивать их и свое житье — никакого сравнения, даже стыд признаваться, какими путами опутаны, как в своей жизни не вольны. Тот важничает, чванится: у нас король — первый среди равных, а у вас один великий князь свободен, а все прочие ему рабы,— нечего возразить.

Ну, ничего, утешительно думал Бутрим, и у нас переменится: вот побьем крыжаков, заслужим мечами — и мы освободимся. Витовт высоко вознес Великое княжество, на куски, на уделы разваливалось — сплотил, и нас — свою опору — вознесет. Как чешские и польские паны, будем жить. Горькой завистью были пропитаны эти мысли. Он сам чувствовал их злую горечь. Уж как не распаляй воображение, а города, равного Праге, ему у себя на Литве не увидать. Может, внук и увидит нечто подобное, какую-нибудь одну улицу или один костел, похожий на пражские, но он нет. Труда много надо, столетие уйдет, чтобы камнем запастись, мастера нужны, забота, деньги подводами. А у нас так: есть курная хата — и слава богу. Что боярин, что холоп, в дыму вырастают, зимой на полу возле теленка

спят. Уже не догнать нам чехов. У нас то улицей гордо называют, что у них болотом принято называть. И детей в школе учат, а наши пареной репы нажрутся и счастливые. И для детюков император Карл открыл университет, а наши, как были бараны, так и остаются — ни по латыни, ни по-немецки, ни по-польски слова не прочтут и не напишут. Нет, решил Бутрим, пришлю сюда сына, пусть учится, на человеческую жизнь посмотрит.

Но не все нравилось. Больше всего не понравилось, что обокрали посеред белого дня: так ловко срезали кошелек с полусотней дукатов, что только перед сном и хватился, цап-лап за кошелек, снимая пояс,— пустое место. Двух своих паробков чуть с досады не убил — куда глазели? Как вора проморгали? Зарежут у вас на глазах — просмотрите! Но чувствовал, что сам виновен: не их облапошили — его, сам ворон считал, на кресты, иконки умилялся. Вон, у костелов стаями сирые сидят — и слепые они, и безрукие, и глухие, а прошел мимо — вмиг полста дукатов исчезло, словно языками слизали. И немудрено здесь стать обворованным — разнузданность чрезмерная в людях: оборвыши сотнями таскаются, следят, что плохо лежит; блудницы бесстрашно гуляют, и никто дубиной их целомудрию не учит; народ в толпы сбивается, шумит, буянит, явно бунтует.

Нет, слаб Вацлав, город свой в узде не держит.

Наслушавшись рассказов Цебульки о магистре Гусе, лекции и проповеди которого нотарий слушал, когда учился в университете, Бутрим решился посетить Вифлеемскую часовню. Сходил — ужаснулся. Этакий-то овин называют самым интересным местом Праги! Что снаружи, что внутри — скудость, бедность, просто убогость, будто немцы за лупами приходили и ободрали как липку. Просто голые стены! Народу же набилось тысячи три, молиться надо — и в помине нет спину ломать, и кому молиться-то, коли пустые стены? Священник с кафедры яростно, страстно кричит, в ответ толпа страстно ухает; не моленье — вече какое-то перед битвой; бог сюда и ногой не ступит — отпугнут криками.

За вечерним кубком вина поделился впечатлениями с епископом Альбертом Ястжембцом.

— Вы, пан Ян, главного смутьяна чехов слушали,— ответил епископ.— На него здесь больше, чем на Иисуса Христа, молятся. Даже Вацлав слушать приходит. Гус церковь предлагает донага очистить, чтобы священник беднее последнего холопа жил. Вацлаву и выгодно.

Бутрим удивился.

— Церковь в Чехии большими угодьями владеет,— пояснил Ястжембец,— только пражскому архиепископству под тысячу сел и местечек подчинено. Вацлав спит — конфискацию церковных земель во сне видит. Сразу бы увеличил свои мизерные доходы. Тут путаница страшная, пан Ян, тут адское варево кипит, без домашней войны едва ль разберутся. Сам Вацлав и заварил. То нелепую войну против панов вел — проиграл. То на помощь папы Григория вознадеялся. Папа, разумеется, вернуть имперский трон не помог. Вацлав обиделся и стал стараться об утверждении нынешнего папы Александра. И сейчас здесь суета, все дерутся: король за нового папу, архиепископ за старого, даже интердиктом облагал Прагу; Вацлав в ответ у многих епископов поместья отнял; Гус, тот вообще против всех — римской церкви, богатства, панов, немцев. Священники здесь и впрямь под бесами ходят: кто пьянствует, кто блудит, кто безудержно грабит. Содом и гоморра! Помянете мое слово, пан Ян: Прагу господь огнем поразит. А самое худшее, что гусовская зараза и к нам перетекает: неумные головы под устои нашего костела подкоп ведут, уравнять ксендза с мирянином мечтают.

Бутрим хоть и подумал: «Чем же ксендз лучше боярина, вот, к примеру, меня?» — но смущать почтенного епископа таким вопросом не стал. Спросил:

— Что же Вацлав медлит? Посадил бы крикунов в подвалы — и делу конец!

— Вовсе нелегко! — усмехнулся епископ.— Его со всех сторон обложили, как в осаду взяли, не вырвется: поддержит чехо́в — немцы вскинутся, поддержит немцев — чехи ополчатся, поддержит Гуса — проклятья церкви сорвет, поддержит епископов — шляхта, ремесленники, хлопы разъярятся. Он всем понемногу уступает, с каждым понемногу воюет, и за что ни возьмется, все ему выходит боком. Так ему на роду написано. Вацлав, я думаю, уже и не рад, что в посредники напросился: кто войну выиграет — неизвестно, а с кем-то — либо с нами, либо с орденом — надо рассориться; рассорится с нами, а мы возьмем, крыжаков сломаем — сразу непримиримого врага получит на голову. Но Вацлав как рассуждает, чем себя успокаивает? Крыжаки, мол, всегда побеждали и на сей раз победят. Побьют поляков и литву, вспомнят: «Вацлав-то нам удружал!» — и вернут хорошее отношение. Простак, а за тонкое дело берется.

— Это всегда так,— заключил Бутрим.— Кто свое решить не умеет, чужое решать спешит.

Накануне объявления декрета Микалаю Цебульке старый университетский приятель, служивший нотарием на королевском дворе, сообщил оглушительную новость: декрет будет зачитан на немецком языке и содержание его от первой до последней буквы нацелено против Ягайлы и Витовта. Но что именно Вацлав называет в своем, продиктованном крыжаками решении, нотарий не знал. Неприятный был вечер. Готовы были к тому, что Вацлав наплюет на справедливость, но, чтобы впридачу и оскорбить немецким текстом, такого не ожидалось. Оба посольства свирепо ругали короля, измысливали, как избежать оскорбительного слушания. Судили-рядили и вырядили довольно удачно: если действительно начнут читать декрет по-немецки, на языке, крыжакам родном, а нам — чуждом и неприятном, тут же вежливость забыть, повернуться и уйти; крыжаки Вацлаву заплатили, пусть за свои денежки и слушают. А если, вопреки предостережению, декрет объявят по-латыни, тогда слушать.

Но как Цебульку предупредили, так и сталось. Лишь вошли в тронный зал, увидели самодовольного фон Теттингена, насмешливый, хитрый взгляд Йодока, веселые рожи немецких прихвостней, сразу уразумелось — приготовлен им здоровенный кукиш, можно назад поворачивать, пока к носу не поднесли. Долго ждали Вацлава, наконец он появился с какой-то щепкой и ножичком, кивнул послам и, став возле трона, начал, как дитя, стругать деревяшку. Зачем ему в такой важный момент потребовалось выстругивать чертика, что он желал этим подчеркнуть, на что намекал — понять было невозможно. Единственное напрашивалось объяснение: балда, стружка в голове, вот и строгает. Ему в плотники бы, может, и хороший был бы плотник, а он трон занимает. Появился нотарий, по кивку Вацлава взошел на возвышение, развернул пергамин и закаркал по-немецки: «Божьей милостью король римский и король чешский Вацлав...» Поляки с литвинами переглянулись и демонстративно, не откланиваясь королю, пошли к выходу.

У Вацлава деревяшка выпала из рук от гнева.

— Куда? Почему?

— Мы по-немецки не понимаем,— ответил Збигнев Бжезинский.— Идем туда, где нам на понятном языке прочтут.

— А вот сейчас по-чешски объявят! — сказал Вацлав.

— Мы и по-чешски не понимаем! — ответил маршалок.

— Не трудно понять,— возразил король.— Языки — одинаковые.

— Языки, светлейший король, звучат одинаково,— улыбнулся Збигнев,— но разное означают. По-чешски, например, седляк — тот, кто владеет землей, по-польски же седляк — тот, кто владеет всего лишь шилом.

И оба посольства, не оглядываясь на взбешенного Вацлава, покинули тронный зал. Но уже через час герольд вручил им решение, записанное по-польски и скрепленное королевской печатью. Устно же передал приглашение прибыть к вечеру на пир, которым чешский король отмечает свои миролюбивые усилия, отраженные в декрете. Не стоило и читать пакостное сочинение, но любопытство жгло — что крыжаки в непутевую Вацлавову голову вложили? На что во всеуслышание зарятся? Сгрудились вокруг стола, епископ Альберт Ястжембец надел очки и стал зачитывать вслух статьи решения. Уши отказывались слушать, глаза смотреть, сердце верить. С подозрением оглядели печать: есть ли на ней знак креста? не припечатан ли пергамин дьявольским копытом? Только бес мог написать такую мерзость. Чушь, бесстыдство, крыжацкая наглость гремели в каждой статье, за казуистикой словосплетений скрывалась оголтелая дерзость.

«Каждая из сторон,— читал Ястжембец,— остается при своих землях и людях, на которые имеет право на основе грамот римской столицы, императоров, королей и князей...» Все яростно негодовали. «Выходит,— бил кулаком о стол Бутрим,— вся Литва и Русь принадлежат ордену! Какой-то там император подарил нас ордену в прошлом веке! Или с дарственных Миндовга отрясут пыль!» «Выходит, мы на наше Поморье потеряли права,— кричал маршалок,— если немцы Казимира Великого вынуждали к уступкам!» «Ловкачи! Хитрецы! Прожоры! — наперебой шумели послы.— Этак у нас и земель своих нет, на чужих живем! Этак, если смотреть, то, конечно, они — овцы, мы — волки, все у них отняли — и Жмудь, и Русь, и половину Польши!»

«Ни одной из сторон,— продолжал епископ,— нельзя пользоваться помощью неверных и нельзя помогать неверным в борьбе против другой стороны...» Тут уж столь явно выпирало желание разъединить Корону с Великим княжеством, что все дружно расхохотались. А-а, не нравится против обоих воевать, страшновато? Поодиночке, ясное дело, легче ощипывать. Верные, неверные — мечи с равной силой крыжаков секут. И кто неверные-то? Литва? Уже четверть века, как крещены. Русь? Крест с незапамятных времен носят,

как и поляки. Жмудь? Что ж сами не окрестили, она вашей была до восстания?

Ну и Вацлав, качали головами, ну и сочинил: «Польше по кончине короля Владислава нельзя избирать на трон литвинских князей, а лишь из христианских западных стран». Это кого же? Может, сам Вацлав мечтает дожить? Его? У немцев не удержался — на польский престол хочет сесть. Или Сигизмунда? Или Йодока? Вот размахнулся! Панам своим так диктовать не смеет, как нам отважился. Не раньше ли срока? Вот выиграйте войну, разбейте верных вместе с неверными, если удастся,— тогда и прикажете, с кем дружить, кого выбирать, чем владеть. А по крыжацкой мерке мир — за Добжинскую землю отдать Жмудь, разорвать унию княжества с Польшей, выгнать Ягайлу, посадить Вацлава,— такой мир нам не нужен, не примем.

Повозмущались, пошумели, насмеялись над Вацлавом всласть и успокоились: в Праге несправедливо решилось — ратники топорами справедливо решат. Что с дурацкого, злого слова горевать, пойдем на пир весело, пусть король и крыжаки злятся, что мы грамотку эту мимо ушей, как собачий лай, пропустили.

## МАЛЬБОРК. 25 ФЕВРАЛЯ

Утром срочный гонец доставил секретное донесение из Венгрии. Ягайла и Витовт через родственника польской и венгерской королев графа Цилейского договорились с Сигизмундом Люксембургским о съезде, который предполагается провести в Кежмарке в первые дни апреля. Прочитав письмо, великий магистр помолился: «Спасибо, господи, что не оставляешь орден своей заботой. Вот новый знак твоей милосердной любви. Воистину, кого ты хочешь погубить, тех лишаешь духовного зрения, чтобы, подобно баранам, брели на край гибельной пропасти. А дело ордена — указать им ближний путь к пропасти и вбить внизу заостренный кол для услаждения слуха небесного отца предсмертными воплями дерзких язычников. Ибо кто против ордена, тот против бога».

Великий магистр велел слуге найти великого комтура, великого маршала и казначея и сказать, что брат Ульрик просит братьев к себе.

Глупейшие потуги Ягайлы и Витовта, думал фон Юнгинген, лишний раз доказывают притупленность их языческих умов. Старым волкам отказало чутье — верная примета близкого издыхания. Тем более следует его ускорить.

Карающий меч, который вложен господом в десницу ордена, не может достать злобных глупцов, когда они прячутся в своих конюшнях на Вавеле или в Троках. Если бог выталкивает их из нор для пустой поездки, то долг ордена удовлетворить давнюю жажду небес. Эти осквернители веры, надевшие кресты поверх вонючих языческих кожухов, должны умереть. Они не страшат орден, они противны ордену. Орден рыцарей черного креста никого не боится, силу его умножают реликвии апостольской церкви: оправленное в золото настольное распятие из дерева креста, на котором принял муки Спаситель; и заключенная в драгоценную раку частица мощей святого Либория; и кусочки одежд богоматери, в которых она рыдала над телом замученного своего сына; и веточки Моисеевой неопалимой купины; и молочный зуб Марии Магдалины, взятой на небеса к подножию божьего престола; и частица мощей святой Екатерины, которую преподнес ордену император Карл IV.

Не страх требует убить Ягайлу и Витовта, вовсе не страх, лишь завещанная Спасителем забота о христианской крови, бережное отношение к каждой христианской душе. Ибо много лелеемых ангелами жизней будет спасено, если не дойдет до большой битвы, если обе волчьи стаи лишатся своих вожаков. Бог, предоставляя ордену столь благоприятный случай, не простит промедления, жалости, смиренного ожидания. Когда обе стаи жили раздельно, орден мог не слушать их злобный лай, прикармливая или наказывая каждую в отдельности по своему усмотрению или натравливая одну на другую, чтобы обе затем подолгу зализывали кровоточащие раны. Но если на бедного путника налетают два бешеных пса, ему тяжело. Орден уже понес горькие потери, отказавшись ради этой войны с язычниками от морского могущества, от дорогостоящих побед над Ганзейским союзом. Выгоды внезапной гибели в Кежмарке двух главных врагов ордена, гибели, без сомнения, приятной небу, столь очевидны, что в случае удачи будет необходимо возвести новый храм во славу святых патронов немецкого рыцарства.

Зазвенели шпоры — в залу входил опоясанный мечом, в тяжелом дорожном плаще великий комтур Куно фон Лихтенштейн.

— Прошу простить, брат Ульрик, если запоздал,— заговорил комтур,— но я только сошел с коня.

— Нет, брат Куно,— ответил Юнгинген,— хоть ты и был в пути, ты пришел раньше прочих.

Но и прочие — великий маршал Фридрих фон Вален-

род и казначей Томаш фон Мерхейм — уже переступали порог.

— Прочтите, братья, что пишут нам из Венгрии,— сказал великий магистр.— Узрите волю господню.

Сановники, сойдясь плечо к плечу, стали читать.

Наблюдая за ними, магистр с удовлетворением отмечал, что каждый осознает важность венгерского сообщения, необходимость решительного действия.

— Сядем, братья — пригласил Юнгинген.— Дело наше серьезно, не будем гневить бога, решая его второпях.

Задвигали креслами, сели.

— Вчера прибыло наше посольство, ездившее в Прагу,— сообщил великий магистр.— Чешский король Вацлав после долгих раздумий и свойственных его легкомыслию колебаний вынес подсказанное господом богом решение. Оно ставило преграду войне, и мы полностью согласны с его условиями. Орден готов заключить с Польшей вечный мир. Единственное требование к полякам, как точно сказал король Вацлав,— отказаться от помощи неверным и недоверкам. Впрочем, братья, это трудно назвать требованием. Это призыв к исполнению христианского долга. Справедливо и то рассуждение Вацлава, что Жмудь, Литва и Русь принадлежат ордену по дарованным грамотам и польский король не имеет на них прав. Бог, как известно всему миру, не возлагал на поляков апостольской миссии, это дело немцев, и орден всеми доступными силами будет его исполнять, как исполнял прежде, когда римские папы благословляли крестовые походы на языческие земли Жмуди и соединившихся с ними русинов. Небу противно терпеть на христианском престоле Польши литовских неофитов, и мы вполне разделяем требования короля Вацлава, чтобы по смерти Ягайлы этот престол занимали князья западного воспитания, происходящие из семейств, нарочно созданных творцом для несения монарших забот. Так, с божьей милостью, наследуются престолы во всех странах, так делается у венгров и в Чехии, и так должно быть в Польше. Увы, братья, эти скромнейшие условия отвергнуты с пренебрежением. Поляки и литвины жаждут войны. И они ее получат. Орден долго нянчился с ними, вместо того чтобы сразу утопить, как поступает радивый хозяин с лишними или неудачными щенками. Настал час исправить прошлые ошибки. Двоюродные братья собираются в Кежмарк. Ордену зачтется как благо, если там пресекутся эти две вредные делу мира жизни.

Братья согласно наклонили головы.

— Одна минута,— продолжал Юнгинген,— будет стоить всей войны. Гибель двух коронованных язычников снимает с ордена тяжкое бремя расходов и забот, сразу разрушится противоестественный союз Польши с Великим княжеством. Врагов ордена охватят смятение, паника, междоусобная грызня. Ни в Кракове, ни в Вильно нет князя, способного взять в руки польский скипетр. Кто способен, кто достоин вести Польшу, будем решать мы. Наконец, скоропостижная кончина Ягайлы и Витовта в Кежмарке, скажем, от отравления рыбой, не бросает тени на орден. Мелкие неприятности, которые доставит это происшествие венгерскому королю, можно легко искупить несколькими тысячами золотых.

— Он получил триста тысяч,— напомнил казначей.— Эта война крепко уменьшает наши запасы. Триста тысяч ему, шестьдесят тысяч Вацлаву за мудрость декрета, предстоящая оплата десяти тысяч наемных копий...

— Ну, если король и князь исчезнут,— сказал Валленрод,— наемники не потребуются. Да и Сигизмунду еще не плачено, обойдется и меньшим.

— Ради великого дела ордена,— возвысил голос великий магистр,— каждый из нас, братья, готов пожертвовать жизнь. Стоит ли говорить о флоринах? Пусть упивается ими погрязший в грехах Сигизмунд. Я готов дать ему в полтора раза больше, лишь бы в Кежмарке свершилось то, чего хочет господь.

— Не думаю, братья, что это будет легко,— сказал великий комтур.— И Ягайла и Витовт потребуют от Сигизмунда охранных грамот. У каждого будет свита тысячи в полторы. Каждую минуту и днем и ночью их будет окружать кольцо панов и бояр. Ни тот, ни другой не пьют, любое блюдо будет опробовано, смельчак, обнаживший меч, будет тут же зарублен. Единственная возможность — окружить Кежмарк кольцом и вырубить поляков и литву полностью. Но Сигизмунд никогда на такой решительный поступок не согласится.

— И что, брат Куно, ты предлагаешь? — спросил фон Юнгинген.

— Милостивый бог не дал Ягайле детей,— ответил комтур.— А ему шестьдесят четыре года. Пусть живет. Достаточно уничтожить Витовта, что намного проще, чем покушаться на обоих. Насколько я знаю литовские дороги, князь поскачет из Вильно на Брест, а из Бреста в Люблин. Можно выслать две-три хоругви в засаду или же напасть на князя врасплох, когда он остановится ночевать.

— До Бреста четыре перехода,— возразил Валленрод,— пройти их незаметно нельзя.

— Что ж, можно ждать Витовта под Слонимом. Два перехода от наших границ. Рыцарей можно одеть в кожухи или в татарские халаты. Вдобавок смелый наезд и разрушение Бреста или Слонима посеют смятение.

— А что думает брат Фридрих? — спросил великий магистр.

— Соглашаюсь с братом Куно.

— А брат Томаш?

— Не знаю, не знаю,— сказал казначей.— Витовта охраняет дьявол, и трудно поверить, что он попадется в столь простую ловушку, как дорожная засада. Надо выслать десятки людей на дороги и в города, чтобы знать путь князя, держать десятки гонцов. Сложно.

— Разумеется, нелегко, брат Томаш,— согласился великий комтур.— Но что ж делать? И потом, братья, мне не верится, что старый лис Ягайла при его подозрительности, недоверии и крайней лености пустится в эту рискованную поездку. Можно не сомневаться: если мы думаем о нем, то и он думает о нас, о том, что измыслят против него орден или король Сигизмунд. Уверен, что он найдет повод остаться в Вавеле.

Трудно было возразить великому комтуру, и братья долгое время молчали.

— Однако что получается? — прервал раздумья Мерхейм.— Мы ломаем голову, оплачиваем Вацлаву по тысяче за словцо, а наши ливонские братья спят. Словно их не касается. Словно Витовт никогда не ездил на порубежье в Биржи, на охоту в Жмудь. Словно мы обязаны, а они нет. С места не сдвинутся по своей воле. Не их боятся, они боятся.

— Да, хитрят,— закивал Валленрод.— Хотят отсидеться за нашей спиной. Они и летом от войны отвертятся. Сидят в своих замках, как курица на яйце. Никакой пользы.

— Можно и ливонцев понять,— урезонил их магистр.— Возьмем прочно Жмудь — переменятся. А сейчас что? Они на отшибе. Бросит на них Витовт полки — ничего не останется. Нам же и вред. Им Витовта искать, рубить, что в капкан головой. О них после подумаем...

Вдруг Куно фон Лихтенштейн расхохотался, словно поймал наконец спасительный вариант решения.

— Будет неплохо, если Витовт поедет к Сигизмунду один,— предположил комтур, хитро поглаживая бороду.—

Вспомним, братья, Салинский мир, когда боярская сволочь закричала: «Славу Витовту — королю Литвы и Руси!» Радость доставили язычнику эти пьяные крики. Пусть Сигизмунд предложит ему королевскую корону. При одном, разумеется, условии — разорвать союз с Ягайлой и никогда не произносить «дедич Жмуди». Жмудь — орденская земля...

— Что ж он, дурак, чтобы попасться в эту ловушку? — усомнился казначей.

Валленрод мученически кривился.

— Братья, о чем мы думаем? — призвал он.— Какую корону? Кому? Пусть дьявол коронует Витовта. На том свете. Не вижу лучшего средства, чем сжечь Кежмарк вместе с Витовтом и Сигизмундом. Никаких затрат, только на солому.

Великий магистр ударил рукой по столу:

— А что, брат Фридрих, в главном ты прав! Мне это нравится! Меч, нож, стрелы, яд — они позаботятся все это отразить. Но Витовту в голову не придет, что его могут испечь на костре, как теленка. Но, само собой, не должен пострадать король Сигизмунд. Старый друг лучше новых двух. Поэтому сделаем так: силами двух полков наскочим на Витовта по дороге из Вильно в Брест. Согласен ли ты, брат Фридрих, вести эти полки?

— С удовольствием! — откликнулся великий маршал.— Это угодно нашей заступнице деве Марии.

— Если Витовт уйдет,— развивал план магистр,— встретимся в Кежмарке. Пусть Сигизмунд предложит короноваться. Согласится — пощадим. Если откажется или, по своему языческому обыкновению, начнет хитрить, подожжем город и в начавшейся панике князя и послов посечем. Для этого потребуется нанять местный сброд.

— Брат Ульрик, неужели ты считаешь возможным,— удивился Валленрод,— посвятить Сигизмунда в это дело?

— Почему бы нет? Конечно, в самых общих словах.

— Захочет ли он губить город?

— За деньги он мать родную сожжет, а уж никчемный Кежмарк сам обложит дровами,— сказал магистр, но сразу же раздумал: — Впрочем, лучше не пугать его. Еще сдуру помчится тушить. Что ты думаешь, брат Томаш?

— Можно попытаться. Если бог выкажет милость — исполним.

Поглядывая на братьев, великий магистр теплел сердцем. Завтра колесо покушения покатится: будут отправлены на Русь купцы, старцы, скоморохи, пойдут секретные

письма на немецкие дворы в Вильно и Брест, поскачут гонцы в Венгрию, брат Куно отправит толкового, делового человека в Кежмарк,— колесо покатится и сомнет одного из врагов. Его не станет. Вздохнет наконец спокойно земля, и облегченно вздохнет орден. Останутся сами по себе, без литовской помощи, поляки и будут наказаны. Взвоют вероломные литвины.

Впрочем, остановил себя магистр, что ордену Витовт, что Ягайла? Врозь они или вместе — разница невелика. Пусть держатся парой — тем больше крови попьют орденские мечи.

Ульрик фон Юнгинген встал и сложил на груди руки для молитвы. Братья последовали примеру своего магистра.

## ДВОР БЫЛИЧИ. НАЕЗД

В середине того дня, когда отправились к чудотворной сестра с матерью, Мишка Росевич поехал наведать Ольгу. Пересекая шлях, по которому ушел в Гродно обоз, видя санную колею, взрыхленный множеством копыт снег, мысленно видя этот веселый поезд в поле, в стремительном, звонком движении, Мишка испытал горячий удар крови в сердце, искренне и трепетно разволновался, проникаясь чувством, что и сам, подобно сестре, едет сделать одно из важных дел жизни, сказать и услышать слова, означающие перемену судьбы.

Впервые после болезни сев верхом, Мишка на второй версте дороги утомился, рана растряслась, и он невольно припомнил слова Кульчихи, что раньше пасхи ему не ездить. Мишка слез с коня и пошел пеше, утешая себя мыслью, что и Кульчиха всегда пешком ходит, и горемычный лирник тоже обходится без коня. Это его в чем-то смирило; он даже развеселился, что идет в гости к любимой, на важную для себя встречу, как старец или нищий чернец. И когда он, насквозь промерзнув, достиг двора, стукнул в ворота и грубый голос спросил: «Кого несет?», он шутливо, но с понятной себе правдой ответил: «Странник божий». Над воротами высунулась лохматая голова Рудого, и сразу же застучали снимаемые запоры.

Встреченный Ольгой, Росевич вошел за ней в избу, сбросил кожух, хотел сесть на лавку и вдруг, следуя указке сердца, шагнул к Ольге и нежно, бережно обнял. Он почувствовал, как напряженное ее тело расслабляется в кольце его рук, как она льнет к нему, роднится с ним, услышал,

что она плачет, и прижал крепко, как несчастного ребенка, который жаждет довериться и получить защиту. Они стояли в этом безмолвном объятии, поводя пальцами, как слепцы, по лицам друг друга, в той особенной радости жизни, какую испытывают лишь люди, нашедшие друг друга после разлуки и бедствий долгой войны. Он заглянул ей в глаза:

— Поженимся, Ольга!

Она кивнула и прижалась к нему со слезами жалобы и любви.

Потом Ольга сказала:

— Надо дождать год. Два месяца только, как Данила умер...

— Дождем,— успокоил Мишка.— Что год, если жизнь жить вместе.

Он сел, она суетилась — радостная, красивая, смущенная. Мишка зачарованно за ней наблюдал.

— Иди сюда,— позвал он.

Когда она села рядом, плотно прижимаясь к нему плечом, горячечно вздрагивая от этой близости, он стал говорить, как думал о ней, уходя от смерти в хате шептуньи, как она ему снилась, как впервые увидал ее на замчище в Волковыске давным-давно, потом увидел невестой — тогда сердце начало точиться тоской, он понял, что любит ее, и завидовал Даниле...

Ольга тоже открылась, что никогда не была счастлива, годы прошли в горечи и нудной тоске и в день свадьбы, увидев его здесь, на пороге, в один миг поняла, что погибла, и жила только, чтобы хоть изредка увидеть его, думала о нем, видела его, как наяву, рядом с собой, вот как сейчас, грезила идти рядом с ним по дорогам, куда-нибудь далеко, долго; она так хочет жалости, так настрадалась, потому что мало кто знает, как это мучительно, какая это пытка для души — ждать, ужасаясь, что вот завтра, сегодня, скоро явится нелюбимый человек и будет здесь ходить, злобно поглядывать, окрикивать; она не из терпеливых, не из смирных, но что-то удерживало, надежда удерживала, что увидит его, что случится ее счастье, не кончена жизнь, не вся покрыта мраком. Пусть он не думает, что она злая, ведь он и не знает всего, что здесь испытано за этот плен; когда она встретила их, раненых, на дороге, хотелось к нему сесть на подводу, руками бы рану гоила, сердце кровью облилось, когда увидела его, истаявшего в тень. Данилу было жалко, а думала о нем, о Мише, мыслями рядом была, может, Данила и помер, что она в душе за его жизнь не молилась.

Мишка отвечал: позади беды, прошли, забудется прошлое, теперь им будет счастье, она настрадалась, он натосковался, будут любить и радоваться друг другу, он — ей, она — ему. Жаль, что ждать год, но нетрудно и дождать, чтобы ей было ясно на душе, а осенью он вернется из похода и заберет ее, они навек сойдутся вместе. Ольга плакала: «Зачем же поход, Миша? Не хочу я тебе походов». А он говорил: «Ничего. Этот не самый страшный. Были похуже, когда совесть свою губили, а здесь против немцев».

И опять каждый вспоминал дорогие, самые важные мгновения из прошлого, в которых открывалась им теперь их судьба, их давняя любовь, их созданность друг для друга в этой жизни. Ольга рассказывала: «Вот иду лугом, знаю, ты в походе, едешь на коне по чужим землям, вижу, слезки растут, нарву пучок и сама заплачу, думаю, и он видит такие слезки, пусть подумает обо мне, и словно вижу тебя сквозь даль, и грустно мне, и радостно думать о тебе. Лягу на траву, уткну глаза в пучок слезок, и мои слезы текут, и счастливо мне от них...» И он рассказывал: «Ночью лежу у костра, кони пасутся, товарищи спят, а я не сплю, гляжу в небо на звезды, а их как зерен — и малые, и крупные, и яркие, думаю, где Ольгина, где моя звезды, думаю, вот эта — моя, а та — твоя, и печалюсь, что не рядом, а тогда выберу две звездочки рядом и радуюсь — вот наши. Вдруг зничка пролетит, я загадываю: моя Ольга. А когда домой возвращался, всегда хотелось налево поворотить с перекреста — к тебе, а не направо — домой...»

Так, прирастя друг к другу, не шевелясь, не притронувшись к еде, говорили беспрерывно, пока не начало смеркаться. Все важно было высказать в чистоте первого объяснения; надо было узнать все слова, что могли быть сказаны раньше, сложись по-иному жизнь, те слова, что думались друг про друга, накапливались в многолетнем вынужденном разлучении в снах, молитвах, грезах, тайных мечтах. Когда совсем смерклось, Мишка собрался с духом и встал:

— Поеду, Ольга. Скоро праздник, увидимся.

На богоявленье Мишка, Софья, отец поехали в Волковыск. На замчище встретилась им в толпе Ольга. Старый Росевич, памятуя об Юрке, поехавшем в Гродно с Еленкой и матерью, сам Ольгу и подозвал: «Будь с нами!» В церкви Мишка и Ольга, стиснутые народом, взялись за руки, как на венчании, только ту испытывали горечь, что не в фате была Ольга, а в черном вдовьем платке. И на во-

досвятье держались вместе. И на обед к Волковичам пошли вместе. И вместе возвращались из города. Мишка и сел в Ольгин возок. До самого перекреста длился счастливый час. «Скоро приеду!» — шептал он. «Каждый миг жду!» — отвечала Ольга.

Но спустя два дня, в тихий вечер, когда Мишка с отцом играли в шахматы, а Софья и тетка Маруша шептались под мурчанье веретена, послышался во дворе Гнаткин голос. Лётом вынеслись из избы: господи, свершилось чудо — Еленка сама, своей силой, с саней встает, к ним шагает, нетвердо еще, шатается на некрепких ногах, но идет, идет. Но и какая-то тревожная неясность всех остудила: Гнатка у саней мнется, в санях Юрка лежит, верховых паробков нет, матери нет — где они? почему нет? И вдруг Еленка падает на колени: «Таточка, Софья! Маму нашу убили!»

Не смерть страшна — она каждого ждет. Страшна смерть негаданная — она тайну судьбы открывает, судьба у всех разная, ее не провидишь. Горькая судьба и страшит: где мнилось счастье — оказалась смерть, воскресенье обернулось в успенье, вместо светлого праздника справляй тризну. Вот канула в неманские воды мать, и на семью нашло духовное помрачение, открылась потусторонняя прорва, дыра в леденящий мрак, куда падают жизни, мучительно отрываясь от живых. И надо постоять на краю этой бездны, чувствуя ее зов, и сказать себе истинную, нелегкую для души правду, принять на себя вину, достойную такой смерти, посовеститься за свою жизнь, когда другая оборвана уже навечно.

Старый Росевич винил себя, что не поехал вместе с женой, доверил ее неумелой обозной охране, и она оказалась в беззащитном одиночестве под мечами крыжаков, звала его, положила себя за Еленку, а он здравствует, в час ее муки праздновал у Волковича.

Мишка горевал, что остался дома по немощи, берег свою рану, свое счастье отыскивал, в церкви мысленно с Ольгой венчались, а мать со смертью обвенчалась на неманском льду. Вспоминалось, ему, как они с Гнаткой заталкивали волка мордой в окно, бабы в избе визжали от страха, а мать звала его на защиту: «Мишка!» и он вбежал с лживым удивлением: «Что, мамка?» И они с Гнаткой, заколов связанного волка, сказали, что убили, и числились спасителями. И вспомнились еще слова Кульчихи про большой страх для Еленки. Вот какой нужен был страх — во всю жизнь не избыть.

А Гнатка винился, что не вывез Марфу из сечи, дол-

жен был взять от Роговича в свои сани, но кто бы тогда Еленку оборонял? Юрка хорошо правил, а стрелял бы кто? А четверым в санях тесно, и как было в той суете все углядеть, все верно сделать? Мгновенья решали. Надо было вернуться к Марфе, биться возле нее и лечь рядом, но Юрку поранили — кто бы их спасал? И все равно: должен, должен был — под его защиту отдались, его силе доверились и обманулись. Грех и боль на весь остаток жизни.

Еленка горько проклинала свое исцеление; такою ценой это чудо окуплено, что совестно ходить и стоять, шагнешь шаг — и в ушах отдается прощальное: «Доченька!» Мать жизнь дала и свою жизнь взамен ее радости положила — как согласиться? А Софья плакала, что нет матери, пустеет обычное ее место, замолк ее голос, не услышится смех, некому рассказать свои страхи; приедут сваты, соберутся на обрученье люди — уже не порадуется она, как мечтала, не скажет благословенья, и проститься с ней не удалось, унеслась на санях морозной ночью, осиротив дом, оставив всех на полную волю...

И все это мученье, отчаянье, боль изливались в голос, в полоумных вскриках, в молении и проклятьях, в переходах ярого страдания в бессильный плач, кручины в бешенство, в толкотне вокруг раненого, полупамятного Юрки, свидетельствовавшего кровавой рубахой и раной в плече жестокую правду беды. Потом бабы накрыли стол, и тут за поминальной чарой, за слезными вспоминаниями пришла ко всем внятность судьбы, обрекшей их память на угнетение, требующей отдать свой дух мщению, чтобы успокоились живые сердца и возрадовались справедливости отошедшие души.

Наутро решили ехать в Волковыск — доставить скорбную весть и помолиться в церкви о преставившихся Марфе, паробках и полусотне других людей, соединенных с матерью смертною неманской купелью. Юрку по его просьбе отвезли к сестре.

Обласканный, успокоенный Ольгиной заботой Юрка впервые за последние дни крепко уснул. Ольга сидела возле брата, печалясь о нем, о Росевичах, о Мишке, которого разлучают с ней положенные недели скорбения. Ей стало страшно, что придется долго сидеть в одиночестве в этом опостылевшем доме; Юрка поднимется, уйдет в Волковыск, а она опять будет одна, никого не видя, никого не встречая... «Уеду с Юркой»,— думала она. Что этот двор, что здесь делать? Чужой он, не здесь им с Мишкой жить, намучилась здесь, пора уйти и забыть, освободиться для но-

вой жизни. А там, в отчем доме, вернется на свое девичье место, там стены помнят ее сны, оттуда ушла в несчастье, оттуда и к счастью надо уходить. И Юрку доглядит. И Мишка сейчас часто в церковь будет приезжать с родными, они погреться, поговорить зайдут. Его сможет видеть.

Ольга открыла сундук и стала выкладывать вещи, отбирая свое.

Но тут некстати появился старый Былич.

— Добро глядишь? — спросил он, поздоровавшись, и по этим словам, по глазам свекра Ольга почувствовала в нем затаенную враждебность, сосредоточенность недоброй мысли.

— Раздевайтесь, погрейтесь с дороги,— предложила Ольга в тревожном ожидании.

Свекор отказался:

— Я ненадолго! — и, в чем-то колеблясь, не находил, что сказать.— Спит? — кивнул он на Юрия.

— Спит,— кивнула Ольга, ничего более не объяснив.

Старик все же присел на лавку, помолчал, пересиливая неловкость и смущение, и отважился приступить к своему делу.

— Сядь, Ольга. Стоючи не беседа.

Она присела.

— Ты не обижайся на нас, а пойми,— сказал старик ласковым голосом.— Скоро Степка наш женится, останемся мы со старухой одни. Нам тоскливо, ты здесь одна... Так мы подумали: переходи к нам. Вместе будем жить, все веселее... И все же этот двор дал я Даниле, как вы женились. А Данилы нет... Кому он перейдет? Пусть Степке, брату, достанется. Ты молодая, не век же тебе тускнуть одной... По совести если глядеть, надо тебе этот двор нам вернуть.

— Верну,— глухо сказала Ольга.— Уже и вещи свои собираю.

Старик искренне обрадовался такой легкости согласия и не удержался оправдать себя добела:

— Я понимаю, тебе горько слушать, но и мне больно говорить. Да что поделаешь, такой обычай, когда детей не бывает. Были бы у вас дети, тогда другое дело, у них право по отцу. Сама знаешь, что правду говорю...

— Словом,— послужила собака — иди в лес помирать,— криво усмехнулась Ольга и, резко вскинувшись, выпалила хриплым криком старику в лицо: — Детей не было! А кто винен? Или не видел ты моего живота? Или не твой Данила меня бил, не здесь погибло дитя, не эти поло-

вицы его и моей кровью политы? А теперь: вон за ворота — детей не было! Зря ты сказал. Сама хотела уйти, вот, озирнись, собиралась. А теперь не пойду. Это все дитенка, твоим Данилой убитого. Я здесь столько отплакала, что все насквозь моими слезами пропиталось. Хочешь двор — убить меня придется. Не знаешь меня! Я в бедности выросла и дальше буду в бедности жить, но обидеть себя не дам. Я — хозяйка, по сыну наследую, захочу — уйду, захочу — останусь.

— Не ваше с Юркою, чтобы ты тут приказывала, а он валялся,— злобно сказал Былич.— Мною нажито, себе и верну.

— Вернешь, если отдам.

— Может, и мужа нового сюда приведешь?

— Захочется — приведу. Тебя спрашивать не стану.

— Ну, гляди,— поднялся старик,— не хочешь добром, возьму силой.

Он вышел, плюхнулся в сани, огрел кнутом лошадь и умчал.

Ольга подошла к брату — он спал. Слава богу, не слышал, подумала она с облегчением. Нельзя слышать такие споры, злую грызню. Что ему двор? Что ей в этом дворе? Главное отнято, бревнами не заменишь. Одного хочется: забыть эти годы. Ничего и не поняли, хоть и Данилы нет. Свербит жадность. Загорелось отданное назад вернуть. Думают, бессильная, слабая — отнимем; припугнем — смирится, поплачет — и пойдет вон. Или к ним: стоять у печи, кланяться в ноги, что не совсем прогнали, что приютили за печкой в углу, как сверчка,— навеки. Уж нет! Не нужен двор, на пасху отъедет. А они пусть ждут. Она не блудница, которую палкой выгоняют, она здесь мученица была. И где жить — выберет своей волей. Решив так, Ольга подумала, что ни брату, ни Мише о приезде старика, об обидных словах не скажет: ее дело, зачем им за ее прошлые ошибки терзаться.

Дней через десять Юрий окреп и ушел в Волковыск к отцу Фотию, и все эти дни прошли для Ольги в бодрости и покое. Брат открыл ей свою мечту об Еленке, они подолгу говорили о ней, и он старался втянуть Ольгу в гадания: откажет ему Еленка, если он посватается, или даст согласие? «Да что ж мучиться и через чужих людей узнавать,— учила его Ольга,— сам спроси; тебе можно, вы не чужие, вместе от смерти ушли, она тебе честно ответит. Скажет «нет» — и сватов посылать не надо, скажет «да» — без робости за сватами войдешь. А что скажет, никому не из-

вестно. Пока не спросишь — не откроется». «Как же спрашивать,— говорил Юрий,— только мать потеряли». «Да разве горит? Годами ждут люди,— говорила Ольга, думая о своем ожидании.— Не на месяц женитесь. Пройдут сороковины, привыкнет она к горю, подумает о себе, оглядится — тогда и спросишь, на ее трезвую душу». Но и сама однажды не выдержала, открылась, что решили с Мишей Росевичем пожениться. И чтобы брат все понял, пожалел ее, не подумал дурного, рассказала свою жизнь в замужестве за Данилой. «А я слеп был,— виновато сказал Юрий,— думал, ты счастлива!» И установилась между братом и сестрой давняя близость, словно утерянную опору отыскали, вернулась радость веры, что каждый из них друг для друга тот единственный человек, который все поймет и примет и, ничего себе от друга не желая, желает другу добра. При расставании Ольга сказала Юрию: «Через месяц приеду. Насовсем». Он загорелся: «Зачем ждать? Поедем сегодня! Вдвоем так весело, хорошо!» «Не уговаривай,— вздохнула Ольга.— Нельзя раньше».

После сороковин, на другой день, как Ольга и ожидала, приехал к ней Мишка. Вошел в дом — для нее сразу свет просветлел. В глаза друг другу посмотрели, обнялись — вот и блаженство, и вечной жизни не надо, только бы с таким чувством хоть год прожить.

Сели за стол. Ольга, подперев ладонями лицо, любовалась Мишкой, нравилось ей, как он глядит, как меняются его глаза, как улыбается ей, как горестно говорит о матери и жалеет отца, радуется за Еленку, хвалит за смелость Юрку, как с нежностью говорит о Кульчихе — приходила поглядеть на Еленку и отругала всех, что тоскуют, как сдохлые,— и о своем ожидании встречи и радостных, вопреки семейному горю, снах.

Опять засиделись до ночи, до огня. Где-то далеко стали выть волки, дворовые волкодавы неистово набрехались перед сном, сверчок завел свою вечернюю песню; потрескивая смолой, призывала к покою лучина... Ох, как не хотелось расставаться: ему — уходить в зимнее поле, ей — отпускать его в ночной мрак. Обнявшись, стояли у порога, шептались о новой встрече. Он вдруг отстранялся: «Ну, пойду!» Или она говорила: «Ну, иди, поздно!» И вновь льнули друг к другу... И мир, по жесткому закону которого им надо было сейчас разлучиться, удалялся от них, затуманивался, забывался, и горячечно подчиняла их себе истинная правда жизни — их любовь, биение их сердец, требующих счастья.

Мишка шагнул к печи, дунул на лучину, она не загас-

ла, он вырвал ее из щипца и ткнул в воду. Стало темно. Стукнул, упав на пол, отстегнутый меч. Шелестя, опали одежды, и все былое, все лица и имена, заботы, сомнения, трезвость — все исчезло; они оказались в ярком своем мире, где страсть — залог верности, чистоты и веры.

Была ночь. И вдруг в ночной тишине им услышался далекий, нарастающий топот отряда.

— К нам? — спросила Ольга.

— Похоже,— сказал Мишка.

Они еще послушали и убедились, что скачут к ним. Не зажигая огня, они оделись. Тогда Ольга запалила лучину. Мишка пристегнул меч и сел к столу. «Свекор» — подумала Ольга и сжалась, предчувствуя беду.

Разлаялись собаки. В ворота застучали дубиной. Скоро сонный паробок закричал: «Кто?»

— Свои! — крикнули ему.— Данилов отец!

Ольга пошла из избы. Паробок убирал на цепь псов. За воротами переговаривались люди. «Господи, что он хочет? — думала Ольга.— Зачем при Мишке?»

— Кого бог принес? — крикнула она.

— Свекра твоего,— ответил из-за ворот старик.— Ехал мимо с людьми. Пусти погреться.

— Отпирай,— махнула Ольга паробку.

Человек десять конных въехали во двор и сошли с седел. Ольга узнала Степку, Верещаков Пётра и Егора; и Рудый, одетый в кожух, был среди них, хотя днем, в приезд Мишки, видела его во дворе. «Вот оно что,— поняла она,— Рудый позвал».

— Помнишь, Ольга, я тебя по-доброму просил,— сказал старик.— Ну, показывай гостя своего.

«Господи, будь что будет! — подумала Ольга.— Начнут биться, возьму топор, умру рядом с Мишкой».

— Заходите,— сказала она и пошла в дом.

Они входили в избу, здоровались и становились толпой у порога. Мишка отвечал: «Здорово, Пётра! Здорово, Егор! Здорово, Рымша!» Ольга стала у печи, перед топкой, косясь на холодное острие секиры.

Все долго и неловко молчали. Наконец старик обратился к Мишке:

— Что, дома не спится?

— В гости заехал,— отвечал Мишка.— А что?

— А то! Нехорошо засиживаться во вдовьей хате. Все-таки невестка моя. Вдруг обида будет?

— Что же я, вор какой — вдову обижать?

— Вдруг мне обида будет?

— А какая тебе обида?

— Года не прошло,— ворчал старик,— а уж тут гости ночные.

— Не пойму тебя,— помрачнел Мишка.— Вот и вам всем по домам в мороз не сидится. Ищете кого? Или как?

— Может, и ищем,— наступал старик.— Все же скажи, чего тебе здесь торчать посередь ночи?

— Вы что, гнать меня взашей прибыли? — усмехнулся Мишка.— Наезд! И вы, Верещаки, не поленились? Что, обида у вас на меня? Вам-то чего морозиться?

Егор покривился.

— Вот,— кивнул на старика,— прискакал: пособите, невестка честь не хочет держать, молодцов принимает. Твое имя не говорил. Знали бы, что ты, не стронулись.

— Зачем, старый, Ольгу позоришь? — сказал, поднимаясь Мишка.— Не совестно?

— У честной вдовы гость рассвет не встречает. Тебе давно до дому пора. Езжай, хлопец, не держим, у нас с невесткой свой разговор будет.

— Ты, дядя Былич, вроде выпил,— сказал Мишка.— Стычки хочется? Про Ольгу запомни: ее брат нашу Еленку спас, так что она для нас теперь как родная. Обидеть не дадим.

— Вижу, что родная,— осклабился старик и прикрикнул на Ольгу: — Собирайся! К нам повезем. Поторопись! А то силой!

Мишка, неспешно ступая, придвинулся к старику:

— Силой? Ну, попытайся! — И, мгновение помедлив, объявил, как судьбу: — Она вдова, но через год женой моей будет. Как жену и защищаю. Пальцем кто тронет — убью!

— Так. Понятно,— передернулся старик.— Ясно, чего здесь сидел, как породнились. Подай ей овчину,— кивнул сыну.

Тот нехотя снял с торчка кожух и ступил к Ольге. Мишка махнул кулаком, и Степан прилип к стене. Из разбитой губы потекла кровь.

Сверкнули вытянутые мечи.

— Ладно, наше дело сторона,— сказал вдруг Егор Верещака.— Сами разбирайтесь. Бывайте!

Братья вышли и увели своих паробков.

— Ну что, все выяснили — спросил Мишка.— Все знаете? Что еще?

Решимость старика с уходом Верещаков приметно ослабла.

— Уже хозяйствуешь,— укорил он,— в чужом доме. А он наш!

— Вам и останется,— ответил Мишка.— У меня свой есть.— И всунул меч в ножны.

Былич вдруг обезволился, прошел к лавке и тяжело, как хворый, сел, облокотясь о стол.

— Да,— вздохнул он.— Эх, жизнь — минута! — И заплакал.

— Ты что, дядя Былич? — удивился и пожалел Мишка.

— А-а, все пустое,— махнул старик.— Был двор, был сын, жил Данила — все затерлось... Новая жизнь... нет правды.

Унылое молчание настало в избе. И о чем говорить: никто в смерти не винен, никто в желании жить не волен и в угоду чужой боли себя в жертву не принесет — нет одной правды, а разные правды не дружат.

Старик посидел до смирения души и безучастно, ничего не сказав, не прощаясь, пошел на двор. Люди его вышли следом. Послышалось ржанье, суета посадки и топот уходящих коней.

Утром Мишка отвез Ольгу в Волковыск к брату.

## ВОЛКОВЫСК. ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ

Истекали томительные для Софьи дни ожидания пасхи, приезда сватов, встречи с Андреем. Уже близилась вербница, уже могли в любой час прибыть желанные гости. Днем раз за разом выбегала на дорогу, вглядывалась в чистую даль, вслушивалась в тишину — не звенят ли радостно колокольцы, не везут ли к ней любимого лихие тройки? Сны ночные, покружив у изголовья, улетали; прижимая к сердцу подаренный складень, просила святых оберечь Андрея Ильинича от несчастий. В ночной темноте избы, затаивая дыхание, мечтала, что на пасху, когда в замковой церкви отец Фотий возгласит: «Друг друга обымем, рцем, братие!» и все начнут целоваться, она тоже поцелуется с Андреем и потом подарит ему крашеное красное яичко... Сердце замирало от близости великого счастья.

По вечерам, сидя с сестрой за куделью, вздрагивала при каждом стуке дверей, а стоило разлаяться дворовым псам — пряжа выпадала из рук, ноги отказывались держать; обомлевши, просила отца: «Таточка, едут, встречай!» Боярин Иван, проигрывая сыну в шахматы, сердился: «Ты, что, дура молодая, тоскуешь! Схудела — противно глядеть. Скажут: страхолюдину сбываем с рук». Мишка, вгоняя в стыд, смеялся: «Силу, сестра, береги! На медовый месяц много надо здоровья!» «Уж ты помолчал бы! — шикал на него отец.—

Сам что натворил? Стыд потеряли! Была б мать жива, как в глаза поглядел?»

Еленка тоже жила близостью пасхи, того просветления, которое принесет ей этот день. После сорока дней скорби, после признания Мишки перед всеми о любви к Ольге, о своем решении жениться на ней после похода, после упреков Кульчихи в слабости души Еленка, видя трепет и счастливое волнение сестры, сама стала думать о своей будущей жизни. Скоро она почувствовала нехватку возле себя Юрия. Она вспоминала, как однажды Гнатка хвалил Юрия отцу, говоря, что хлопец готовится в попы — крестить, хоронить, а родился в батьку — воином, мало кто в первом бою не теряет рассудка, а он не потерял. Всплыло в памяти горькое воспоминание: как там, на льду, он упал на нее, а она царапала ему лицо. Теперь ей предстала истина: он своею спиной закрыл ее от стрелы. Ей захотелось его увидеть — он не приезжал. Она не сердилась, понимая причины: отходил от раны, потом не решился мешать их страданию, потом сестра переехала к нему под крыло. И все же Еленка ждала, какое-то чувство говорило ей, что он думает про нее и обязательно появится.

Из полусмешливых Мишкиных слов, что в этом году на покров пойдут у них сплошняком свадьбы, она поняла, что он и ее включает в невесты, у которой есть жених. Ей хотелось поговорить с Юрием, но в этом желании встречи она не чувствовала такого трепета, который видела в ожидании сестрой Андрея. И она думала: если Юрий спросит, любит ли она его, что она ответит? Решила, ответит: «Люблю. Люблю, как нового брата, которому со мной хорошо и с которым мне хорошо». А если он спросит: «Люблю тебя и хочу пожениться. А ты?» — она ответит: «Нет». Потому что нет воли к замужеству. Потому что за годы неподвижности поняла страдание, а что такое счастье, еще не поняла. Раньше ей казалось, счастье — ходить по земле. Но счастье — это нечто иное, неизвестное ей, оно должно показаться, оно придет, а пока есть его предчувствие. И есть неясность в душе ей казалось, счастье — ходить по земле. Но счастье — вдвоем. Если она скажет «нет», ему будет больно и обидно, а обижать его — совестно. Но соврать — бесчестно. Если он чувствует, думала Еленка, он не спросит. А если спросит, значит, не чувствует, и они останутся непонятны друг другу.

Юрий приехал на благовещенье, за две недели до вербницы. Гнатка и Мишка радостно его встретили. После обеда все вышли погулять на дороге. Юрий видел Еленку на ногах впервые после исцеления и радовался ее окрепшей по-

ходке. Она спрашивала, чем он так занят, что не нашел дня приехать раньше. Он отвечал, что сидит с Фотием — старик нездоров и торопится рассказывать для летописи.

— Юра, скажи,— спросила она,— как счастье открывается, кем дается?

— Никем не дается,— сказал он.— Оно в тебе. Только закрыто, если не чувствуешь. Откроется — узнаешь.

И ни о чем не спросил, хоть как она заметила, ему сильно хотелось ее спрашивать.

В субботу, накануне вербницы, были посланы в Волковыск две бабы посвятить охапку вербы. Спать легли рано, чтобы пораньше в праздничное утро встать; только Софья не спала, целовала складень, шептала молитвы. Вдруг услышала над головой воздушный трепет, легкое дуновение коснулось горячего лица. Софья, не дивясь и не пугаясь, поняла: ангел машет лебедиными крыльями, спустился сказать, что завтра следует ожидать Андрея. Зарылась лицом в подушку, всплакнула о маме, что не может увидеть и благословить, размечталась о завтрашнем дне и в самых светлых чувствах уснула. Пробудилась же от какого-то непонятного, колкого хлопания по спине. Отворила глаза — Мишка и Еленка смеются, бьют вербой. Теперь уже втроем пошли хлестать Гнатку. Богатырь сладко спал. Осторожно стянули кожух и ударили в три лозы, и еще, еще — мертвый бы очнулся, но не Гнатка. Пырская смехом, принялись щекотать старику сережками губы. Тот сквозь сон отмахивался огромной ладонью, как от назойливой, неуловимой мухи. «Вот же зубр! — дивился Мишка и предложил: — Неси воды — окропим!» «Я вам окроплю!» — вдруг грозно пробасил Гнатка и рассмеялся, довольный своим незатейливым обманом.

Скоро поднялся весь двор; позавтракали, стали собираться в церковь. Выехали большим поездом: все дворовые старухи и бабы упросились ехать, тесно понабились в сани; лишь двое подростков были оставлены сторожить двор. В дороге встречали рассвет. День, обещавший Софье долгожданную радость, начинался чудесно: впервые за зиму расчистилось от седых облаков небо, вспыхивали блестками в алых лучах всходившего солнца снега, сползал зимний покров с сонного леса. В городе, призывая народ в храмы, трезвонили колокола. Несколько человек стражи топталось на въезде, поглядывая на приезжих, здороваясь со знакомыми. Народ, истосковавшийся за нудные недели поста, весь высыпал на улицы. Благочинно шли слушать обедню семьи, старухи вели приодетых счастливых детей.

Росевичи всем своим скопом заехали сначала к возному Волковичу, где ожидали их бабы с освященной вербой. Тут вербу разобрали, украсили ленточками и уже вместе с Волковичами направились на замчище. На рыночной площади, перед Миколаевским костелом, толпились католики. Шли мимо, раскланивались: «Здорово, Сургайлы! С праздником!» — «Здорово, Комейки! С праздником!» — «Здорово, Журдак! Здорово, Матуш!» И те в ответ: «И вас с праздником!» Хоть и другой держались веры, но хорошие все были соседи. Вот когда приезжали молиться, тогда только и делились: одни перед замчищем поворачивали в свой костел, другие поднимались на Замковую гору в свою церковь.

Вокруг церкви и по всему замчищу стояло полно крестьянских возков; распряженные лошади хрустели сеном. На звоннице дьячок Семашка отбивал благовест; праздничная толпа, крестясь, снимая шапки, вступала в храм.

Здесь, у храма, Мишка встретил Ольгу. Они стояли рядом, держа в руках лозу, счастливые, как молодые перед венчанием. Мишка нарочно медлил заходить в церковь, чтобы все, кто шел мимо, видели их вдвоем, видели, что они счастливая пара, и чтобы тот, кого потянет обговаривать Ольгу за глаза, не посмел сказать ей обидного слова вслух, помня, что придется отвечать перед ним, избравшим ее. И люди, проходившие в церковь, кланялись: «Здорово, Мишка и Ольга! С праздником!» И они отвечали: «С праздником!» Только шедшие семьей Быличи, увидев Ольгу, отвернулись, буто не видят и не признают. Мишка решил, что после службы, когда весь народ высыплет из церкви расходиться по домам, рассаживаться в возки, он пройдет с Ольгой по всему городу, по площади, где полно будет людей, по улицам, где их увидят сквозь окна, и опять они вернутся на площадь и пойдут к Волковичу. Ольга благодарно глядела на него — карие живые глаза весело и влюбленно улыбались. Наконец и Мишка с Ольгой втиснулись в церковь, чуть ли не последними.

Старый отец Фотий, застыв у аналоя, с ликованием в душе глядел, как украшается огнями свечей господне место. Он воздел к небу очи — смолкли шумы, человеки затихли, освободили сердца от суетных забот для святого единения с духовным отцом. Шорох общего креста прошумел в церкви... Но вдруг, глуша и сбивая слова праздничной молитвы, донеслись в храм сквозь растворенные двери тяжелый гул конской лавины, гром страшных криков, дальний звон мечей, и тут же ввалился в церковь окровавленный человек с обнаженным мечом — толпа раздалась, шарахнулась в сто-

роны, потом ближние огляделись, что это Стась Матуш, ятвяг. Матуш хрипло, истошно, страшно выкрикнул:

— Немцы!

Стон изумления и ненависти вырвался из всех уст. Мужчины, хватаясь за мечи, поперли из церкви; через минуту в храме остались женщины, дети и бессильные старики. «Помолимся, братие и сестры! — воззвал отец Фотий.— Вознесем мольбу богу о помощи любящим его, о погибели с мечом приходящих, кощунствующих...» Слезы текли из глаз старика, душа раздиралась. Слышал за спиной сухой шелест молитвы, творимый матерями и женами воев, слышал всхлипывания страшащихся детей, недалекий лязг боевого железа, рев, ругань, вскрики.

Мужики же, высыпав на двор, побежали к замковым воротам, в которые отступали с рыночной площади теснимые крыжаками литовцы. Отчаянно дрались они, первыми приняли удар, заслоняя семьи, бежавшие из костела на замчище: толпа баб, старух, ребятишек искала теперь спасения в церкви. Жуткие были мгновения: пешие против конных, без панцирей, кольчуг, в одних ферязях и кафтанах, считай, голые, против стальных лат, с непокрытыми головами против укрытых коваными шлемами немцев, без единого щита, только с мечами и кордами против копий и арбалетов. Предстояло гибнуть, уже гибли в рубке у ворот, и многие замерли.

«Сани бери, возки! — нашелся старый Росевич.— Ставь валом!» Уверенный его крик привел всех в движение. Побежали к саням брать оставленные луки. Дружно выкатили напротив ворот пяток саней, поставили валом. Кто не имел меча, отрывал оглобли. Василек Волкович вскочил в нераспряженный возок, хлестнул лошадь — та, взвившись, понеслась прямо на конных вожаков, смешала их строй; ее проткнули копьем, она повалилась, заграждая дорогу. Десятка два людей побежали с тиуном в замок брать сагадаки и топоры. Укрываясь от стрел за поваленными набок санями, ждали волковысцы ближнего боя, когда пойдут в ход мечи. Страшно близились к ним тяжелые кони, блестели на солнце острия копий и латы крыжаков. Наехали, ударили копьями, пятерых сразу наповал. Какой-то рыцарь правил копье на Гнатку. Силач вырвал древко, обернул, вонзил крыжаку в живот, пробив панцирь, и выдернул немца из седла, как выдергивают на остроге щуку. Мужики били оглоблями, секли мечами морды коней; кони вздымались, сбрасывали рыцарей, падали с подрубленными ногами. Наскок немцев сломался — уже от замка летели в них от-

ветные стрелы и у вала из саней и трупов схватились биться на мечах.

Сеча шла и у костела, и на Песках, и на Слонимской, Виленской улицах. Немцы рубили не разбирая — женщина, мужчина, старуха, дитя; кто попадал под меч — валился с разрубленной головой.

На рыночной площади в окружении братьев и рыцарей стоял великий маршал ордена Фридрих фон Валленрод. Ни дикое ржание взбесившихся лошадей, ни вопли, ни гром битвы, ни удары молотов, которыми рыцарские слуги сбивали с лавок замки, ни рубка спасавшихся через заборы баб — ничто не отвлекало его от напряженного ожидания главной вести, вести о гибели великого князя. Смятение, страх, кровь, гибель ничтожных язычников — все было так, как и должно быть, когда карающий меч Тевтонского ордена исполняет господню волю. Мечи должны омываться кровью, русины, литва должны вопить, чтобы ангелам было легче считать унитоженную нечисть. Таков их удел. Если бы богу не было угодно допустить немецкие хоругви в это логово, он поставил бы им на пути препону. Он не вмешалбы, значит, ему угодно. Наоборот, господь позаботился об ордене, помог, устранил все преграды. Вчера, когда отряд таился в лесу, гонец из Слонима сообщил, что Витовт под вечер выедет в Волковыск. Можно было поджидать поезд князя на дороге, но на узких лесных дорогах трудно развернуть в бою хоругвь, и велик был риск, что, пользуясь темнотой и сугробами, князь Витовт нырнет в какую-нибудь ему одному известную берлогу, к любимым медведям, где может просидеть до весны.

Он, великий маршал ордена, благоразумно решил захватить Волковыск в час обедни, когда вся шваль, вся литва и русины соберутся в своих церквах и вместе со своим князем будут молиться своему древнему богу плодородия — Вербе. Ночью одна хоругвь обошла город лесами, чтобы одновременно ударить с обоих концов. Дубоголовая стража без заминки пропустила несколько подвод с переодетыми в мужицкие кожухи рыцарями, которые тут же перерезали этим язычникам горло. И доблестные хоругви вступили в город, вошли неприметно, как неприметно приходит смерть; лишь несколько дураков, охранявших вот здесь ненужные никому солому и сани, кинулись орать всему стаду: «Немцы! Немцы!» — и заткнулись стрелами арбалетов. Да, немцы! Дивитесь и войте в последний раз, сходя в пекло, в котлы с огненной серой. К сожалению, многие волки, рычавшие песнь в этом похожем на хлев костеле, сумели спастись

в замок, и, судя по остервенению, с которым они сдерживали рыцарский удар, князь Витовт сейчас прячется на замчище.

С замчища прискакал брат Альберт — белый плащ заляпан кровью, порван, на латах вмятины от мечей.

— Князь там? — поспешил узнать Валленрод.

— Неизвестно,— ответил монах.— Бешено отбиваются.

— Приведите кого-нибудь! — бросил рыцарям маршал. Скоро к нему подогнали копьем старика с лирой через плечо.

— Спроси, где князь Витовт? — сказал Валленрод переводчику.

Толмач спросил.

— Не знаю! — ответил лирник.

— Он прибыл в город?

— Нет! — ответил старик.

— Может, ты не видел?

— Точно не прибыл,— сказал лирник.— Был бы князь, вас бы здесь не было.

Услышав от толмача такой довод, великий маршал раздраженно повел рукой. Лирника отвели и зарубили.

«Однако какая обида,— подумал Валленрод,— если старый болван сказал правду и дьявол вновь уберег своего выкормыша!» Стоило ли ему, великому маршалу, мерзнуть всю ночь в лесу, слушая вой волков? Избить этот языческий городишко мог любой комтур.

— «Бешено отбиваются!» — желчно выкрикнул Валленрод в лицо брату Альберту.— Кто? Чем? Вербой? Всех перебить!

— Брат Фридрих! — оскорбился рыцарь.— Твой один меч сделает больше, чем десять наших.

Это значило: сам, мол, стоишь, боишься; попробуй-ка, покажи храбрость.

— Ты прав, брат! — ответил Валленрод и поскакал в гущу боя.

А на Слонимской, Виленской, на Песках народ хватал секиры и цепы; стрелами валили крыжацких коней, пеших крыжаков, били цепами и кистенями, закрывались в дворах, сбивались в десятки, заграждали улицы, и легкая поначалу рубка безоружных теперь оборачивалась для немцев тратой кнехтов.

Утром вербницы Фотий попросил Юрия прислужить ему в церкви. Одетый в белый подризник, Юрий стоял позади старика и, слушая его, отыскал в тесной толпе Еленку, зачарованно глядел, как она крестится, как чисто сияют ее

глаза, как подрагивает огонек свечи в ее руке, и был счастлив, что она рядом, что видит ее, что ей радостно. Но когда в храм вбежал залитый кровью Матуш и крик «Немцы!» оборвал торжество дня, Юрий на краткий миг замер: ожили в памяти неманское побоище, кровавая иордань посреди ледяного поля — и праздничной благости как не бывало. Мысль, что здесь, в городе, те же, что убивали там, что они уже убивают, хотят зарубить всех этих малых и старых людей, Еленку, эта мысль погнала его из церкви; он бежал, обгоняя других, чувствуя, что должен остановить убийц, стать им поперек камнем. Кто-то схватил его за плечо и крикнул в ухо: «Куда с голыми руками? Убьют! В церковь беги!» Да, нужен меч, оружие, отрезвился Юрий и вспомнил, что у Фотия в сенях есть топор. Краем боя он побежал в хату. Дверь была отворена. Он вошел в сени и взял топор. Чужая речь слышалась в избе. Он заглянул. Двое немцев рылись в сундуке, выбрасывая рукописные книги и сшитки летописи. Вдруг один, смеясь, воткнул в летопись меч и понес к печи. Юрий ступил в избу, поднял топор, шагнул вперед и, шепча «Сгинь!», всадил топор кнехту в шею. Второй, медленно поднимаясь с колен, глядел неверящим взглядом на блестящее лезвие топора, с которого капала кровь. Оно поднялось кверху, и Юрий безучастно, с резким вскриком расколол топором плоский широкополый шлем. Он поднял меч, оброненный кнехтом, поднял и положил на стол пробитые листы пергамина и вышел из хаты. Все замчище было занято яростной схваткой, и она втянула Юрия, как омут, разъяряя одно чувство — бить!

Уже много полегло волковысцев, и немцы, наступая, близясь к церкви и замковым избам, победно кричали. В этот тяжкий миг боя из храма вышел отец Фотий в золотых ризах с поднятым крестом в руках. Рядом с ним стали старый Матвей Суботка, скинувшая вдовий платок Ольга, седые старухи, дети. Твердым, как в молодые лета, голосом воззвал отец Фотий господа обрушить свой гнев на врагов. Его дружно поддержала толпа, высыпавшая из церкви. И кто из мужчин угасал духом — воспрял, кто ослаб мощью — окреп, кто отступал — остановился.

Это вызвало ярость немцев. В хор понеслись, жикая, стрелы; тихо падали на землю старухи, со стоном поник старый, давно не бравший в руки оружия воин Матвей Суботка. И Ольге в гордое сердце впилась стрела, и, шепча в последний раз любимое имя, она повалилась на кровавый снег.

Пришел смертный час и отца Фотия — вонзились в него

стрелы, и оборвалась, замерла песнь, и он упал поперек паперти, преградивши вход в церковь врагам.

Оглянулись волковысцы — снег перед храмом устлан телами матерей, торчат из тел, давших жизнь, крыжацкие жала. Окаменели сердца, и перестали волковысцы защищаться, а стали убивать. Семка Суботка лез под коней и резал ножом брюхо. А следом шел Василь Волкович и рубил падавших. Снимал двуручным своим мечом головы Гнатка, бились боярин Иван, его сын Мишка, все братья Верещаки, примирившиеся в этот горький для города час, отец и сын Быличи, а рядом Шостаки, Сопотьки, Комейки, Сургайлы, Ходыки — все, кто был жив. По всему замчищу секлись волковысцы с крыжаками — на грудах трупов, у стен, у конюшен, на санях, у замка. Тяжело было, и кто-то надоумил Егора Верещаку сделать легче: побежал в церковь и вышел с горящим жгутом; донес огонь до первых саней — полыхнула солома и зажегся костер. С соломенным факелом кинулся Верещака ко вторым саням, к третьим, в гущу свалки. Загорелись возки, из которых строили вал в начале боя. Высоко взвились огни, десятки костров забушевали на замчище; лошади, спасаясь от жара, бились в оглоблях, ревели, шарахались, мчали на толпу, смешивая, давя рыцарей и волковысцев, площадь боя сузилась, и немцы стали выдавливаться из ворот.

Освежив меч кровью двух недоверков, Фридрих фон Валленрод вернул себе доброе расположение духа. Нет князя, думал маршал, есть бодливые язычники. Уменьшим их число. Раздули огонь, хотят защититься — в нем и очистятся! Внезапно конь маршала горько заржал и осел на задние ноги. Маршал увидел сквозь щель забрала метнувшегося в сторону молодого литвина. «Волк! — подумал маршал.— Зарезал дорогого коня!» И с бешенством секанул русина по спине. Но тут же пришлось отступить перед огромным волчищем, который рубил двуручным мечом. Маршала закрыли, он побрел с замчища на площадь. Тут ему подвели свежего коня. «Сбор!» — крикнул Валленрод трубачу. Над городом полетел звонкий сигнал рыцарям собираться в хоругви. И только замер голос трубы, как зазвонили колокола Пречистенской церкви: мужики отбили звонницу и Семашка ударил набат.

— Город поджечь и покинуть! — распорядился Валленрод, понимая, что исполнить приказ так, как следует, поджечь все, чтобы к утру только пепелище чернело на месте Волковыска, не удастся. Нельзя было без огромных потерь зажечь замок, из которого отходили рыцари, нельзя было

без траты людей вновь войти на загороженные улицы. Погубить же рыцарей, прослыть неудачником — нет, Волковыск того не стоил.

Меж тем, исполняя приказ, лучники лезли в дома, где не было хозяев, где не кидались с топорами мозжить шлемы и головы. Загорелись лавки на рыночной площади, Миколаевский костел — потянуло дымом. Валленрод приказал трубить выступление, но сигнал глох в колокольном трезвоне, и хорунжий замахал стягом. Крыжаки, выстраиваясь в колонну, пропуская вперед сани с лупами, потянулись из города.

Когда ударили колокола на звоннице и шум боя заметно притих, бабы, молившиеся в церкви, стали подниматься с колен и выходить во двор. Страшное зрелище открылось их глазам, и с плачем, причитаниями взялись они за горькую работу. Внесли в храм и положили на алтарь отца Фотия, и положили на каменный пол побитых старух, хоруговника Суботку и Ольгу. Крестились, тихонько подвывали над родными: «Мамочка любая, мамочка дорогая!» Завыть бы во всю силу боли, заголосить бы во весь голос, но не тот был еще час, не знали, что еще придется оплакать — все замчище было покрыто убитыми. И плакать не дали, крикнули бежать, гасить хаты. Уже немцев не осталось в городе, уже возный Волкович, взяв на себя власть погибшего тиуна, отрядил к воротам людей, и ворота закрыли.

Горело около полусотни дворов. Растянувшись цепью к Волчанке, к колодцам, подавали ведрами воду, сбивали огонь, мешали разбушеваться, переброситься на соседей. Только через час, притушив пожары, пошли выяснять, кто жив, кто мертв. На замчище мужики и бабы разбирали убитых — волокли к стене немцев, несли к церкви своих.

Настрадавшаяся неведением Софья вернулась в замок искать отца, сестру, Гнатку. Увидев старого богатыря живым, кинулась к нему, обвила шею, зарыдала в жесткую мокрую бороду. «Ну, ну,— утешительно шептал старик,— живы, и слава богу!» Тут подошел закопченный, в обгоревшем кафтане Мишка. Уже втроем пошли ходить среди мертвых, смотреть своих. Увидали пробитого копьем тиуна. Увидали старика Былича с кинжалом в груди. Увидали Матуша, посеченного мечами. Отца нашли у сгоревших возков, среди посеченных крыжаков. Был еще жив. Возрадовались, понесли отца к Волковичам. У них свое горе: мать, Настя с Ольгой, братья голосят над Васильком. И некуда податься. В каждом дворе плачут, кричат, воют — там муж зарублен, там детей порубили, там мертвую жену принесли, там и

мать и отец убиты и сидят возле бездыханных родителей малолетние сироты. «Какая ж это вербница!» — ужасаясь, думал Мишка.— Конец света худшим не будет. Как господь мог позволить? Людей погублено сотни, не счесть, половина города и повета. За что? За какие грехи? Чем этот малец,— увидел на сугробе подростка, наискось рассаженного мечом,— провинился? Господи, глянь, воззрись на дело немцев! Как терпишь?!»

Встретив Егора Верещаку с паробками — несли на кожухах Пётру и Миколку.

— Живы? — спросил Мишка.

— Дышат,— сказал Егор.— А боярин Иван?

— Дышит,— ответил Мишка.— Домой поедете?

— Что ж тут делать, поедем.

— И мы тоже — сейчас дворню соберем.

Из дворовых баб шесть оказались побиты. Их занесли в церковь, отыскали свободные еще местечки у стен, вложили в остывшие руки свечи и оставили до утра. Пошли искать сани и лошадей — свои, оставленные на рынке, были взяты крыжаками. Быстро нашли: не скупились в этот день люди, не жалели, откликались на горе. Соединились с Верещаками, чтобы вместе выбраться из несчастного Волковыска.

— Погодите,— опомнился Мишка,— Ольгу найду!

Понесся на замчище.

— Ольга где? — кидался к знакомым.— Не видали?

— В церкви. Там они.

Вошел в церковь, и страхом сжалось сердце — от стены к стене пласт мертвых, украшены лозой, греют их поминальные свечи. Пробрался вперед и у алтарной ступени среди старух узнал Ольгин кожушок. Уже кто-то заботливый свечу вложил ей в руки. Рухнул на колени:

— Оленька! — и зарыдал, прижимаясь к любимому замершему лицу...

Кто-то гладил его. Он поднял голову: Еленка стояла возле него.

— Спасай отца, Миша. Я помолюсь.

Он подчинился.

В Рось гнали, не щадя лошадей. Мнилось, что родной кров вернет отца к жизни, что сейчас прибудут, положат старика на кровать, согреют, перевяжут, напоят горячим медом — и шевельнутся губы, откроются живые, любимые глаза. Но задолго до поворота на Рось почуялся пугающий запах гари. Примчались — черная пустошь на месте двора, только печь да головешки остались от древнего дома. Не

жалко добра, страшно, что отца негде приютить для ухода. Повернули к Кульчихе, однако с дурным предчувствием, потому что дорога была изрыта сотнями крыжацких коней. Хата шептуньи стояла целой, но жутко выл внутри пес. Мишка бросился в избу, позвал: «Кульчиха! Бабка!» Молчание. Раздул в печи уголек. Зажег лучину. Зарубленные старуха и коза Лешка лежали в углу, а рядом сидел пес Муха, слезился и выл. Мишка сжал руками лопавшиеся виски и тоже завыл, по-волчьи — безумно и зло.

Помчались к Егору Верещаке; тут немцы не проходили, двор был не тронут. Старика Ивана внесли в избу, положили на лавках, бабы заспешили ухаживать. Разрезали рубаху, глянули и стали креститься — торчал возле соска коротенький обломок стрелы, и запеклось вокруг него совсем мало крови, вся разлилась внутри. Гнатка и Софья зарыдали. В другом углу помирал Пётра, а в третьем — Миколка. К полуночи все трое и отошли. Мишка поцеловал отца и поскакал в Волковыск.

Когда загасили пожары, Юрий вернулся на замчище и вошел в хату Фотия. Убитые им лежали так, как он их оставил. Юрий собрал в сундук книги. Потом попросил мужиков вынести мертвых. Тогда он сел на обычное место Фотия и прижался спиной к печи. Но уже не было Фотия и не было Ольги, он остался один и чувствовал полное разрушение жизни. Он увидел кровь на полу и кровь на своем изорванном мечами подризнике, поднялся и пошел в церковь. Взошел на алтарь. Снял с аналоя Библию и положил псалтырь. Он хотел прочесть псалом и не смог. Рядами лежали убиенные, возле каждого стояли на коленях, стеная и молясь, живые. Шепот раздельных молитв шелестел по церкви.

— Братие и сестры! — подражая отцу Фотию, воззвал Юрий.— Провидим свет во тьме скорби. Восстанем с колен и скажем: господи, не иссякнет наш дух, не поразилось страхом наше сердце. Ибо когда столько ушло от нас, то ушли они, чтобы живые жили... Вот лежат в братском единении наши люди. Омоем родных не слезами страдания, ибо они не грешны. Омоем их слезами славы за подвиг любви...

Тишина настала в церкви, и в этой тишине Юрий раскрыл псалтырь и стал читать слова успокоения, и читал всю долгую, горестную ночь.

И всю ночь с шестнадцатого на семнадцатое марта во всех волковыских и окрестных дворах доделывала смерть то, что не успела в погибельный день вербного воскресенья: подбирала недобитых, гасила надежды живых. И в мучи-

тельную эту ночь волковыские люди клялись припомнить крыжакам кощунственный наезд, вернуть мечами кровавый долг.

Назавтра под вечер, загнав по дороге из Слонима трех коней, появился у Верещаков измотанный страхами Андрей Ильинич. Печальной была встреча: готовился к празднику, сам маршалок Чупурна согласился сватать для Андрея дочь Росевича, а прибыл на похороны. Условился с Софьей, что в мае, когда пройдут сорок дней, приедет для обручения.

Мишка, схоронив на росском кладбище отца и Кульчиху, а на волковыском Ольгу, проснулся после поминок седым. «Вот и жизнь прошла,— сказал он Андрею.— Два дела осталось сделать: девок замуж отдать и сходить в поход!» «Бог решит, Мишка»,— ответил Андрей и подумал про себя: время залечит, все оно залечивает, любую рану.

На великдень проследовал через Волковыск великий князь Витовт, и Андрей присоединился к свите. Великдень в Волковыске не отмечали: как было радоваться, если над сотнями своих чернели посреди снегов свежие могильные холмы?

## КЕЖМАРК. 7 АПРЕЛЯ

После двух недель неспешного путешествия через Брест и Люблин великий князь со всем своим обозом и полтысячью охраны прибыл в Ланцуту, где уже ожидал его король Ягайла. Отсюда зелеными весенними дорогами направились в Новый Сонч и остановились в замке, вознесенном на скале над разливом бурного Дунайца. Здесь, посовещавшись с епископами, король решил остаться под защитою замковых стен и передал все полномочия для бесед с королем Сигизмундом князю Витовту. Назавтра великий князь с пышною свитой своих и польских панов, со своею хоругвью и отрядом польских рыцарей, с внушительным поездом подвод выступил в путь. Дорога кружила среди лесистых гор — то вилась по узкому лесному ущелью, то взбиралась под самое поднебесье, и с высоты далеко открывались одетые свежей зеленью долины и холмы, а внизу сквозь позолоченный воздух сверкали петли реки, вдруг разбивавшейся жемчугом на перекатах; или дорога шла по крутым склонам, а то и вовсе краем каменистого обрыва, в котором стояли, подобно рогатинам, островерхие пихты. Часто виднелись на обезлесенных холмах крепостцы, сложенные из желтого камня, совершенно неприступные. Бояре княжеской охраны, привыкшие к глухим равнинным

пущам и легким погоркам, дивились красоте здешней земли. «Ну, прямо рай! — думал Ильинич.— Буду рассказывать Софье — не поверит!»

Заночевали в Мушине: князь и епископы — в замке на вершине горы, бояре и польские шляхтичи — в повозках. С зарею поднялись и под вечер прибыли в Кежмарк, встреченные по дороге толпою знатных венгерских палатинов. Под постой князю, свите и охране были отведены в полуверсте от замка тесные деревянные дома в два-три потолка, с тесными же дворами и стайнями, однако хорошо обеспеченными овсом и сеном. Утром, с подобающей важностью вырядившись, поехали в замок. Пели трубы; венгерская стража раздвигала густую толпу кежмарских ротозеев, вышедших поглазеть на необычных королевских гостей и несметные подарки, которые несли на руках две сотни бояр.

Король Сигизмунд и королева Варвара встречали великого князя на замковом дворе. После взаимных многословных уверений в радости свидания князь Витовт попросил королевскую чету принять от него и великой княгини Анны скромные дары. Перед королем пронесли на перчатках двенадцать соколов, потом двенадцать кречетов и столько же седых канюков; провели свору из двенадцати великолепных борзых; провели двенадцать вороных рысаков, потом двенадцать каурых аргамаков, потом провели двенадцать седых скакунов под седлами из золотой парчи; кони, гордо переступая, стучали о камень двора золотыми подковами. Сигизмунд, заметив золото на копытах, побледнел. «А, защемило! — весело подумал Витовт, следивший за королем сквозь прищуренные веки.— Небось сам помчишь на конюшню подковы отдирать». Потом пронесли двенадцать золоченых круглых щитов, столько же овальных и по дюжине копий и дротиков; пронесли дюжину собольих шапок, вышитых жемчугом, и по стольку же собольих колпаков, куньих рукавиц и опять же куньих рукавов, шитых жемчугами; пронесли двенадцать кафтанов, двенадцать шелковых платков и двенадцать восточных ковров; тридцать бояр несли сороками соболей и еще тридцать сороками же несли горностаев.

Ильинич успел раза три пройти перед королем — ведя аргамака, потом неся копья, потом меха — и присмотрелся: Сигизмунд был рослый, дородный детина с плутоватым лицом; глаза его зорко впивались в каждую вещь, полные, приоткрытые губы легко шевелились, словно вели счет. Нарумяненная королева Варвара, молодая, но плоская, как немецкий щит, Андрею совсем не понравилась — ни в какое

сравнение не шла с Софьей. И взгляд у нее был какой-то кошачий, блудливый; встретишь на улице, если не скажут — королева, подумаешь — потаскуха. «Ну,— думал,— буду рассказывать Софье, ни за что не поверит!»

А подарки не кончались. Несли двенадцать чаш из позолоченного серебра, и двенадцать пар покрытых золотом ножей, и четыре оправленных в серебро охотничьих рога, и соболью шубу, шитую жемчугом, с двенадцатью чистого золота пуговками, и двенадцать белых полотенец с золотым шитьем, и большое, шитое золотом полотенце с золотой бахромой, и три пары унизанных жемчугом башмаков, и еще тридцать сороков соболей и двенадцать скатертей, украшенных золотой нитью, и опять собольи рукавицы, и еще полотенца, и еще шелковые платки, и еще драгоценные шапки, и еще меха.

Все это принималось королевскими псарями, конюхами, сокольничими, мечниками, сотнею мелких слуг и уводилось в глубины двора, уносилось в покои замка под искренние восхваления королевы и короля Сигизмунда, который, радуясь таким непредвиденно богатым дарам, приговаривал себе для душевного равновесия: «Видит бог, я не принуждал этих людей везти сокровища, могли прибыть и с пустыми руками, я был бы не менее счастлив послужить против войны; и было бы лучше, если бы прибыли без ничего, ведь что там ни говори, а жемчуга, золото, горностаи — это нажим, подкуп. Но дух короля,— решил Сигизмунд,— должен быть тверд!»

Наконец прошли в залу и расселись в деревянные кресла: позади Витовта — маршалок Чупурна, виленский наместник Минигал и польские епископы, позади Сигизмунда — толпа баронов.

— Тому назад тринадцать лет,— приступил к делу Витовт,— божьей милостью король польский Владислав и ты, Сигизмунд, божьей милостью король венгерский, заключили мир, и до истечения его срока осталось три года. За эти тринадцать лет ни одна из сторон мир не нарушала, между нашими странами царило угодное господу понимание, дружелюбие и, можно сказать, братская любовь!

— К божьей славе! — воскликнул Сигизмунд.— Все, что мы ни делаем, делаем во имя Христа!

— И мы точно так же! — подтвердил Витовт.

Все дружно перекрестились, и князь продолжал:

— Жить в мире со светлейшим королем Сигизмундом мы считаем для себя за высшее благо и большую радость, и мы готовы продлить мир, чтобы во веки веков на наших

общих границах стояло нерушимое спокойствие и никто не терпел бы разорения. Но, к глубокому нашему сожалению, не все наши соседи дорожат миром, как ты, король Сигизмунд. Тевтонский орден, наоборот, за лучшее для себя считает войну против Литвы и Польши, каковая война и ведется с прошлого лета и остановлена коротким перемирием до дня Иоанна Крестителя. Мы, сколько себя помним, все время терпели от крестоносцев,— сказал Витовт и стал излагать жалобы. «Чем же ты отплатишь за редких коней, за жемчуг и золото? — думал он, перечисляя обиды, испытанные от немцев.— Как с неба тебе свалилось. При твоем-то безденежье». Вспомнилось вовсе некстати, потому что чуть не пырснул смехом средь горького повествования, как Сигизмунд, только получив в дар от английского короля две золотые чаши, тотчас послал их в Брюссель заложить за восемнадцать тысяч. «Воевать нелегко, флоренчики нужны, золотая монета,— думал князь.— Ну, хорошо, против нас орден подсыплет, а против турок кто даст?» Не откладывая, вплел в свою речь турецкую угрозу, сказав: — Король Сигизмунд известен всему миру как стойкий защитник христианства от свирепого язычества, как верный слуга господа, не жалеющий ради святой веры ни рыцарства, ни казны.

Сигизмунд же, слушая утомительнейшее перечисление всех нападений крестоносцев на литовские, русские и польские города, скучнейшую хронику всех поджогов, убийств, изнасилований и грабежей, совершенных братьями ордена за последние сто лет, и кивая головой в знак своего внимания, думал о наивности великого князя и польского короля, жаждавших услышать от него однозначный ответ: да, он, венгерский король Сигизмунд, согласен, что орден развязал несправедливую войну, и не будет его поддерживать, а будет хранить заключенный с Польшей мир, чтобы Ягайле и Витовту было проще разбить крестоносцев на поле боя. Нет, не иначе они полагают,— думал Сигизмунд,— что я набитый дурак. Какая мне беда, что вас жгут и насилуют? Сами виноваты. Объединили, черт побери, такие земли с множеством народа и удивляетесь, что все хотят укоротить вам крылья. Что мне за радость, что вы победите орден? Появится грозный сосед, только и всего, новые заботы. Скажи вам: «Да, мы в стороне!» , да еще вслух. Ишь, хитрецы! Руку легче отрезать, чем сказать подобную глупость. Одним словом навсегда закрыть себе дорогу на императорский трон. Немцам не нужен император, потворствующий славянам.

И что такое Польша? Пусть поляки теперь укусят себя за

локоть. Неужели они думают, я забыл то жуткое оскорбление, равного которому не переживал ни один человек на свете? Будто не поляки отказали мне в правах на польскую корону! А кто принял указ, запрещающий впускать меня в города и замки? Кружки воды и куска хлеба жалели выделить мне эти добренькие, несчастные поляки. Выгнали вон, как прокаженного. Другого искали, лучшего. Ягайлу-язычника предпочли. Так о чем речь? Отказаться от ордена, который обещал триста тысяч, если я одновременно с ним ударю на поляков? Отказаться от трехсот тысяч, от возможного раздела этой неблагодарной Польши, от императорского венца ради верности клочку пергамина, который пришлось скрепить печатью после неудачи под Никополем? По меньшей мере удивительно, что эти люди могут думать об этом серьезно! Лесные, дремучие умы! Пригнали десяток кляч, которые завтра могут поломать себе ноги на первом выезде и их придется зарезать и продать мяснику, привезли телегу соболей, которые им ровным счетом ничего не стоят, потому что ими кишат все их леса, и за такие-то подарки желают, чтобы я кинулся в омут, лишился доброго мнения и поддержки во всех немецких княжествах? И зачем мне, по сути дела, ваши соболя и горностаи? Что мне теперь, торговать ими в лавке или вступить в цех скорняков? Воистину, ростовщики рядом с ними ангелы: те требуют проценты, и больше ничего, а эти притащили стаю бешеных собак и требуют рассориться со всей Европой. Вот и Вацлава обливают грязью. Вацлав — плох, орден — плох, все — плохие, одни они хорошие».

— Мы не беремся обсуждать решение нашего брата, чешского короля Вацлава,— возразил Сигизмунд.— Ум наш, увы, слишком скромен для таких сложных задач. Тем более что он имел для рассуждения месяцы, которых мы сейчас не имеем. Однако мне трудно согласиться с мыслью, что мой венценосный брат объявил вопиющую несправедливость.— С удовольствием отметил, как помрачнели епископы, а литовцы гневно задвигали усами. «Двигайте, двигайте,— подумал Сигизмунд,— еще не то придется проглотить».— Что же касается Немецкого ордена,— сказал он веско,— то его заслуги перед лицом господа неоспоримы, его вековые старания во славу христианской церкви знают все. Орден оказал неоценимые услуги Великому княжеству в недавнее время. Насколько мы наслышаны, братья ордена сражались в хоругвях князя Александра под Ворсклой (нарочно вспомнил этот разгром, чтобы не заносились) и ходили под его началом утишать мятежный Смоленск

(и здесь был неприятный намек Витовту: мол, что бы ты сделал без крестоносцев). Немало сделано орденом и для Польши,— заявил король.— Целый край пруссов познал благостную силу Христова учения, и прекратились известные нам из истории кровавые набеги пруссов на польские земли. Это великий подвиг братьев Тевтонского ордена.— Сигизмунд глянул на епископов. Те сидели с искаженными мордами, злобно сверлили его глазами. Ясно улыбнувшись, он ущипилил их еще сильнее: — Ведь именно от ордена изошли к польскому королю Владиславу, когда он по заблуждению был язычником, первые призывы познать светлое божье слово. Не кому-либо иному, а именно ордену князь Ягайла обещал принять крест в течение четырех лет, и в том, что он свое обещание сдержал, мы видим заслугу братьев. Такие славные дела,— воскликнул Сигизмунд,— не могут изгладиться из памяти! Боль глубоко пронзает мою душу, когда я слышу, что Польша, Великое княжество и орден не могут полюбовно решить...— Хотел сказать «земельные раздоры», но подумал, что «земельные раздоры» — прозвучит значительно, и сказал с колкостью и таким тоном, будто речь шла о нескольких деревушках с выпасами: — ...Не могут разрешить мелкие порубежные дрязги. Уважение, которое испытывает к ордену весь христианский мир, и нам не позволит никогда и ни за что отказаться от заботы и помощи орденским братьям. Это было бы равнозначно для нас отказу от Христовых заветов любви, прости нам, господи, самые эти кощунственные слова.

Как Сигизмунд и ожидал, настала напряженная тишина. Поляки кусали губы и сердито сопели; великий князь как-то жутко ухмылялся; два литвина у него за спиной зверовато поводили плечами. «Да, неприятно, это я понимаю,— думал Сигизмунд.— А что ж вы хотели? Подкупить меня копьями и щитами или шубой бог знает с какого плеча? Все горностаи мира — пыль рядом с правдой. А правду следует говорить в глаза. Тогда легко и чисто на сердце, тогда можно порадоваться про себя, вот как в эту минуту». Он высказал свое отношение к обеим сторонам с достойной монарха откровенностью и, слава богу, при множестве уважаемых свидетелей. Все слышали смелость его ответа, и завтра, а то и сегодня, нет, нет, сегодня, в имперские княжества и в орден гонцы понесут письма с подробным изложением его жесткой отповеди литовскому князю. А если с Витовтом случится и то, чего он ждет, то гонцы снова помчат во все страны.

Одна цель была достигнута, и теперь наступила пора

успокоить туманными обещаниями этих несчастных поляков. Пусть заговорят первыми — тогда сохранится в силе произведенное впечатление, а он даст милостивый ответ.

Князь Витовт не замедлил с вопросом:

— Следует ли нам понимать слова короля так, что если на день Иоанна Крестителя возобновится наша война с орденом, то и венгерский король разорвет перемирие и выступит с войском на помощь крестоносцам?

Спросил и впился рысьим взглядом в глаза Сигизмунду.

Грубый был вопрос: «Выступит с войском?..» «Может, выступлю, а может, и нет,— думал Сигизмунд.— Нельзя же так прямо, по-бычьи, в лоб. Кто знает, что будет через два месяца? Может, невыгодно станет выступать с войском. Зачем вообще говорить о войсках? Помощь и помощь, а какая — бог определит».

— Увы! — вздохнул Сигизмунд.— При всем нашем миролюбии мы не сможем быть хладнокровными наблюдателями и принуждены будем, хоть искренне не хотим, пересмотреть условия столь ценимого нами мира с королем Владиславом. Но,— повеселел он,— это тот крайний случай, до которого, по нашему убеждению, дело не дойдет. Мы сделаем все доступное нашим силам, чтобы затушить искры пожара и обратить перемирие в мир. Я обращусь к великому магистру ордена Ульрику фон Юнгингену, а если потребуется, то сам поеду в Мальборк, и день святого Иоанна огласится не кликами войны, а радостными приветствиями вновь обретенного мира. Разумеется, если король Владислав и великий князь Александр не станут возражать против моей мирной миссии.

— Мы по достоинству оценим такие усилия,— ответил Витовт.

Дальше и говорить было не о чем. Поездка оказывалась совершенно бесплодной, даже ненужной, вредной, так как Сигизмунд громогласно заявил себя на стороне ордена. Редкой же красоты кони, одежды, драгоценные меха, сожалел Витовт, были выброшены коту под хвост. Сотню копий лучше было нанять за эти меха. Никаких усилий Сигизмунд не приложит, а если и приложит, то ничего путного они не дадут, поскольку орден доброю волей от Жмуди не откажется. Стоит же крестоносцам надавить на Сигизмунда, он и впрямь ввяжется в эту войну, и полякам придется защищать южные границы, держать в замках, а не вести против немцев достаточное число рыцарей. «И носит же земля такую жадную сволочь! — думал Витовт.— Ведь знал, о чем пойдет речь, и знал свой ответ, так зачем было темнить,

когда Генрик Цилейский сговаривал с ним эту встречу? Дрянь из дряней, то-то года не проходит, чтобы кто-нибудь не пытался убить или отравить. И было,— вспомнил,— уже отравили, так лекарь, будь он трижды проклят, приказал повесить короля за ноги вниз головой. Так и провисел, что туша, все двадцать четыре часа; у другого морда лопнула бы от налива крови, этому подлецу все нипочем!» Плюнуть бы и уйти не простясь, но грубить не годилось — Сигизмунд не преминул бы использовать такую ошибку, и тлела надежда, что к сказанному при всех король сделает пояснения без свидетелей, тем более что он приглашал «доброго брата Александра» и поляков к обеденному столу.

За обедом королева Варвара и венгерские дамы щебетали и смехом пытались развеселить озленных литовцев и поляков. Средь суеты застолья король Сигизмунд наклонился к Витовту и загадочно предложил уединиться для важного разговора. Князь немедленно согласился. Оба тотчас встали из-за стола и удалились в глухой покой. Князь терялся в догадках, о чем скажет Сигизмунд. Единственной приятностью могло быть королевское признание, что грозные речи о поддержке крестоносцев предназначались для успокоения сторонников ордена и не следует воспринимать их серьезно. Но для такого дополнения вовсе не требовалось многозначительной важности, какую напустил на себя король. Удивление князя усиливалось и тем, что Сигизмунд как-то странно сиял очами и принял монаршью позу, крайне неуместную при тайной, с глазу на глаз, беседе. «С чего это ты светишься? Чего лучишься? — думал князь.— Чему радуешься, хитрый лис?» Но то, что он услышал, было полнейшей неожиданностью.

— Сегодняшний день может войти в историю Европы! — торжественно отчеканил Сигизмунд.— О нем золотом запишут летописцы всех стран. Только от вас, мой дорогой брат, зависит, быть или не быть событию, которого давно ждут все государи и промедление с которым трогает их печалью.

— Что же это за событие? — спросил Витовт, не желая стоять в дурацком недоумении.

— Венчание вас королевской короной и возглашение нового королевства! — объявил Сигизмунд. Пусть день этот станет праздником обретения вами, дорогой брат, королевских атрибутов! — И, не давая Витовту опомниться, стал исчислять основания: — Сложились малоприятные обстоятельства. Чем больше я размышляю о них, тем сильнее мое изумление. Самое большое государство Европы, простерше-

ерся от моря до моря, называется до сих пор княжеством, а ваш светлый ум и завидная энергия давно требуют более достойного, чем княжеский, венца. Княжеская власть на ваших землях не отвечает происшедшим переменам. Она была достаточной, когда Великим княжеством правили ваши великие деды и отцы, отвергавшие, к сожалению, крест и вместе с ним знаки христианских монархов. Сегодня я нахожу это несправедливым, противным природе и вашему положению. По сути дела, вы, дорогой брат, и есть король; остается назвать вещи своими истинными именами.

Предложение было негаданное, лестное, завидное и, главное, чувствовал Витовт, делалось вполне серьезно. Редкостной удачей следовало считать это предложение. То называлось, чем мучился в тайниках души, что своей волею невозможно было сделать. Сам себя королем не объявишь; то есть можно объявить и можно отлить великолепную корону, но, хоть спи в ней, все равно будет детская, смешная для всех игра. Кто освятит ее? Кто признает законной? Кто возложит? Братец Ягайла тут же кинется войной. Каковы бы ни были побуждения Сигизмунда, он был прав, видел Витовт: честь воздавалась не по заслугам, несправедливо; братец Ягайла — король, он — князь, да еще и унизительно подчиненный, ибо братец называл себя во всех документах «найвеликим князем Литвы, Руси и Жмуди». А почему? с чего? за какие дела? Ушел на Польшу — ну и прощай! Кто владеет землями, на которых можно разместить три таких Польши? Чьими стараниями выросло и окрепло Великое княжество? Разве его? Витовта! Двадцать лет бился, собирал земли в кулак, заслужил, не вечно же зваться меньшим.

— Со дня на день умрет император Рупрехт,— ласкал слух князя Сигизмунд.— Я стану цесарем, и прошу поверить, мой дорогой брат, что первым моим делом на императорском престоле будет дело вашей коронации. Властью императора «Священной Римской империи» я освобожу вас от присяг и обязательств королю Ягайле, востребованных им и поляками в несчастливые для Великого княжества годы. Клянусь вам в этом своим королевским словом! Более того, если король Ягайла посмеет нарушить границу нового королевства или вредить каким-либо иным способом, мы окажем вам, дорогой брат, всю необходимую помощь.

— Слова сиятельного короля Сигизмунда — полная неожиданность для меня,— сказал Витовт,— и мне трудно вообразить, как наше бедное княжество сможет отблагодарить столь ценную заботу.

— Не стоит и думать об этом,— ответил Сигизмунд.— Торжество справедливости — вот что радостно мне, как и каждому доброму христианину. Если Великое княжество, вернее, если новое королевство ни в чем не будет зависимо от соседей — это и станет лучшей благодарностью нашим трудам!

«Мягко ты стелешь, да жестко спать,— подумал Витовт.— Хочешь, чтобы я разорвал союз с Ягайлой сейчас, в канун войны? Тогда орден расколет, как орех, поляков и примется за нас. Какой же толк будет короноваться? Завтра надену корону, а послезавтра ее снимут вместе с головой. Недолгая получится радость. Получить корону, зато навсегда потерять Жмудь. Втридорога просишь, дорогой брат. И уменьшит ли жадность крыжаков моя новая корона? Что им с того, что она королевская? Хоть императорская, была бы сила ее смахнуть. Трудно ли придумывать поводы для войн! Этот же Сигизмунд вместе с орденом сначала сожрут разбитую Польшу и начнут отрывать куски от нового королевства, пока оно не станет княжеством величиной с ноготь. И уже никто не защитит, никто не поможет. Вот разобьем крыжаков, тогда можно задуматься. А сейчас невозможно. Наверное, и не сам придумал, белые плащи научили. Для ордена старается, жадный подлец! Обговорили, уверены, что ослеплюсь блеском короны, не выведу войска. Ведь надеются на это, ведь это выбор,— осознал князь и почувствовал укол леденящего страха.— Ради раскола с Ягайлой на все пойдут. В Волковыске думали схватить — просчитались, нажимают здесь. Соглашусь — им хорошо, а откажусь? На моем ответе победу строят. Слишком многое зависит от моих слов. Нет, нельзя отказаться. И согласиться нельзя, потому что сразу же потребуют точных обязательств».

«Ну что молчишь, выгадываешь? — думал Сигизмунд.— Не сглупи, соглашайся! Тут, в этих стенах, я оберегаю тебя, а за воротами — только бог. А ему трудно уберечь каждого. И разве не оскорблением для моей чести будет отказ ничтожного князя от величайшей милости? Смогу ли я удержать руку, ведомую богом? Увы, много горьких минут может последовать, если старый литовец своим закоснелым умом не поймет обещанных благ. Но моя совесть чиста,— сказал себе с убеждением Сигизмунд.— Я сделал все доступное: ему предложено то, за что любой другой сразу кинулся бы целовать ноги. Этот же мужлан стоит истуканом, обмысливает выгоды».

— Каков же будет ваш ответ, мой дорогой брат? — с нетерпением спросил Сигизмунд.

— Признаюсь откровенно,— простодушно улыбнулся Витовт,— щедрость вашего сердца, король Сигизмунд, так сильно взволновала меня, что мне трудно собраться с мыслями. Получение короны будет счастливейшим днем моей жизни. Пусть светлейший король верно поймет мои чувства — мне надо прийти в себя. Ваша милостивая забота обещает великие перемены как в моей судьбе, так и в судьбе Великого княжества. У меня голова кружится от нахлынувшего счастья.

Сигизмунд едва сдержался, чтобы не вспылить. Невиданная дерзость! Голова закружилась у этого мерзавца, и он будет полгода приходить в себя. Так отвечать на предложение королевской короны! Да это хамский отказ! Не хочется быть королем, хочется воевать с орденом, держаться вместе с Ягайлой, вместе с ним грозить границам «Священной империи»! Так стоит ли удерживать тех, кто противится этим желаниям? Пусть пеняет на свое недомыслие. Короли — не монахи, их милосердие ограничено заботою о собственных народах.

— Разумеется, дорогой брат,— ласково ответил Сигизмунд.— Мне понятен ваш трепет. Войти в семью европейских монархов, стать равным среди равных, сменить княжеское кресло на королевский трон, получить признание и благословение римского папы — о, это нельзя решить в считанные минуты.

Витовт промолчал.

— Буду надеяться, что мы скоро продолжим начатый разговор,— сказал Сигизмунд и прибавил про себя: «С кем-либо иным, более мудрым. А теперь храни тебя бог».

Вернулись в зал. Скоро князь поднял свиту, простился с королем и королевой Варварой. Ему подали коня; окружившись боярами, он быстро поскакал на отведенный двор. В своем покое на втором ярусе дома сразу, не снимая кафтана и меча, повалился на кровать. Чувствовал сильную усталость, знал, что сейчас прикажет собираться в обратный путь, и хотелось успокоить мысли, затушить досаду от неудачи переговоров. Смежив веки, вспоминал беседу о коронации и говорил себе: «Да, отвечал Сигизмунду верно: ни да ни нет. С короной всегда успеется, им всегда будет важно разделить нас с Ягайлой, и через год, и через десять лет. Но пока цел орден — нельзя. После войны — другое дело. Вернем Жмудь — тогда и поговорим. Тогда не вы — мы будем ставить условия».

В это самое время, когда Витовт лежал у себя в покое, каким-то невероятным образом вспыхнули огнем все дво-

ры, примыкавшие к месту пребывания князя и его свиты. Десятки дворов загорелись разом и дружно. С поразительной быстротой огонь перекинулся на дворы, занятые литовцами и поляками, и на княжеский двор. Заполыхали конюшни и дрова, заборы и возы с сеном, огонь стал пожирать телеги, и языки его лизали стены самого дома. Витовта поднял ворвавшийся в покой маршалок Чупурна: «Князь, горим!» Витовт вскочил, выбил кувшином цветное стекло и, увидев обнимавшее дом огненное кольцо, ринулся к двери. «Черт с ними! — крикнул Чупурне, который пытался собрать одежды и драгоценности.— Голову бы спасти!» Слетели по лестнице во двор; бояре уже держали наготове коня. Тут во двор вбежали несколько разбойничьего вида людей при оружии и стали закрывать ворота. Андрей Ильинич, уже сидевший в седле, выхватил лук, и через мгновение передний разбойник повалился на спину. А с улицы заставляла собой ворота шайка конных венгров. Вторую стрелу Андрей выпустил по ним. «Вперед!» — крикнул князь. Бояре, обнажив мечи, рванулись к воротам. Преграждавших путь венгров выбили свирепым напором и посекли. На улицу, задернутую клубами дыма, гудевшую огнем, вымахивали конно епископы и польские рыцари. Все зло и страшно ругались. Навстречу им, заняв всю улицу, спешила конная толпа. Окружив князя и епископов, бояре и шляхта ураганом промчались сквозь эту толпу, сбивая каждого, кто держал оружие. Князь сам срубил какого-то кинувшегося к нему всадника. А сзади ржали оставшиеся в конюшнях и сейчас горевшие кони.

Князь скрипел зубами и матерился. «Сволочи! Сволочи! — твердил себе в яростном озверении.— Живьем хотели сжечь! Скот! Отблагодарил за кречетов и коней, за горностаев и золотые подковы! Сам же грамоту безопасности заручил, люксембургская гнида! Не по-вашему, так в огонь! Нравятся вам костры, ублюдки немецкие! Ну, погодите, получите летом сполна, припомнится этот костер!»

Отскакав три версты, заметили с пригорка погоню, однако небольшую. Князь решил погоню вырубить и приказал стать гуфом. Быстро выстроились. Все были свирепы, каждый что-нибудь утратил в огне: кто коня, кто телеги, кто одежду, кто лишился дорогого оружия, кто вообще остался только с тем, что имел на себе. Жаждали отмщения, зло сжимали мечи.

Скоро погоня приблизилась; оказалось, к общему разочарованию, что это король Сигизмунд с двором. Князь Витовт выдвинулся перед строем. «Здесь-то ты меня нагнал,—

думал князь, с гадливостью наблюдая прыгающего в седле короля.— А в городе не мог? В окно, дрянь, глядел на огонь, думал — сгорю. Мириться мчишь, загладить промашку? Ну, давай, кланяйся. Хоть маленькая, все же радость!»

— О, дорогой брат! — издали закричал король.— Я в потрясении! Ужасное происшествие! Какое счастье, что вы не пострадали!

— Господь защитил! — мрачно ответил Витовт.

— Как только мне сказали о пожаре,— не смущался Сигизмунд,— я тут же вскочил на коня. О вечный стыд и позор! Молю бога, чтобы вы не затаили обиды. Пожары — бич наших городов. Какое горе для меня, что ваш приезд отмечен столь печальным событием!

Это бурное излияние слов, продолжавшееся довольно долго, завершилось никчемным жестом.

— Мой дорогой брат! — воскликнул король.— Не терзайте вашего искреннего друга хмуростью сердца. Протяните мне свою руку в знак того, что на наши добрые отношения не ляжет тень случайного пожара.— И, сняв перчатку, Сигизмунд протянул Витовту руку.

Князь подал свою. На том и расстались. Сигизмунд возвращался в Кежмарк, кляня крестоносцев, которые бесполезно обратили в угли полгорода. Витовт скакал к границе, кляня подлость и бесстыдство Сигизмунда. Бояре же и шляхта, подсчитывали свои убытки, срывали злость на лошадях.

В Мушине переночевали, сменили коней и к обеду следующего дня примчались в Новый Сонч, где с нетерпением ожидал великого князя король Ягайла.

## БРЕСТ. 20 АПРЕЛЯ

На Люблинской дороге, там, где в декабре великий князь поджидал короля, встречала Витовта княгиня Анна. Был солнечный апрельский день; в топях, надрываясь, трещали жабы; чернолесье обтягивалось листом, и казалось, что гаи и березовые дубравы окурены зеленым дымком. Боком сидя в седле, княгиня рысила впереди толпы съехавшихся в Брест князей и панов. Она узнала мужа издалека, взволновалась, ударила лошадь и понеслась навстречу. Князь радостно засмеялся, подскакал вплотную. Вскочил на стременах и расцеловал в глаза, нашептывая: «Соскучился, Анна! Рад тебе!» Так же порывисто, будто забыл, оторвался, чтобы здороваться со встречавшей знатью. Оглядывал знакомые лица, весело кричал: «Здорово, Жиги-

монт!», «Здорово, князь Роман!», «Здорово, Гаштольд!». Все собрались, все, кто был сейчас нужен, только самые дальние не приехали. Вертелся в седле на четыре стороны; кому подавал руку, кому кивал, кого весело спрашивал: «Ну что, без меня с крыжаками не воевали? А меня чуть не сожгли в Кежмарке, как ведьму, так их и так!» Среди шумной суеты, смеха, приветствий, криков Витовт с княгиней протиснулись сквозь строй раздвигавшихся князей — и поскакали в город.

Солнце било в глаза, гудела под копытами дорога. Анна наблюдала за мужем и по тому, как раздувал ноздри, как жадно втягивал грудью свежесть воздуха, напитанного запахами земли, чувствовала в нем давнишнее жгучее нетерпение дела, отъявленную, запомнившуюся со времен борьбы с Ягайлой решимость. Если ставил цель, то рвался к ней упорно, весело, удальски. Любила в муже этот веселый порыв, радость риска, страстное упоение минутой. Знала наизусть все его привычки и настроения, видела, что сейчас он рад этому свиданию на дороге, отряду соратников за спиной, рад войне, которой долго избегал, и близкой уже минуте, когда скажет: «Настал святой час!» — и кликнет на-конь все боярство Великого княжества. И двинутся десятки тысяч рыцарей. И сам прыгнет в седло и в тот же миг забудет о ней на месяц, два, три, пока не сделает дело, а тогда память подскажет, он опомнится и будет, изматывая, меняя коней, гнать днем и ночью, чтобы хоть на час приблизить встречу. Но любила и отрешенные его состояния, когда он застывал в кресле или седле, обдумывая что-то тайное, чем не делился; ледяной его взгляд словно буравил время, прозревая будущее, и он был недоступен, мрачен, жуток, как дьявол. Улыбаясь, следила за мужем, за его простодушной радостью яркому солнцу, погнавшему в рост траву и листья, пробудившему птиц, которые носили над дорогой веточки для новых гнезд. Неожиданно князь взглянул на нее и, сияя глазами, выкрикнул:

— Хорошо, Анна! Все равно как раньше!

Настроение лихой молодости, владевшее мужем, сразу передалось ей. Вдруг словно провалилась на двадцать, на тридцать лет назад, в молодые годы, когда уходили в изгнание, возвращались, опять уходили, скакали в ночной темноте, скитались по дворам, прятались в лесах, засыпали, приникнув друг к другу, под жаркий шепот: «С тобой хоть в ад, на любые муки!» Сколько было любви! Кровь бесилась, ночи вспыхивали, сгорали, как зничкн, а весь день — сладкая жуть в душе, жадное ожидание, сердце отсчитыва-

ло часы, искала его взгляд, и вдруг глянет — обжигало всю, как огнем. Даже в медовый месяц, даже когда Софья родилась, а потом Юрочка и Иванка, не было так хорошо. Вроде и не жалелось нежных слов, и вместе радовались детям, но как-то все делалось спокойно — были чувства, не было трепета: приходил, смеялся, уезжал, приезжал, рассказывал, но всегда со скучинкой, всегда тепло, без огня; о Ягайле волновался больше, чем о ней, и ревновала, мучилась обидой, что тому отдает больше чувств, больше памяти, времени, души. И только в Крево, когда ждал петлю, когда, обреченный, обманутый, разбитый, просеивал в ночных бдениях свою жизнь, свои дружбы и привязанности, только там, в каменной темнице, перед лицом близкой смерти, открыл , что имеет одного друга, преданного, верного по гроб, готового идти рядом в огонь, в петлю, под стрелы,— ее, Анну.

О, счастливая ночь побега! Топот коней, звезды, синий волшебный свет. И он рядом, стремя в стремя,— торжествующий, любимый, благодарный, завоеванный напрочно, намертво, навсегда. И перемешанная счастьем и ужасом ночь в Риттерсвердере, когда Ягайла сломился и уступил власть на Литве. Долгая, бессонная ночь на Купалу. Сидели рядышком у окна, чувствовала, как он терзался — вдруг вскакивал, опять садился, вдруг вымчался из покоя и примчался, принес кольчугу: «Надень!» Мучился, что не смог вытребовать из Кенигсберга детей. Всех своих заложников собрал в Риттерсвердер — князей Ивана Гольшанского, Юрия Бельского, Глеба Святославовича, многих бояр, но самых ценных немцы не отпускали: оставался в Мальборке брат Жигимонт и в Кенигсбергском замке сидели взаперти Юрочка и Иванка. Обнявшись, плакали, молились за них — и знали: иначе нельзя, придется рисковать; убеждали друг друга, что все обойдется, что немцы не посмеют казнить детей. Витовт шептал: «Выкуплю, обменяю на пленных, обменяю на Жмудь». Вдруг откидывался к стене, искажался страхом: «Нет, не могу, достану, добуду их — тогда!» Прижималась лицом к мокрой его щеке, слеза попадала на губы, говорила то, что жаждал услышать: «Надо, надо, Витовт! Крепись! Вернем мальчиков, заплатишь землей, отдадут!» Вдруг слезы пересыхали, хватал за плечи, клялся: «Верь, сяду на трон, верну, им будет власть, им княжество!» Забывались в счастливых мечтах, радовались завтрашним переменам, концу своих мытарств, мук, борьбы за корону, смеялись; вдруг бешено осыпал поцелуями, вдруг, о ней забыв, улыбался своей победе или нетерпеливо гля-

дел в окно: меркнут ли звезды? Потом стало светать. «Помолимся!» — сказал Витовт. Коротко помолились. Расцеловала его, он достал меч и с голым мечом вышел во двор. Несколько минут было тихо, и внезапно — ярые крики наших, звон мечей, унылые крики крыжаков. Когда солнце выплыло из-за леса, деревянный замок пылал, а они скакали брать Гродно.

А потом Вильно, костел святого Станислава, золотые ризы епископа Андрея, корона в его руках, недовольное лицо Ядвиги, деланные улыбки Ягайлы, тысячи бояр — и они с Витовтом перед алтарем венчаются на княжение; ладан, блеск камней, золото коснулось волос, громкий стук в сердце, жар, темень в глазах: дошли! домоглись! свершилось! Скосила глаза — Витовт в короне, бледен, губы сжаты, глаза горят. Подумала: «Вот, Юрочка так же будет венчаться!» И сглазила. Нельзя было так думать, надо было в тот час печалиться за детей, не гневить бога радостью власти, он защитил бы младенцев, остановил свирепую немецкую руку. А тут пиры, славословия, убежденность, что немцы начнут торговаться, что примеривают, сколько взять за Сигизмунда, сколько за мальчиков; а время бежит, они живы, уверенность крепнет, полное довольство: да, правильно решили, что ж немцы — звери, что ж они — глупцы, не понимают выгод? И вдруг гонец ползет на коленях, слезы по бороде, рвет кафтан: «Княгиня, ты — сирота, детей твоих в Кенигсберге крыжаки отравили».

Мгновение назад скакала с пылающим лицом, крепко сжимала повод, забылась счастьем, не чувствовала дороги, коня, седла, как тогда, в дни борьбы, в свои двадцать пять лет, а увиделись глаза деток — и словно валун могильный лег на плечи, смял, сдавил, сломил, выжал слезы, вырвал всхлипы — и горечь, мука, не хочется жить.

— Ты что? — удивился князь.

— Детки наши вспомнились, Витовт.

Он промолчал, но, будто ударившись, осел в седле, сгорбился, стускнел, уткнулся взглядом в песок дороги, бессильный и беспомощный перед этой бедой. Год за годом пролетали с того дня, два десятка лет протекло, но не было облегчения. Княгиня поглядывала на мужа, жалела его, жалела себя. «Господи,— думала,— печальные наши судьбы! Намучились, настрадались, сожглись силы, бог не дал новых деток, пресек род». Знала, что князь терзается этим страшно. Часто забывал, часто не давал памяти воли, глушил боль делами, разъездами, суетой встреч; убеждал ее и себя: «Надо жить, терпеть, и мы не вечны, и мы уйдем к

ним, а здесь надо исполнить свое, ведь ими оплачено, и хватит слез, все, конец, ни слова о детях, иначе нам ад, жизнь хуже ада», вдруг посреди ночи пробуждался, мертво глядел в пустоту, видя их. Надолго цепенел душой, лежал разбитый, опустошенный, в глухом безразличии к любым заботам, тоскливо говорил: «Зачем, ради кого стараться, Анна? В могилу же власть не унесу. Кто-то сменит, придет на готовое, может, тот, кого ненавижу. Или дурак. Вообще, чужой. Были бы они. Для чужих — охоты нет!» И месяцы — в кручине, скуке, тоске. Потом взрывался: «Отмщу, высеку, рассею!» Но не мог отмстить, не было силы и много было врагов. Притворялся, что верит неуклюжему объяснению — заболели и отошли по божьей воле; мол, дело случая, что смерть пришла в Кенигсберге. Такая жуткая ложь; ведь дошло, рассказали, как некий Зомберг поднес мальчикам в кубках яд, когда бедные попросили водицы.

— Витовт! — позвала Анна.

Князь оборотился.

— Убей их!

Он кивнул, и грозный этот кивок утешил ее. Услыхала мощный топот коней, глянула назад — князья, паны, бояре шли на рысях в Брест, ее рыцари, ее мстители в близкой войне.

Но облегчение души длилось недолго. Они побьют немцев, подумалось ей, князь казнит Зомберга, справедливость отыщется, но дети к ней не вернутся, месть убийце их не воскресит, и радость встречи с детьми не ждет ее на этом свете. Прогневали они бога, она и князь, бог никогда не доверит им детскую душу. Вы хотели власти, скажет бог, рвались к власти, всем жертвовали ради нее — так насладитесь своим властвованием! Но цену за такую радость вы назначили сами — дети. Отдали их в залог врагу; враг уничтожил ваш залог. Вы знали, что рискуете их жизнями. Забудьте о них и радуйтесь тому, что получили за них,— всеобщему подобострастью. Зачем вам дети, если муж твой не любит детей? Он грешен навечно, он — Ирод, на нем несмываемый грех детоубийства. Или не князь Витовт приказал зарезать сто псковских младенцев? И нашлись душегубы, и выполнили веление, и сто детских сердечек замерли, разорванные каленым железом.

Да, Анна, внушает бог, счастье твое, что ты не увидела тех убийств собственными глазами и не хочешь поэтому поверить в них. Но ты слышала рассказы, тебе, крестясь, говорили о них служанки, а им сказали мужья — свидетели той резни.

Княгиня ссутулилась под гнетом своих видений, замкнулась, и порыв, объединивший ее на короткий час с мужем, угас. Жизнь прожита, все в ней изведано, и ничего лучшего, чем было в молодости, уже не будет. «Все жестоки,— подумала она в оправдание князю.— Многим ли отец мой, князь Святослав, был добрее? Тоже детские смерти совесть отягчили, когда мстиславцев живьем сжигали в хатах или под нижний венец сруба головами подкладывали. Может, и за его грехи меня бог ответчицей выбрал. Отдавая за Витовта, мог ли князь Святослав думать, что Смоленск Литве так накрепко подпадет? Хотел вызволиться, с Андреем Полоцким и ливонцами объединялся против Ягайлы, воевал, пока не погиб в бою против Витовта. Зять тестя погубил, муж — отца. Только что не собственной рукой. А я его из Кревского замка спасала. Выходит — для отцовской смерти. А вслед за отцом вся семья сокрушилась: братья погибли, дети мои отравлены. Откуда же моему счастью удаться? Род наш несчастный — обречен был землю потерять и вымереть. Но смерть окаянного Зомберга будет в радость. Так пусть убьют его, пусть Юрочка и Иванка увидят праведный взмах отцовского меча!»

Того самого дня под вечер великий князь собрал наместников и удельных князей в большом зале замка. Сам сидел на возвышении, они — вдоль стен, лишь прибывшие из Варшавы мазовецкие князья Януш и Земовит сидели в креслах отдельно. Все собрались, радовался Витовт, почти все; не было князя Семена Ольгердовича, князя Александра Стародубского и подольского князя Ивана Жедевида — эти уже с хоругвями придут.

Стояло торжественное молчание. Все были исполнены важности, ждали решительных, приказных слов великого князя. Он медлил, улыбка блуждала по его лицу, внимательно обводил взглядом обращенные на него лица, словно исчислял, кого поведет за собой на битву. Всех их любил в эту минуту, хотел, чтобы и они все любили друг друга, оставили свои распри и зависти, чтобы католики не грызлись с православными, удельные князья не косились на панов, чтобы от сей минуты и на весь час войны сложилось дружное единение, ясное сознание небывалости вершимого дела. Счастливая была минута, жданная много лет; часто о ней думалось, многажды она являлась в мечтах, и долголетними, тяжелыми трудами ее приближали. Но одно дело мечтать, думать, готовиться, и другое — вот сейчас объявить: война! Погоня! Сохло от волнения горло. Переломная минута, перемена судеб! Здесь, в Брестском замке, зи-

мой вместе с Ягайлой продумали план войны, а сейчас здесь же призывается под хоругви все воинство. Вот в этих стенах, на этом острове между Бугом и Мухавцом открылся счет последних дней ордена.

— Долго,— срывающимся голосом сказал Витовт,— долго наши земли ждали дня прусского похода. Он настал! Все, кто должен и кто может,— в седло! Били нас, побьем мы!

— Побьем! — вскочил князь Александр Слуцкий и выхватил меч.

И все вырвали из ножен мечи и встали: брат Жигимонт, князь пинский Юрий Нос, наместник трокский Явнис, наместник ковенский Сунигайла, князья Семен и Иван Друцкие, наместник полоцкий Иван Немир, наместник киевский князь Иван Гольшанский, наместник ушпольский Остик, князья Иван и Григорий Несвижские, наместник кревский Гаштольд, князь Андрей Лукомльский, наместник гродненский Михаил Монтыгирд, наместник вилькомирский Вежкгайла, воевода луцкий Федор Острожский, наместник виленский Войцех Монивид, князь Роман Кобринский, жмудские старосты Румбольд и Михаил Кезгайла, князь Юрий Заславский, князь могилевский Андрей, князь Сангушка Ратненский, наместник витебский князь Василь, наместник смоленский Василь Борейкович, наместник ошмянский Минигайла, маршалок Чупурна, наместник дрогичинский Алексей Кмита. Встали мазовецкие князья Януш и Земовит. И сам великий князь поднялся перед святостью общего порыва.

Потом застучали, прячась в ножны, мечи; князья и бояре вернулись на лавки.

— А сейчас назначаю,— сказал Витовт,— всем хоругвям собираться до третьего дня июня в Гродно. Судебные дела, все иски и тяжбы приостановить. Бомбарды все из крепостей снять и отправить с обозами вперед. Каждому, кто выступает, иметь с собой прокорму на пять недель, считая этот срок от Гродно. А бояре и города должны знать: за отказ, или уклонение от похода, или сокрытие обязанных к Погоне людей буду казнить горлом. Король Ягайла уже разослал вици, уже чехов и моравов нанимают для войны, все мазовецкое рыцарство придет на битву.— Тут Земовит и Януш кивнули: да, все.— Наши татары и пять тысяч кипчаков сядут в седло, и я жду от вас, князья, паны, наместники и бояре, полной щедрости. Ни один меч, ни один шлем, ни один топор не должны остаться в домах или лавках — в дело. Для охраны в дни похода городов и замков —

Виленского, Трокского, Ковенского, Гродненского, Новогрудского, Киевского, Владимирского, Каменецкого, Полоцкого, Медницкого, Луцкого, Лидского — поставить мещан, а все рыцарство собрать в хоругви. Для охраны обоза и подмоги в бою иметь на каждой подводе кроме возницы пешего ратника и брать одного ратника с десяти крестьянских дворов. Из семи жмудских поветов три пойдут с нами, а с другими, Кезгайла, ты ударишь на Клайпеду, Юрборг, Рагнету в купальскую ночь.

Говорил быстро, все было выношено, обдумано и обсоветовано десятки раз. Еще в осеннюю встречу с Семеном Мстиславским, прикидывая, каких сил потребует от княжества эта война, решили: чем больше пойдет, тем больше вернется; одних бояр с паробками не хватит, все должны ополчиться. Пять — семь тысяч смердов — это стена тяжелых топоров, это пять — семь тысяч свирепых ударов. И ночной отвлекающий удар жмудинов не однажды воображался во всей мощи мстительных костров. Постараться будет должен Кезгайла, чтобы четыре хоругви сошли за двенадцать, выжечь, нанести убытки, смутить дух. А если ливонский магистр Конрад фон Ветингоф дернется воевать, то Жмудь встретит ливонцев. Радостно об этом думалось, но особенно радовала промашка, которую уже совершили крыжаки. Сомнений уже нет, что на большое сражение ливонские хоругви не придут. Проморгали, проспали удобный срок. Пусть Ветингоф объявит войну хоть завтра, начнется же она через три месяца, только в августе. Сам согласился на условие такого разрыва между объявлением войны и военными действиями. Как в воду глядели в январе, когда обговаривали с Ветингофом свои отношения. Тогда ему эти три месяца отсрочки были выгодны — дозволяли бесстрашно ждать помощи от пруссов, сейчас нам выгодны, проигрышем обернулась крыжацкая хитрость. Вот так: в июне нельзя воевать, в августе — поздно. Хотя, подумал со снисхождением, ливонцам и выгодно остаться в стороне — сберегут свои земли, а ввяжутся — размолотим, и Псков и Новгород поддержат. В августе же Прусский орден ни единым рыцарем Ливонскому не поможет — сам будет просить о подмоге. Будет разбит и повержен. Припомнятся кежмарский костер и все прочие. За каждую слезинку Анны слетит по голове, а она тысячи их пролила. И погибельный для крыжаков бой рисовался в зримых чертах: мечи, кони, стоны, смерти людей; и все они, сейчас спокойно сидевшие на лавках, виделись в этом бою: брат Жигимонт впереди новогрудской хоругви, и князь Роман, и Юрий Нос, и Петр

Гаштольд, и Немир, и отсутствующие Семен, Жедевид, Корибут, который, решил Витовт, поведет новгород-северскую хоругвь. Много людей поляжет, многие не вернутся, но за дело, за святое дело, оно любых стоит жертв.

— Назначаю,— говорит меж тем Витовт,— своих наместников в войске: князя Семена Лингвена Мстиславского, его должны слушать, как меня, а еще Войцеха Монивида и Гаштольда. За всем войсковым обозом и за порядком в Гродно следить будет Стась Чупурна.— И, метнув взглядом в князей, жестко прибавил: — А кто их слушать не станет, ответит мне головой.

Видел, что недовольны и несогласны. Мол, как это Монивидишку, а не меня, князя Слуцкого, чистого Гедиминовича, равного тебе, Витовт? Что ж это, спрашиваться у Чупурны, чей отец моему стремя придерживал, где табором располагаться? Ну, ладно, князь Семен, можно понять, брат королевский, Ольгердович, знает войну, но этих-то зачем? «Затем,— зло подумал Витовт,— чтобы вы не брыкались один перед другим. Не местом — мечом ищите славу и честь. А что злитесь, так польза, тем крепче будете рубиться, тем больше людей приведете, желая блеснуть».

И вообразились ему дружины, полки, хоругви на всех дорогах княжества, движение десятков тысяч людей из Витебска и Смоленска, Чернигова и Стародуба, Луцка и Киева, Трок, Вильни, Ошмян, Слуцка, Орши, Медников, Бреста, со всех концов, через все земли — в Гродно, и повсеместно оставленные мужчинами беззащитные дворы.

— Вам законы Погони известны,— сказал Витовт.— В хоругвях вы, а в поветах и городах тиуны должны строго их исполнять. Моим повелением. Каждому и любому, невзирая на род и заслуги, если посмеет казаковать, нахальничать, ломиться в чужие дворы, касаться чужого добра, рубить чужие гаи, уводить чужие стада, насильничать и другим образом причинять вред, одно и немедленное наказание — петля! Все должны это знать, как имя Иисуса Христа. И должны знать, что отвага и храбрость будут достойно мною награждены!

Помолчал, улыбнулся и весело завершил:

— А сейчас — за дело!

Наутро Брестский замок опустел: разъехались наместники, расскакались срочные гонцы, разъехалась по домам хоругвь, ходившая с Витовтом в Кежмарк. Сам же великий князь задержался в Бресте со своими мазовецкими гостями.

Андрей Ильинич спешил к Софье. Дорога была веселая, множество попутчиков шло на Волковыск — виленцы, гродненцы, полочане, с которыми вместе служил. В Волковыске разделились — кто подался через Лиду на Ошмяны и Вильно, кто через Слоним на Новогрудок, Менск, Витебск, Смоленск. Андрей с людьми Михайлы Монтыгирда повернул на Гродненский шлях. Пока кормились кони, встретился с тиуном Волковичем и оставил при нем своего лучника Никиту с наказом лететь стрелой в Рось, как только услышится о подъезде к городу великого князя.

Возле Роси расстался Андрей с гродненцами и один, с запасным только конем, поскакал к знакомому двору. Мишка отстраивался, белел свежими столбами обновленный и расширенный частокол, вокруг трудились над бревнами десятка два тесельников. И двор обживался: уже стояли новый хлев, новая стайня, была срублена и покрыта соломой курная изба, и самого хозяйского дома стояло на камнях уже шесть венцов, а плотники поднимали седьмой. Возле стайни парился на костре котел, опекаемый Еленкой и двумя старухами. Софьи ж Андрей не увидал и огорчился: мечталось, что она будет встречать в воротах или еще прежде — на повороте. Но и там не было, и тут не видно. «Забыла!» — тускнея, подумал Андрей, но уже бежали к нему от плотников радостные Мишка и Гнатка. Чуть не вырвали из седла — и в объятья: Гнатка — ласково, но все равно кости затрещали, Мишка — крепко.

— Ну, ты здоров стал! — радовался Андрей.— Прямо медведь! — И спросил быстро: — Софья здесь?

— Где ж ей быть! — усмехнулся приятель.— Видишь, толока у нас, хочу построиться до похода. А скоро позовут?

— На первый день июня,— ответил Андрей, стреляя глазами по углам.

— Тогда успею,— сказал Мишка и вдруг закричал: — Эй, сестра!

Через мгновение дверь избенки отворилась и вышла Софья — босая, в летнике, с засученными рукавами. Вышла, увидела Андрея и так радостно просветилась, так счастливо всплеснула руками, таким ликованием засияли ее глаза, что Андрей забыл обо всех, кинулся к ней, подхватил на руки, прижал к груди и — как было во снах, как в мечтах — стал целовать щеки, губы, глаза, охватившие его руки.

Подошел Мишка, потоптался, покашлял.

— Хорошо, Ильинич, что ты приехал, а то у нас некоторые плакали по ночам. Погостишь?

— Погощу,— кивнул Андрей, не опуская с рук Софью.

— Ну, пойду работать,— извинительно сказал Мишка и, к радости Андрея, отошел.

Тут Андрей заметил устремленные на себя и Софью любопытные взгляды. Сощурился, глянул на плотников — те отвели глаза, взялись за свои топоры,— глянул на баб — тех как ветром повернуло к котлу, чуть головами в него не влезли. Тогда поставил Софью на землю, прижал к себе и, целуя волосы, зашептал: «Сердечко, солнышко, звездочка моя, вот и дождались, скоро навсегда будем вместе!» Все сделалось прекрасным, все радовало и веселило. Снял кафтан, отдал Софье — радость; снял меч, она приняла, удивилась: «Ух, какой тяжелый!» — и оба в смех; стал умываться, она поливает из кувшина — обоим хохочется звонко и легко, как в детстве; стала кормить, сама села напротив — праздников таких святых не было, как сейчас. Оглянулся на дверь, достал из-за пояса платочек, развернул — в нем золотое колечко: «Примерь, завтра надену». Взяла колечко, надела на палец, поворачивает руку, глядит так серьезно, будто не верит глазам. Вдруг поспешила к сундуку, чего-то в нем порылась, протягивает зажатый кулачок: «Для тебя». Андрей подставил ладонь — упал перстенек, и осеклось на миг сердце.

— Вот и обручились! — сказал Андрей.— Теперь жених и невеста! — И озорно подмигнул: — А там муж и жена!

Порывисто встал, обнял Софью, сжал в объятьях и жадно повел губами по щеке. Слышал, как дрожит.

Вдруг дверь стала противно скрипеть — едва успел отшатнуться: в избу наполовину всунулась баба.

— Софьюшка, что засыпать: пшено или гречку? — спросила она умильным голосом, пожирая глазами застыдившуюся до краски Софью.

— Гречку сыпь, гречку! — пуганул Андрей, досадуя. Баба скрылась. Софья, убоявшись Андреевой смелости, торопливо села за стол.

— Вот же, принесла нелегкая! — засмеялся Андрей.

Вновь стало беззаботно, вновь радовались тайной примерке колечек, завтрашнему празднику и, разделенные столом, ласкались глазами.

— А я видел королеву венгерскую,— сказал Андрей.— Ну, Софья, подметок твоих не стоит. Ей-богу! Щеки бураком натерты, кожа цыпкой побита, а спереди и сзади словно мечом обсекли. Гляжу на нее, думаю: как там моя пре-

красная королева? Помнит ли меня? Не забыла, как с глаз сошел?

— Никогда не забывала! — счастливо созналась Софья.— Каждый день, каждой ночью молилась за тебя...

— Ну, значит, ты меня и спасла! — радовался Андрей и рассказывал, как вырывались из огня.

На общем ужине рассказал о том же. Помимо крестьян помогали Росевичам окрестные земяне. Слушали с интересом, расспрашивали о княжеских подарках королю, расспрашивали, кто собирался в Бресте, мрачно говорили: «И наши выставляют хоругвь. Уж кому-кому, а нам есть за что погладить крыжаков мечами. Одних ребятишек сотню погубили. Мужиков за три сотни полегло. А баб и того больше. На сороковины весь город выл — ни одной семьи не минуло. Оно, конечно, безоружных рубить нетрудно. Вот сойдемся в поле, там поглядим».

Посидели до звезд, и народ разошелся спать. Стало тихо. Андрей и Софья, обнявшись, сидели на бревне. Вдоль огорожи бродил ночной сторож, шуршали по щепе его сапоги; слышное его присутствие мешало шептаться, казалось, что подслушивает и подглядывает. Софья накинула кожушок, пошла к реке.

Серп месяца плыл по небу, ярко сиял; звезды гляделись в воду; в кустах на другом берегу вдруг защелкали, засвистали соловьи; тихо воркотала, наплывая на невидные коряги, вода. Особенная была ночь, и особенный был ушедший вечер — чувствовали, что запомнится навсегда. Стояли, дивились, шептались, что это только для них заботится бог и нарочно бабу прислал в неловкое время, чтобы лучше запомнились часы счастья, и первому соловью дал голос именно сегодня, чтобы им пел, и для них высеял счастливыми знаками звезды, и золотой серп в вышине не угасает, а рождается, потому что и у них вся жизнь и все счастье впереди. Пылали, целовались, вздыхали, что от обручения до свадьбы, все лето ждать, опять разлучаться, а каждый день — век, а душа горит, сердцу тесно — вон как колотится, бешено стучится, еще не выдержит разлуки, лопнет, разорвется пополам; а как хорошо — слов нет, стоять бы и стоять бы так бесконечно, ловить губы, слушать шепот, счастливо млеть!

Месяц будто верхом несся по небу, потянуло утром; нехотя вернулись на двор. Андрей отыскал в стайне, где спал народ, свободное место, повалился на солому, накрылся Софьиным кожушком и блаженно уснул. Проснулся — кругом никого, топоры стучат, яркий день. Вскочил, плеснул

водой в лицо — и к тесельникам. Полнился силой, не было б работы — так, казалось, бегом бы понесся или под облака взлетел. Махал секирой, надрубал, щепил бревно, улыбался, вспоминая ночь. В обед увидал Софью — и словно жарких угольев бросили на сердце. Руки дрожали, ложку мимо рта проносил. «Господи,— ужасался,— скоро ехать; а как уезжать — околею с тоски!» Есть расхотелось. Но и никто недообедал, потому что прискакал Никита и от имени тиуна сказал, что завтра велено собраться в город: великий князь приезжает, хочет смотреть хоругвь. Тут же земяне разобрали коней и разъехались. Софья села возле Андрея, приникла к плечу: «Ой, Андрюша, мне страшно! Могла бы — не отпустила!» «Да уж обойдется,— успокаивал Андрей.— Не впервые. Меня колечко твое сбережет».

Рано утром Мишка и Гнатка с ратниками выправились в Волковыск. Еленка, собирая их, шепнула Гнатке передать поклон Юрию. И смутилась. «Что, скучаешь?» — спросил богатырь. «Поклон передай, а что скучаю, не говори». «Да уж,— усмехнулся Гнатка.— Мне что? Как хочешь». Андрей поехал с ними, надеялся, что маршалок Чупурна исполнит свое обещание и выступит сватом. Вот с маршалком и будет лестное, достойное, памятное сватовство, честь и ему и Росевичам. Еще на вербницу могло совершиться. Тогда немецкий наезд, сейчас немецкий поход — все препоны. Но уж сегодня, твердо решил Андрей, как бы там ни было, как бы княжеский двор ни торопился, он уговорит Чупурну, упросит завернуть в Рось для такого важнейшего дела. «Обручимся — можно с чистой душой и на войну».

По дороге к ним приставали бояре и земяне со своими копьями, все в полном вооружении. Кто вел девять людей, кто двух, но и таких было много, кто ехал на сбор одиночно.

— Эх, нам бы в марте вот так идти молиться,— говорил Андрею Мишка,— при сулицах да под шлемами. Ног бы гости не унесли. По ночам наши снятся, все кричат, кричат, укоряют. Тут, Андрей, старуха жила, шептала хорошо, вот такого была роста, мне жизнь вернула, да ты ее видел. Всех мне жалко: и баб, и Ваську Волковича, и отца, но ни о ком так не жалею, как о Кульчихе. Все думаю, не могу понять: сидела тихо в лесу, никого не касалась; у нас говорят — колдунья, а то ложь, горемыка одинокая, отшельница святая, травками и словом никому не отказывала помочь, и вот — приходит гад и, не зная, не ведая, кто, за что, просто так, чтобы не было, рубит мечом. Просила меня свечу по ней зажечь в церкви, как умрет, а я шутил: десять зажгу, думал — еще сто лет жить будет. Все десять и по-

ставил. Ярко горели. Так они, огни эти, вот тут,— коснулся груди,— меня жгут...

Андрей слушал, молча кивал; другой жил заботой, не думал о крыжаках, знал: станут биться — и он будет биться; а сейчас горело свои уладить дела: Чупурну перехватить, с Софьей обручиться и успеть вовремя в Полоцк. Влюбиться ему надо, думал про товарища. Сразу бы тоска отвалилась. Что ж тут: горюй-разгорюй — не вернешь.

— Раньше и в голову не приходило, не болело,— говорил Мишка,— а как наших посекли в городе, когда Ольгу убили, стыд меня стал мучить, Андрей. Коложа в уме стоит. И мы ведь коложан мордовали. Аки звери бешеные носились, кровь, как воду, пускали. Я сам, вот этой рукой, беззащитных людей с коня сек. Может, тоже чью-то невесту... Воздалось мне. Жутко на сердце. Жутко мне. Чувствую, не прийти мне с войны. Не должен.

— Ты что, ты что! — взволновался Гнатка.— Ты, это, словом не сыпь. Разве можно? Молод был, глуп. Вот покаялся — бог простит. Ты и думать забудь. Ты ж обо мне помни, ты мне что сын! — И старый богатырь хлопнул Мишку меж лопаток, пригнув к седлу.

Андрей опять промолчал: нечего было сказать. Сам, если припомнить, такими грехами обвешан, как елка шишками. Да и каждый. И как избежать? Берут город, так прежде товарищей под стенами немало поляжет, озлишься, злая кровь очи зальет, озвереешь — и пошел колотить. А придешь в себя — глаза верить отказываются. Века назад началось, до сих пор мстится. С детских лет приучаешься. То псковичи приходили, резали полочан, потом полочане идут, выбивают псковичей, смоляне — мстиславцев, потом мстиславцы — смолян. Дурное дело, но терзаться насмерть нельзя. Не они первые, не они последние. А на войну, прав Гнатка, с тяжелым сердцем лучше не ходить. Кто крепко совестится и кто крепко зол, тот первым и гинет. А сейчас мирные годы наступают. Отвоюем с крыжаками, и не с кем станет воевать. Осядем на вотчинах: Мишка отгорюет по Ольге, не сидеть же бирюком — женится, дети пойдут, будет жить; Еленка замуж уйдет; а он увезет Софью к себе, под Полоцк,— живите все, радуйтесь, чего более, лучшего счастья не надо.

На рынке с отстроенными после пожара лавками и костелом уже полно было ратников, и новые все притекали; знакомые сходились в кружки, стоял веселый гул. Андрей прикинул, что приличная собирается хоругвь — копий двести, и многие одеты были хорошо, не хуже немцев, но много

было и в кожаных панцирях — в долгой битве верные смертники. Скоро появился Волкович, принес хоругвь, крикнул:

— Эй, лихие, кто хорунжим пойдет?

— Я! — первым вызвался Мишка.

И впрямь испытывает судьбу, подумал Андрей. Стоять в битве хорунжим, конечно, честь, но зато и стрел в него падает в десять крат больше, и рубятся к нему первому, чтобы свалить знамя, ослепить полк, и самого стараются изрубить, зная, что хоругвь держит лучший, опытный рыцарь.

Подъехал Юрий в отцовских подновленных доспехах, с отцовским же трехсаженным копьем.

— В полк решил? — спросил Мишка.

— Все идут. И я не убогий.

— А сумеешь копьем?

— Научу,— вмешался Гнатка.— Тебя научил и его обучу. Я тебя, хлопче, всему обучу.

— Постараюсь, Гнатка,— кивнул Юрий.— Как Еленка? Здорова?

— Кланяется тебе,— со значением сказал богатырь.— Велела спросить: может, забыл нас среди икон?

— Не забыл,— вздохнул Юрий.— Передай и мой поклон.

— Что ж мне за тебя кланяться? — отказался Гнатка.— Сам не хворый. Вот Андрей с Софьей сегодня ручаются. Езжай к нам. Езжай,— повторил он строго,— добра молодца долго не просят.

Время шло, никаких известий о князе не было. Высланный поутру дозор как сгинул. Уже солнце поднималось к полудню, все устали ждать, в толпе начались сомнения: мол, что князю ехать глазеть на вас, невидаль — хоругвь, на всех успеет наглядеться; если ехал бы — так давно приехал; чего попусту жариться, можно разъезжаться. Андрей беспокоился, мучился, что княжеский двор и с ним вместе так крепко нужный Чупурна минут Волковыск. В нетерпении сам выезжал из города, глядел на дорогу. Ратники, соскучась и утомясь, доставали припасы, садились под заборы обедать. Городские потянулись на обед по домам. Наконец примчался дозор: едут, через полчаса придут. Ударил колокол, поднялась суета. Волкович с двумя десятками людей поскакал навстречу великому князю. Росевич стал выстраивать хоругвь: кто был в лучших доспехах, того в первые и боковые ряды, поплоше одетых — в середину. Развернулся стяг — серебряный всадник на пегом коне в

красном поле. Ряды выравнивались, поднялись копья, солнце играло на шлемах, панцирях, кольчугах.

Скоро послышался топот княжеского поезда, на площадь выехали Витовт и княгиня Анна и стали перед замершим гуфом волковысцев. По знаку Волковича бросили бить звонари. В наступившей тишине редко похрапывали кони. Андрей, местившийся в стороне, с радостью углядел среди свиты лицо дворного маршалка. Великий князь обходил взглядом хоругвь, всматривался в ратников. Наглядевшись, привстал в стременах, лихо крикнул:

— Добрая хоругвь! Выстоите войну!

Мишка Росевич пошевелил стягом; следившая за ним хоругвь взметнула мечи, копья, топоры, грянула в шестьсот голосов: «Выстоим!», «Слава князю!», «Слава Витовту!». Кричали долго, потом князь, сочтя встречу достаточной, обминовал ратников и направился в замок. Андрей поскакал вслед; на замчище сквозь толпу свиты стал протискиваться к Чупурне. Внезапно оказался перед лицом великого князя. Тот удивился:

— Ты здесь откуда?

— Сватаюсь к боярина Росевича дочке,— не сробел Андрей.— Хочу пана маршалка Чупурну просить...

— Ну, ты удалец! — легко опешил Витовт и вдруг, привлекая всех к себе, захохотал: — Слышите, Анна, Войцех, Петр? Вот это хват! Война через месяц, все богу молятся, а Ильинич семью заводит. А голову снесут — не боишься?

— Не снесут! — ответил Андрей.

— Ну, дай-то бог! — сказал Витовт и, следуя благодушному настроению, спросил: — Что же меня не просишь в сваты?

— И думать не смелось, великий князь,— побледнел Андрей.— Ты меня казнить бы сказал за такую наглость.

— Ну, рискни,— улыбнулся князь,— мне решать.

У Андрея сердце оборвалось от негаданного счастья, понял — князь согласится. Вмиг слетел с коня и — на колени, и целовать стремя, пыльный сапог. Слыхал голос князя: «Что, Анна, окажем честь боярину? Он меня в Кежмарке спасал.— И через мгновение: — Вставай, Ильинич. Княгиню благодари!» Андрей прошел на коленях — и лбом в землю: «Великая княгиня, навеки твой верный раб!»

Когда Витовт с женой ушли отдыхать, Андрей поднялся и поспешил искать Мишку. Тот, услыхав о таких сватах, схватился за голову: «Господи, где принимать? Не в стайне же!» «Ты-то чем виноват? — успокаивал Андрей.— Немцы

пожгли. На дворе стол накроешь. И Софье скажи — пусть не боится. Князь пугливых не любит». Мишка и Гнатка, в изумлении твердивший «Вот это да!», не медля, рванули в Рось.

Андрей вернулся на замчище ждать пробуждения князя. К нему подходили знакомые, поздравляли, дивились везению, дружелюбно завидовали. Вслух не говорилось, но каждый, кто удивлялся, понимал: помимо великой чести и подарки будут щедрые. Княгиня была скуповата, а князь, если дарил, не скупился. Андрей оглупело слонялся по двору. Все так уладилось, как в мечтах не являлось. И Софье небывалая радость, и Мишка ошарашен неожиданностью. Ведь небось думал про себя: дурит Ильинич, грозился — сваты, сваты, прибыл же сиротой. А вот какие сваты! И посватаемся, и обручимся! Одного было жаль, что нельзя заодно и свадьбу сыграть. Хочешь не хочешь, придется ждать осени. Да и нельзя, если рассуждать трезво. Хоть он и хорохорится: «Не снесут! Не снесут!», а очень просто могут снести; кому-то и поснося͏т, чем он лучше? А жениха, что там ни говори, легче потерять, чем мужа; пусть останется невестой, а не вдовой. Но и верил, что все обойдется.

Меж тем Мишка, отдав тяжелому на ход богатырю свои доспехи и оружие, налегке за час достиг Роси и привел к делу свою челядь и крестьян. Стали чистить двор, погнали подводы свозить столы и лавки, паробки понеслись в ближайшие дворы с просьбами выручать — поделиться, чем есть, испечь, изжарить, кто что может, потому что гром среди ясного неба — прибудет сватом Витовт. И пошло, завертелось: там куры кудахчут в последний раз, там рубят шею гусю, там копченый окорок снимают с крюка, там выкатывают из погреба бочонок меду или отдают тушу застреленного вчера лося, те одалживают скатерти, те — чарки и кувшины. И кто может, спешит к Росевичам, чтобы помочь и своими глазами увидеть редкое сватовство.

Софья, узнав, что близится, закрылась с Еленкой в избе. Сновала из угла в угол, удерживая сердце и шепча: «Что ж мне делать, как быть?» Потом кинулась к сундуку, все вон, вон, вон — и в слезы: одеться не во что, все пожгли, пограбили немцы, хоть голая в такой час выходи. Андрюша привез парчу, знала бы вчера — за ночь сшили, а за час никто не сошьет, вот лежит куском, одно и остается — обмотаться и выйти всем на посмешище, а потом броситься в Рось, в омут. Упала на кровать в полном несчастье, в горьких слезах. Еленка села рядом, утешает:

— Ну, сестричка, сейчас быстренько из твоего, моего сметаем. Будет как новое.

— Ой, какое же новое из двух старых тряпок?

Вошел Гнатка, опешил:

— Софьюшка, что?

— Ой, Гнатка, несчастная я!

— Что, детушка,— терял дух богатырь,— что случилось?

— Ой, Гнаточка, опозорена я навеки!

— Да что? Скажи! — чуть не плакал старик.

— Ой, бедная я, лучше бы мне на свет не родиться!

— Софьюшка, кто обидел? — взревел Гнатка, хватаясь за тяжелый свой меч.

— Ой, Гнаточка, надеть мне нечего, голая я насквозь!

Гнатка поперхнулся, вздохнул, посопел, освобождаясь от мучений души, и сказал с укором:

— Экие вы все... Нельзя так! Хоть в холстине — должна гордо стоять! — Еще посопел, расчувствовался, присел рядом и стал утешать: — К свадьбе обошьешься, а сейчас будь как есть. Ты красавица, тебе в любом хорошо. Кто увидит — тот и сомлеет! Голову ленточкой красной обвяжи, рубаха шитая вон лежит, и сарафан вон какой прелестный...

— Он же зимний,— отозвалась Софья.

— Ну и пусть зимний, кто там знает! И глазки умой, чтобы сияли, а то выйдешь как шмелями исколотая.

Через несколько часов, когда различили вдали на дороге большой отряд всадников, стол с меньшего на большее был приготовлен, не так, правда, богато, как хотелось бы, но тем успокаивали себя, что сделали все, что могли, что князя ничем не удивишь и не ради стола он сюда едет... Двор притих, лишний народ разбежался по углам, Мишка и Гнатка вышли пред ворота. Сваты приблизились, стали ссаживаться с коней, двинулись к хозяевам: впереди Витовт с княгиней Анной, а за ними Чупурна и Монивид — тоже выехали с князем на развлечение,— и Андрюха, и незнакомые люди, и охрана. А Еленка более всего возрадовалась, увидев позади всех Юрия.

Витовт и Анна подошли к воротам.

— Здорово, хозяева! — сказал Витовт.— Мы к вам за покупкою. Примете или назад завернете?

— Рады бы что продать, да нечего! — поклонившись в пояс, ответил Мишка.— Все немцы разорили. Раньше осени не вернем.

— Нам товар нужен редкий! — улыбнулся князь.—

У вас птица райская есть, у нас — охотник, у вас — невеста, у нас — удалой боярин!

— Что ж, милости просим! — опять поклонился Росевич.

Вошли во двор. Гнатка заторопился звать Софью. Князь, оглядываясь, сказал Мишке:

— Да, начисто вас пожгли. Отца тогда порубили?

— Отец в Волковыске погиб, в бою,— поправил Мишка,— много крыжаков посек.

— Помнишь, Анна, Ивана Росевича? — обернулся Витовт к жене.— К пруссам с нами ходил. Жалко! Храбрый был рыцарь. Жениха хоть видал? Не против воли?

— Видал,— успокоил Мишка.— Нравился.

Вышла Софья, одетая в простой сарафан, проплыла павой, поклонилась княжеской чете.

— Ну, здравствуй, горлица! — сказал князь.— Жениха тебе доставили поглядеть. Годится — скажи, не годится — мы его тотчас с глаз долой, лучшего найдем, а сильно не нравится — голову снимем!

Софья выпалила чуть ли не криком:

— Нравится!

Все расхохотались.

— И торговаться не о чем,— подчинился Витовт.— Все ясно. Можно запивать. Эй,— обернулся к охране,— вина!

Несколько бояр отторочили привезенный бочонок и бегом понесли во двор.

Сели к столу. Потекли в чары мед и вино. Витовт сам не пил, едва пригубливал, но другим скучать без чары не позволял. Помнил с давних лет Гнатку, польстил ему вниманием. Сказал выпить за боярина Ивана, который сейчас радуется им с небес. Цепился к Стасю Чупурне: скоро ль дворный маршалок будет пропивать своего сына? Княгиня, глядя на счастливых Софью и Ильинича, задумалась, набухла слезами — успокаивал ее. Андрею грозил: «Смотри, молодец, на войну не опоздай, назад вернем горлицу!» Стало шумно, стали забывать, зачем сошлись. Князь стукнул кулаком: «Гей, тихо!» — и в наступившем молчании объявил:

— Сватовство запили, можно и обручаться. Пусть меняются кольцами, коли есть!

Под крики и смех обменялись перстеньками.

— Ну вот, теперь пара,— признал князь.— Жених и невеста! — И обернулся к охране: — Подарки!

Принесли княжеские подарки: Софье — соболью шубу,

Андрею — корд с костяной рукояткой и сто золотых. Оба рухнули в ноги:

— Великий князь, великая княгиня! Вернейшей службой отдам!

— Службой, боярин, ты и так обязан! — строго ответил Витовт.— А отблагодарить нас легко. Простой есть способ. После свадьбы через девять месяцев чтобы рыцарь закричал! — И, уставясь на пунцовую Софью, сам первый рассмеялся.

Опять наполнялись чарки, опять пили здравицы великому князю Витовту, великой княгине Анне, Софье и Андрею, всему воинству, которое должно выступать в летний поход. Знатные сваты посидели еще с полчаса и под низкие поклоны и восторженные крики «Слава!» отъехали.

Пользуясь суматохой шумных проводов, Еленка и Юрий отделились от толпы, обогнули двор и пошли по дороге к лесу. Оба чувствовали вершение своей судьбы и молчали, боясь случайного, пустого слова. Но требовались и слова. «Что ж я молчу? — думал Юрий.— Скажу. Вот сейчас, дойдем до этого пня, через десять шагов, остановлюсь и скажу!» Прошли мимо пня и по-прежнему молчали. «Нет, нельзя, скажу!» — решил Юрий и остановился.

— Еленка, я хочу сказать...

Она перебила:

— Юрий, я хочу спросить. Помнишь, ты приезжал перед вербницей, мы гуляли?..

Он кивнул.

— Ведь ты хотел спросить?..

Он вновь кивнул.

— Я боялась тогда, что спросишь.

— Я видел, что тебе не хочется.

— А сейчас хочу! — сказала Еленка.

— И знаешь, что хотел спросить?

— Знаю. И говорю «да»!

— Хотел спросить, что ответишь моим сватам.

— Тебе говорю и им скажу: «Да!» Тогда было скучно без тебя, а сейчас без тебя невыносимо. А знаешь, когда полюбила? Когда ночью вошел в церковь и стал говорить. Пол устлан мертвыми, души их теснятся перед иконостасом, и нам всем не хочется жить. Ты был в крови — претерпевший, как все, и убивавший, как все. Не сказал: «Опустимся на колени и возопим господу о бедах», а стоял прямо и крепко, как архангел, убивший гада, и сказал слова — горячие, как благая весть: «Восстанем с колен». И мое сердце ожило. Хочу быть вместе, если ты хочешь...

— Ты — душа моя,— тихо сказал Юрий, потом воскликнул: — Давно родная моя душа, сестра по духу и жена во все дни жизни! Не люди — судьба свела! — И подхватил Еленку на руки, закружил и вдруг, опустив на ноги, крепко, жадно, яростно прижал к груди.

Когда возвращались, Юрий сказал:

— Еленка, я в поход пойду с нашим полком.

— Да, иди! — ответила она.— Только хочу обручиться с тобой, чтобы ты знал и помнил — тебя жена ждет...

А во дворе, когда умолк вдали топот великокняжеского отряда, из всех дворовых щелок и углов повылезло народу, прежде совсем невидного, обсело стол — и началось главное веселье. Скоро начали петь, кто-то достал дудку — дудел; появились крепко хмельные, пошла смелость в речах, начали плясать. Андрей неприметно увел Софью к реке, где гуляли в прошлые ночи.

Уже близились повечерки, густел свет, темнела вода, синью наливалось небо, на закате красились червленью облака. День прошел, день прекрасный, счастливый, блаженный, он жизни изменил: были врозь, теперь быть вместе, навсегда и во всем,— скоро, мало осталось ждать. Обнявшись, стояли без дум, без слов, с одним чувством: «Люблю!»

## ГРОДНО — ОЗЕРО ЛЮБЕНЬ. ПОХОД

Первые дни июня отметились сильными грозами. В хоругвях, сходившихся к Гродно, не могли понять, о чем предупреждает небо. Одну ночь огненные стрелы долбили и жгли что-то на западе, на крыжацких землях, и воины, видя далекое полыхание зарниц, довольно крестились, зато в следующую громы грохотали прямо над городом, над таборами полков, мрак взрывался связками молний, они били в Витовтов замок, куда уже прибыл князь, в Коложскую церковь, по табунам, обозам, дворам, и лило, лило часами, как в потоп. Неман замутился, нес лесной сор, возникли непредвиденные заботы с питьевой водой. Паводок — что было хуже — закрыл броды, а на берегу скопились тысячи телег, и прибывали новые.

Великий князь приказал возить подводы плотами; более полусотни паромов с восхода до захода стали сновать по реке. Приходившие хоругви задерживались на ночевку и вплавь переправлялись на левый берег. Уже двигались к Нареву гродненский, новогрудский, волковыский, виленские и трокские полки. Третьего числа пришли медницкая, ковенская и лидская хоругви, князья Друцкие привели

оршанцев, князь Юрий Михайлович Заславский — менскую хоругвь, князь Александр Владимирович — слуцкую. Назавтра привалили мстиславцы и три смоленских полка, Иван Немир с полоцким полком, князь Василь с витебским, прибыл Семен Ольгердович с полком новгородцев. Вечером вдоль Немана дымили сотни костров, косяками ходили кони, вповалку ложились спать многие тысячи людей.

Витовт полные дни проводил на переправе — торопил, сердился, хвалил, смотрел, как сотня за сотней соступает в Неман, сносится течением и выходит из реки. Давно не был так бодр, спал по пять часов, с рассветом — в седло, выносился из замка в хоругви, на ходу разрешал десятки забот, считал приходящие полки и дружины, порядковал злую толпу у паромов, опять мчался в замок, советовался с князем Семеном и Монивидом, диктовал нотариям письма. Все делалось с охотой, легко; сам дивился, откуда брались силы, словно еще раз молодость пришла, словно скостила половину годов радость начавшегося похода. И все как нельзя лучше удавалось: гонцы от Петра Гаштольда, ведшего войско к Нареву, приносили утешительные вести — посланные прежде крестьяне загатили топи хорошо, дороги расчищены, и сюда, в Гродно, хоругви приходят в назначенный срок. Орден предложил перемирие до купальской ночи — теперь можно идти через мазовецкие земли, не боясь внезапного нападения и невыгодной, своими только силами, битвы с крыжаками. Даже в малостях ничто не вызывало досады: не считая двух ошмянских бояр, убитых молнией, никто не погиб и не утонул при переправе. Веселило и полученное в последний день мая письмо ливонского магистра фон Ветингофа с объявлением войны. Все-таки Юнгинген принудил ливонцев вступить в драку. Но что с того? Ветингоф если и нарушит рубежи, то только в последний день лета...

Да, одна к одной шли удачи. До последнего дня не верилось, что Великий Новгород пришлет полк, но вот — стоит этот полк, явились новгородцы, и ладный полк, сотен под восемь. Как не порадоваться! Даровая хоругвь пришла, не наемники, платить не надо, их вечевое решение прислало. Да, пересилили свою неприязнь новгородские бояре. Верно, немало толковал с ними князь Семен. Кто же по доброй воле на смертное поле идет за неясной пользой? Немало взвешивали эту пользу. Может, и до драки дошло. Небось мнится теперь боярству и купечеству, что откупятся от Витовта своим полком. «Нет, голубчики, богатые вы, тяжелая у вас на поясе калита. Склады у вас под церквями не

менее, чем мои в Троках. Мало с вас единственный полк. Полк на крыжаков выправили — это молодцы. Так и самим прямой расчет крыжаков ослабить. Случись, победят нас немцы, то и вам бедствий достанется, налягут на вас ливонские меченосцы — не отобьетесь. Припомнят тогда вам Чудское озеро; у них на добро память короткая, а за побоище и через три века будут мстить, как за вчерашнее. Поди, и толковали между собой бояре с таким разумением, и на вече доказывали: пусть немцев Витовт и поляки побьют, а мы, чтобы с краю не стоять, полк выставим, тевтонца побить — дело христианское, поможем, и один полк всей землей выправить недорого обойдется. Нет, мужи ильменские, не будет вам от меня покоя»,— думал Витовт, поглядывая с удовольствием на полковой новгородский обоз с полную сотню подвод, провозивший вслед за ратниками копья, латы, харч, котлы.

— Чупурна,— кликнул он маршалка,— видишь, чей полк пришел? Долго шли, тысячу верст отшагали. Поиздержались эти молодцы. Скажи, чтобы выдали им, что надо, без скупости.

Новгородцы грузились на паромы, и князь задумчиво приглядывался к их спорой работе, веселым лицам, крепким спинам, к телегам с вещевыми мешками, к узким тяжелым мечам в деревянных ножнах, обтянутых кожей. Вдруг князь рассмеялся, поняв, что примеривает к этим людям, пришедшим к нему для похода на орден, свой будущий поход на Новгород. Князь даже крякнул, дивясь неуместности своих желаний, но виденье грядущего похода на новгородцев не отогнал, а, наоборот, определил очередность этого дела в ряду других необходимых державных свершений. Выстраивались эти дела так: разбить немцев, крестить Жмудь, потом поход на Орду, поставить царем Джелаледдина, он набегами свяжет руки Василию Дмитриевичу, и затем можно выправляться на Новгород. И уже окончательно установить порядок отношений и подчиненности. Без той зыбкости, как сейчас, когда в Новгороде сидит
князь рассмеялся, поняв, что примеривает к этим людям,
Сам по себе Новгород остаться не может, кто его к рукам приберет, тот крепко усилится. Земли, густое население, надежная серебщизна, несколько полков в войско — такой кусок стоит трудов.

Придется часть бояр вырубить, другую часть распылить по разным городам, придется подавить два-три бунта, сменить несмиренных попов податливыми, бросить подачки монастырям, чтобы умы не смущали, расставить заслоны

вдоль Московского порубежья, сломать вече... А все это кровь и труд. Нельзя, нельзя выпустить Новгород, думал князь, позже боком вылезет такое упущение. Все толково исполнить без взятия города невозможно. В поле новгородцы не выйдут, замкнутся за стенами, их осадой не испугаешь, в лучшем случае предложат выкуп. А выкуп ничего не решает. Как взять этот Великий Новгород, как его захватить? Надо среди бояр разведать, кто за власть, за деньги ворота отворит. Уйма дел!

Витовт удрученно вздохнул. Красивая сложилась мечта, но далеко было до ее исполнения. Надо крыжаков побить. Надо то, надо другое. А вдруг крыжаки их в битве побьют — отчего же нет? Что о завтрашнем дне думать, если неизвестно, чем нынешний завершится? Князь вновь засмеялся и поскакал вдоль Немана в замок.

Наконец пришли пять тысяч татар Джелаледдина; недолго постояли на крутом берегу и по мановению руки своего хана, молча, не сходя с коней, сотнями пошли в воду. Несколько часов Неман пестрел татарскими халатами.

Больше ждать в Гродно было некого: кто должен был прийти — пришел. Великий князь, сопутствуемый Семеном Ольгердовичем, Монивидом, Цебулькой и десятком телохранителей, переплыл реку и, обгоняя хоругви, помчал к Нареву. Лесные дороги на десятки верст были забиты войсками. Витовт говорил князю Мстиславскому:

— Гляди, Семен! Считанные разы за жизнь увидишь такую силу. Много помню походов, а так крупно не выправлялись. С немцами ходил на Вильно, считалось — крестовый поход, не счесть было сброда, но не сравнить, как мы сейчас идем. На Смоленск, на Москву ходили — немалые были полки, а все ж меньше против этих. Только на Ворсклу, будь она неладна, скопище вели. Вот второй раз за шестьдесят своих лет и вижу такое множество воинов. А ведь тут половина, еще столько же прибавится через неделю. А когда с Ягайлой объединимся, сколько станет! Вовеки так никто не ходил.

— Обратно бы столько привести,— рассудительно отвечал князь Семен.— Вот идут, хохочут, а считай, каждый третий последние деньки доживает, уже отмечен ангелами на скорбных листах.

— И мы с тобой не заказаны,— не опечалился Витовт.— Пока живы — порадуемся, а побьют — пусть живые о нас погрустят. Не самим же себя оплакивать!

На шестой день пути войско стало над Наревом и здесь несколько дней отдыхало в ожидании полного сбора хоруг-

вей. Одиннадцатого июня одновременно подошли брестский, пинский, могилевский, дрогичинский, мельницкий полки, потом явились волынцы — кременецкая, луцкая, владимирская, ратненская хоругви, пришел с подолянами Иван Жедевид и с ними вместе отряд молдован; уже последними притянулись киевляне, князь Александр Патрикеевич со своими стародубцами и новгород-северская хоругвь князя Жигимонта Корибута.

После недавних ливней настала жара — леса и земля просушились. Страшась пожаров, палили слабые костры; на верхушке огромной ели постоянно торчал сторож, следя порядок огней. На полянах плотно стояло таборами около тридцати тысяч ратников. Ручьи мелели, когда приводили на водопой тридцать тысяч коней. Хоть считалось, что войско после перехода заслуженно отдыхает, мало кто мог полежать без дела. Во все стороны за десять, двадцать верст рассылались дозоры и засадки. Днем не видавшую боя молодежь собирали в отряды и заставляли сшибаться на полном скаку. Вдруг поднимали в седло то одну, то другую, то разом несколько хоругвей — подъезжали Витовт и Семен Ольгердович, говорили ставиться строем, нестись по рыхлому лугу на воображаемых крестоносцев. Если хоругвь слабо слушалась хорунжего, не умела разворачивать бока, Витовт и князь Семен свирепели, вновь и вновь безжалостно гоняли ратников в «стычку с немцами», пока подклады под доспехами насквозь не пропитывались потом.

Вечерами народ купился возле костров, пелись песни, съезжались и разъезжались знакомые. Благодушие, дружеская расположенность овладели людьми; прощались старые обиды; забывалось, будто и не было, различие веры. И гордые паны как-то вдруг убавили спеси, и худородные земяне почувствовали себя не ниже других. Все, чем разнились, чем кичились, хвастались до похода, все осталось на дворах, потеряло цену перед грозным грядущим. Та избранность, какую испытывали князья в своих уделах, наместники в городах, бояре в своих вотчинах, здесь, среди тысяч и тысяч простых ратных людей, стекшихся со всех сторон Великого княжества в леса над Наревом, развеивалась ночным ржанием тысячных табунов, таяла под лучами солнца, одинаково светившего и подолянам, и мстиславцам, и полещукам, и смолянам, и виленцам, и менчукам, и новгородцам, и простым смердам, и Гедиминовичам, и отвергающим крест татарам. Над всеми равно нависал рок, все шли на одно дело, в одну битву, едиными сплачивались помыслами.

Четырнадцатого июня великий князь выслал в Варшаву гонцов сказать Яношу и Земовиту, что вступает на их земли и движется к слиянию Нарева с Бугом, где будет ждать мазовецкие хоругви. Вновь потянулись унылые переходы: с рассвета до заката в седле, потом вечеря, короткие беседы у костров, вальная кладка на попоны и — с первыми звездами — мучительно сладкие сны: родные места, любимые лица. И тепло, ласка, забота — никогда, может, наяву они не были столь крепки, как в эти ночные мысленные свидания.

Андрей Ильинич часто догонял шедших впереди волковысцев, подолгу рысил рядом с Мишкой и Гнаткой, расспрашивал о Софье. Хоть все, что могли сказать: кланяется, ждет, скучает, просит беречься,— было рассказано в первую встречу, охота еще раз и раз услышать Софьины весточки из уст любимого ею старика и брата не слабела. Как-то решился и на вечернем привале повел отца и четверых своих братьев — все выступали вместе в полоцкой хоругви — знакомить с будущим шурином. По такому приятному случаю взяли с собой флягу вина и пяток колбас. Уселись дружным кругом, выпили за жениха и невесту, за знакомство и дружбу, за скорую свадьбу да за божью защиту. Мишка крикнул паробку принести ответную; позвали Юрия — тоже близкая родня — жених сестры, потом присоединились Егор Верещака, какой-то росевичский свояк, подошел Степка Былич. Знакомство растянулось на часы. Младший Андреев брат Глеб лег на спину: мол, звездочки тянет увидеть — едва ль увидел, тут же заснул. Гнатка сидел то ли в глубокой дреме, то ли в глубоких думах, вдруг оживлялся: «Вы теперь родственники, в бою должны друг друга стеречь!» Мишка не уставал вспоминать, как задрожал, когда великий князь Витовт входил во двор, скромничал: «Примете или назад завернете?» Все смеялись: «Что ж не завернул? Испугался?» «Будь не Андрей женихом, а кто другой, и завернул бы!» — отвечал Мишка. Верещака тосковал: «А мы вот нашего Миколку щипали, а уже ни его, ни невесты, ни Пётры!» И Степка расчувствовался: «Ссорились, наезжали — и нет их: ни отца, ни Ольги. Ты прости ему». «И ты мне прости!» — отвечал Мишка.

Юрий думал об Еленке: что она сейчас делает? Тоже, верно, сидят с Софьей, вспоминают его и Андрея, Мишку и Гнатку и представить себе не могут, сколько встретилось здесь людей, сколько костров горит ночью — поболее, чем в том походе к Синей Воде, о котором рассказывал у Кульчихи покойный лирник. Его нет, ее нет, Фотия нет, не

стало Ольги, и что с ними, живыми, станет — неведомо никому. Но если он, Юрий, вернется, каждое дело занесет на те пробитые крыжацким мечом листы хроники. Еленка будет помогать, как он раньше помогал Фотию. Вместе весело будет, радостно, и детей приучат видеть духовный свет.

Андрей, привалясь к телеге, глядел в небо; те самые звезды загорались, на какие в дни обрученья радовались вместе с Софьей. Слушая смех, вздохи, шутки родни и приятелей, воображал свадьбу, свадебный поезд в церковь, всех их в своей дружине, одетых не так, как сейчас, в измятые, запыленные, пропотевшие кафтаны, а в нарядные ферязи. Представлял дом, какой срубит для Софьи немедленно после войны; представлял зимний день, вой вьюги, посвист бесов в трубе, Софья за прялкой, он рядом, любуется женой, вдруг стук в ворота, въезжают товарищи, обснеженные, измерзлые, мигом стол — беседа до утра. Мнился ему и летний день: опять кто-то в наведках; идут с бреднем к реке или выезжают на травлю, скачут по травам, свет, солнце, задор — и Софья рядом в седле. Забродился мечтами, не помнил, как уморило сном. Пробудились — день, рога трубят — поднимают хоругви; растерли виски, посмеялись: «Ну, накануне хорошо посидели!» — и отъехали. Мишке и Юрию — Ильиничи, а Ильиничам — Мишка, Гнатка и Юрий пришлись по душе.

Спустя день отправились в полоцкий полк к Ильиничам. Тут в их круг собрались старые товарищи Андреева отца, расчувствовались и, видя внимание молодежи, стали вспоминать свои были. «Эх,— вздыхали,— хлопцы, хлопцы, как быстро время летит, давно ли вас еще на свете не было, а мы такие были, как вы сейчас — удалые, веселые, без седых волос, без сварливых жен, недокрещенные. Потому что человека первый раз поп крестит в святой воде, второй — кровь в святой битве. Ну, конечно, и вы в стычках бывали, но такое, что нами изведано, здесь во всех сорока полках считанные знают.

Опять встретили полночь, слушая воспоминания стариков о всех битвах, где повезло им отличиться и уцелеть, о долгой славе богатырей и короткой их жизни. Ворошит душу давнее, щемит ее неизвестность: а что нам суждено?

День перекатывался за днем вслед за солнцем под мерную поступь коней; пройденные версты приближали урочный час; незаметно подошла купальская ночь — с последним лучом солнца кончалось перемирие, начиналась война. Войска двигались глубоко в мазовецких землях, в

нескольких переходах от прусских границ. Лазутчики и дозорные полусотни средоточия крыжаков не замечали. Двадцать четвертого числа великий князь выслал гонцов в Торунь, где пребывал фон Юнгинген, известить, что он, Витовт, воевать готов. Такие же гонцы явились к великому магистру от Ягайлы.

Истекал последний мирный вечер; ратники, кто в нетерпении, кто с грустью, провожали закат. Пурпурная его полоса нехотя угасала; солнце долго лежало на далеких лесах, словно томилось и не могло спокойно уснуть. Наконец оно завалилось за край земли и темные завесы ночи скрыли его сияние. Тогда польское рыцарство, протомившееся день в засадах под Торунем, было поднято в седло и помчалось на деревни, окружавшие город. Взвились в синее еще небо снопы огня. В тот же час прусские границы с Литвой перешли по знаку Кезгайлы конные отряды жмудинов, и все веси, местечки и замки на сто пятьдесят верст от Юрберга и Клайпеды обратились в купальские костры, стоившие ордену, как назавтра с горечью подсчитали крыжаки, двенадцать тысяч грошей.

В то же время в Торуньском замке Ульрик фон Юнгинген, прервав ужин с послами короля Сигизмунда, глядел в окно на зарево пожаров. Был взбешен, словно пламенные языки, лизавшие небо, жгли его самого. Дерзко, лихо полыхали огни, с наглым вызовом — вот, мол, не боимся, ответьте, коли сильны. Хотелось немедленно выслать отряды, ударить, бить, топтать подлых поляков. Повернулся к венгерским палатинам Миколаю Гара и Сциборию Сцибожскому:

— Что, бароны, видели, каковы волки? А вы хотите посредничать о мире. Какой мир! Они господа бога не боятся — в день Иоанна Крестителя верные христиане шепчут молитву, а эти не выждали, пошли жечь. У них свой праздник, свои молитвы — Купале рогатому. Язычники! Их могила исправит! Мы! Топор! — И, не вытерпев, разразился совсем грязной, площадной руганью.

— Осмелюсь напомнить тебе, великий магистр,— хладнокровно сказал Сциборий,— что пока мы посредничаем о перемирии.

Ответ прозвучал толково, пригасил душившую злость. Продлить перемирие было совершенно необходимо, в этом Ульрик фон Юнгинген не сомневался. Его хоругви только стягивались, еще ожидалась самая большая, в пятьсот копий, подойдут и около двух тысяч рыцарей-наемников. Ягайла и Витовт по языческой своей привычке коварно

темнили, черт знает откуда намечали напасть. Неизвестно: сошлись их хоругви или не будут сходиться, пойдут двумя потоками? Непонятное творилось у крепости Дрезденко: строились там какие-то паромы — гадай зачем. И в Короново стоят полторы тысячи чехов Яна Сокола. Не повернет ли вдруг лисьим приемом на Дзялдово Витовт? Перемирие — не мир, затишье дней на десять, думал Юнгинген, совсем не повредит, даже пользу даст. Пусть все знают, что орден стремится к миру на справедливых условиях чешского короля Вацлава. Упрямые Ягайла и Витовт, конечно, вновь откажутся, и тогда венгерский барон Кристоф фон Герсдорф подаст им письмо короля Сигизмунда с объявлением войны. Это не ничтожные укусы, не деревеньку подожечь; поскребут когтями свои тупые лбы. А замириться надо так: с Ягайлой — да, с Витовтом — нет; вдруг потом захочется попробовать остроту мечей, будет на ком — под рукой враждебная литва и русь. Хотя и пробовать незачем — всех скоро перерубим; пусть знают — не будет мира, не желаем мира!

Назавтра Гара и Сцибожский повезли письмо магистра королю Ягайле, а через два дня королевский гонец сообщил великому князю о десятидневной оттяжке стычек. Прочитав записку Ягайлы, Витовт сказал князю Мстиславскому:

— Дивлюсь, Семен. Бывало, стояли во главе ордена дураки, но подобных Юнгингену не было. Доброй волей дает перейти Вислу. А потом выползет навстречу в белом плаще, как привидение: бойтесь, мол, меня! Старший его братец, покойный Конрад, поумнее был, верно, высосал из матушки все лучшее, а Ульрику недостало.

— Может, силу чувствует?

— Сила-то у них есть,— согласился Витовт,— но выгоды упускает. Уже мог жечь поляков — не жжет; уже мог завтра бы дать бой нам, и нам пришлось бы туго,— не дает; мог бы сломить переправу Ягайлы — не ломит. Ну, да не нам его поучать, у него крест на плаще, ему непорочная дева военные советы дает. Поглядим, что она насоветует.

— Ох, Витовт, не совсем так,— возразил князь Семен.— Наши тысячи ихним неровня. Татары лобовой сшибки не выдержат — пойдут петлять. Наши лучники метко стреляют, да немцев латы спасут. И тяжелые, в железе, крыжацкие кони потеснят наших. Вот он и считает: чем бегать во все стороны, лучше всех вместе побить. И за эти десять дней народцу себе прибавит. Нам крепко стоит подумать, как вести бой.

— Думаешь, погонит? — прищурился Витовт.

— Почему бы и нет?

— Ну что ж, посовещаемся,— решил Витовт.— Время терпит.

В последний день июня войска подходили к Червинскому монастырю. Уже было известно, что поляки навели мост и начали переправу, что первым перешел на правый берег Вислы король, что ему сообщено о приближении хоругвей великого князя и что он выехал встречать. Вскоре он показался в окружении панов и рыцарей. Минута была значительная: завершился месячный поход, два войска соединялись в одно, две силы — в одну мощную. Ягайла и Витовт приняли друг друга в объятия. С обеих сторон раздались торжественные клики и перекатами понеслись от хоругви к хоругви.

По мосту, твердо стоявшему на сотнях челнов, плотно, подвода к подводе, тянулись обозы, шли по трое в ряд конные, шагала пехота. А весь левый берег за пару верст от горла моста пестрел таборами отрядов.

— Красиво, а, Витовт? — с гордостью сказал король.— Ульрика бы сюда. Вот подивился бы, злобный пес!

Глядя на поток войск, на далекое шевеление тысяч и тысяч людей, точно и быстро собравшихся сюда по его приказу, послушных любому его слову, Ягайла чувствовал себя на верху счастья. Как же — все польское рыцарство, все литовское воинство идут посполитым рушением на тевтонцев! Так долго теснимый крестоносцами, его, Ягайлов, орел, украшающий знамя королевства, расправляет крылья, начинает возноситься на видную всем народам высоту. Он готов был видеть в этом особое к нему божье расположение. Разве, думал, не по наущению бога Ульрик сам предложил перемирие, чтобы польские войска смогли без хлопот перейти реку, соединиться с литвинами, с полками Януша и Земовита, собраться в железный кулак, который раздавит гнездо крестоносцев?

Не терпелось выступить к прусским границам, но лишь на третьи сутки закончилось беспрерывное, днем и ночью, движение по мосту конных и обозов. Тогда мост развели и плоты отправили вниз по Висле в Плоцк на хранение. Шли неспешно, приноравливаясь к скорости подвод.

Перемирие истекло. Король и князь Витовт стали посылать на рубежи легкие отряды, которые по ночам жгли прусские деревни, завязывали мелкие схватки и возвращались с добычей. Была воспринята с ликованием удача старосты Януша Бжозоголового, порубившего отряд све-

ценских крестоносцев. Свеценский комтур Генрих фон Плауэн засел в замке со всеми рыцарями комтурства. Все радовались: пусть сидят, не придут в поле.

В воскресный день, когда войска стояли у реки Вкра, к Ягайле и Витовту вновь прибыли мирные посредники Сигизмунда: Гара, Сцибожский и Кристоф фон Герсдорф. Король и великий князь объяснили, что будут счастливы избежать пролития христианской крови, что им дорог мир с орденом, но при условии отказа крестоносцев от Жмуди, возвращения полякам Добжинской земли и оплаты нанесенного ущерба. Было ясно, что фон Юнгинген эти условия отвергнет и сражение неминуемо. Подчеркивая свой взгляд на переговоры, Ягайла пригласил послов взглянуть на таборы шестидесятитысячного войска. Для полноты впечатления перед холмами, на которые въехали король, великий князь и посланники, прошли крупной рысью, при развернутых знаменах и в полном боевом облачении, сорок полков Великого княжества. Тридцать хоругвей имели на знаменах герб Погоня, десять — герб, под которым водил полки против немцев Гедимин,— белые столпы в красном поле.

Через несколько дней войска подошли к орденским границам. Здесь по древнему обычаю хоругви подняли знамена и, сотворив молитву, вступили в прусские земли. Сорок хоругвей вел Витовт, пятьдесят — король; три хоругви подольцев, имевшие на знамени солнечный лик на белом поле, Витовт считал своими, а под началом короля были полки Львовской, Холмской и Галицкой земель, каждый под своим стягом.

Никто не преграждал дорогу, до самой Дрвенцы не показался на глаза ни один крыжак. Но у бродов на Дрвенце Ягайла испытал неприятную неожиданность. Броды были укреплены частоколом, обставлены бомбардами, таились за ними толпы арбалетчиков, и далеко вглубь стояли прусские клинья. Король собрал совет. О битве при бродах не стоило и помышлять: полки один за другим пошли бы на верную смерть. Поход вниз по реке к следующим бродам ничего не менял: крыжаки тащились бы рядом по другому берегу. Решили, хоть и больно ударяло по самолюбию такое решение, отступить, оторваться от Юнгингена и, покружив, обойти Дрвенцу у истоков. Ночью торопливо снялись со стоянок, вернулись к Линдзбарку, отсюда повернули к Дзялдово и, злясь, спеша, измучивая коней и людей, отшагали за день сорок две версты до деревни Высокая.

Тут Ягайлу настигла новая неприятность. После обеда

возник у королевского шатра гонец от опостылевших Гары и Сцибора Сцибожского, силезец Фрич фон Рептке. Был замкнут и серьезен. Сразу его замкнутость и объяснилась — вручил письмо Сигизмунда, возвещающее войну. Хоть и знали, что Сигизмунд забряцает мечом ради приязни курфюрстов, хоть и ждали такое послание, но горько было брать его в руки. Ягайла и Витовт глянули дату — двадцать первое июня. Более трех недель Гара возил письмо при себе, разыгрывая старания о мире. Ездили, трепали языками: «мир, мир», а сами сосчитывали войска и докладывали магистру. Ради него и маячили при войсках. Лазутчики, на сук бы их сразу! Только и оставалось излить желчь на гонца:

— Да, не думали мы, что король Сигизмунд ради ордена разорвет узы родства и договоров, забудет о боге. Хочется отхватить наших владений —пусть пробует. Как бы своего не лишился! Разобьем орден, ответим ему по заслугам. Быстро, Фрич, забыл твой король, кто восемь лет назад спас его из темницы, вернул ему утраченную корону. Ты скажи своему королю: мы эту измену запомним.

Но что ничтожный Фрич! Герольд, гонец, пустое место! Сердиться при нем — лишь радовать подлого Сигизмунда.

— Езжай с глаз долой! — сказал Фричу Ягайла. Саднило душу. Воевать не воевать с венграми — дело завтрашнее. Терзало, что крестоносцы сейчас веселятся этой купленной за флорины подмогой. Прошел в походную каплицу, отстоял до онемения ног, шептал, взывал к богу, просил справедливости и успокоился, решив разбурить близлежащий Гильгенбург.

Назавтра войска стали на привал у Домбровского озера. Солнце пекло нещадно. Все хоругви занялись купанием коней и сами не выходили из воды. За озером высились мощные стены и башни Гильгенбургского замка. Было объявлено, что город забит множеством прусских немцев и добром; никому не заказывалось идти за добычей. В седьмом часу, когда стала падать жара, польское рыцарство устремилось на приступ. Ни ядра, ни стрелы, ни копья горожан не смогли сдержать натиска воинов, горевших мщением за разгром крестоносцами Добжинской земли. Храбрецы лезли на стены, разбили ворота, и скоро тысячные толпы шляхты вошли в город. Вслед за ними понеслись пустые подводы. Отчаянное сопротивление немцев мгновенно было затушено мечами. Через два часа из города вывели пленных, вывезли запасы кормов, вещи, и он запылал. Всю ночь играли огненными отблесками озеро и река,

и за десяток верст разносился свет зловещего полыхания.

Утром хоругви хоронили погибших, делили добычу, били на мясо выведенные из города стада; король милосердно дал волю всем худородным пленникам, оставив в цепях только рыцарей и орденских братьев. Опять до вечера жарились под солнцем, купались, заменяли больных лошадей, дремали в палатках и под телегами; все было спокойно, немцы не подступали, тревоги никто не трубил.

Пользуясь отдыхом, великий князь собрал князей и наместников, ведших хоругви; пришли и татарские ханы — Джелаледдин и Багардин. Сидели на поляне, очищенной от народа, даже кольцо стражи, охранявшей совет, было удалено, чтобы не слышали, о чем идет речь.

— Через день-два, а может, и завтра,— говорил Витовт,— грянет битва. Могут и нас пробить клиньями, раздвоить, расстроить, взять в клещи. Наши хоругви не умеют, как конники Джелаледдина и Багардина, наступать, вдруг отрываться, вновь нападать. Наши если бьют — так во весь дух, но уж если бегут — то опять во весь дух. Так что, князья и полковые паны, скажите своим полкам: стоять, будто в землю по колени зарыли! Но и все войско уложить трупами нам нельзя. Поэтому, если вас крепко погонят, отходить будете к обозу и уже там держаться намертво! Там шесть тысяч мужиков с цепами и топорами — любую броню перемолотят. И каждый должен знать: кто с поля умчит — прикажу сыскать и повесить!

Замолчал, отрешаясь от мрачных своих мыслей, оглядел соратников, весело засмеялся:

— Что потускнели, вы ж не побежите!

Вновь замолчал, сжал ладонями виски, словно силился вспомнить, что еще хотел сказать им на этом последнем совете, расчувствовался и доверительно, как выношенную мудрость, бережно выговаривая слова, сказал:

— Люди приходят и уходят, боль забывается, поколения десятками пропадают из памяти, но вот такая война, на какой мы воюем, однажды в сто лет бывает, от нее не отдельные наши жизни, а жизни народов зависят. Побьют нас в битве тевтонцы — всех потом перетрут. Ни себя, никого нельзя жалеть. И не жалейте! Сколько ни поляжет ради победы, все не будет дорого!

Предчувствие близкого сражения разливалось и среди войск; грозные объявления вернувшихся в хоругви воевод его усилили; каждый понимал, что означают призывы к стойкости и забвению страха. Но и без того было ясно, что крыжаки не станут дольше терпеть бурения земель

и дадут бой. Свежие могилы и близкое, дымящее еще пепелище многих расположили гадать о своей судьбе, молиться богу о защите в бою.

С закатом задул ветер, поползли седые, а следом темные облака, звезды затемнились, ночная мгла загасила луну. Ветер то затихал, то вдруг шквальные его порывы проносились над таборами, раздувая в сердцах тревогу. Небо тяжестью водяных туч прогнулось к земле, черную его корку раскололи молнии, ударил и раскатился гром, хлынул ливень. Никто не спал, в полках шептались: «Все, завтра быть сече. Господь поля омывает перед битвой!»

Дождь прекратился, но буйные ветры рвали воздух до самого рассвета. С первыми лучами солнца трижды пропели трубы и хоругви выступили в поход. Пройдя восемь верст, у Любенского озера стали разворачивать на стоянку обозы, и тут дозорные принесли ожидаемую, подтвердившую ночные предчувствия весть — между деревнями Людвиково и Танненберг, всего в трех верстах, сплошняком стоят немцы.

Ратники заспешили одеваться к бою, полки стали быстро выдвигаться из приозерного мелколесья.

Андрей, шедший в первых рядах полоцкой хоругви, неожиданно увидел летевшего к нему в галоп Росевича. Мишка сблизился, крикнул всем братьям Ильиничам: «Здорово!» — и торопливо, жарко высказал наказ:

— Андрюха, если погибну, Софью не обижай, как другие, бывает, бьют, кричат, рвут косы. И Гнатку, Андрюха, если останется жив, забери к себе...

— Хорошо! — ответил Андрей.— А меня убьют, так скажи Софье, что крепче всего ее любил. Пусть помолится за меня в церкви.

— Ну, Андрюха, хорошо мы с тобой дружили,— сказал Росевич.— Прости, если чем обижал...

— И ты меня прости! — ответил Андрей.

Обнялись, прижались стальными панцирями, расцеловали друг друга, и Росевич ускакал, затерялся в людском потоке, среди тысяч одинаковых шишаков, копий, кольчуг и лат. Дрожала под конской лавиной земля, ржали кони, молчали люди, прислушиваясь к глухим звукам мокрого, словно провожающего их слезами леса. Деревья после дождя курились, белесый пар окутывал стволы, лучи неяркого еще солнца с трудом пробивались сквозь молочный туман. Выбрались на опушку и застыли: в полуверсте, на затуманенных холмах, далеко и вправо и влево виднелись, как дурное видение, закованные в железо, отблескивающие доспехами широкие клинья немецких полков.

На опушке леса, у дороги, ведшей к деревне Танненберг, отдавал приказы князьям и панам Витовт; одни отъезжали, подлетали галопом другие; хоругви спешно двигались на указанные места. Направо от дороги ставились гуфы виленцев и трочан. Прошла лугами и примкнула к виленскому гуфу половина татарской конницы под началом хана Багардина. Заметные халаты татар привели в радостное возбуждение крайний клин немцев, имевший на знамени красный крест на белом поле. Вышло из леса и зарысило встык с поляками крыло Семена Ольгердовича — смоленские, мстиславский, полоцкий, витебский, слуцкий, оршанский, лидский полки и полк великоновгородцев. Киевской хоругвью князя Гольшанского и новогрудской хоругвью Жигимонта Кейстутовича Витовт замкнул дорогу. Рядом с новогрудцами стал волынский гуф, а между оршанцами и волынцами — сильнее всех рвавшаяся в бой хоругвь волковысцев. Выдвигались вперед подольские полки князя Ивана Жедевида. Летели гонцы к Ягайле узнать действия поляков. Позади первой выстраивалась вторая линия полков, и уже поодаль Петр Гоштольд готовил третью линию. Витовту привезли из обоза доспехи; он соскочил с коня, облачился, поднялся в седло, и ему стянули латы шнурами.

Немцы, к общему удивлению, в бой не трогались, упуская удобнейшую, как казалось, возможность посечь выбиравшиеся из мелколесья в поле и в эти минуты разрозненные полки белорусов и литовцев. Великий князь поскакал вдоль первой линии войск — на полутора верстах стояли с небольшими разрывами четырнадцать хоругвей. Шла последняя суета построения: выезжали наперед предхоругвенные; занимали первые ряды воины с равным немецкому оружием, стоймя держали трехсаженные, толщиной в руку копья; хорунжие разворачивали и поднимали стяги. Князь весело скакал вдоль полков, отмечал знакомые лица, бегло думал: «Виленцы выдержат, новогрудцы должны выдержать, волковысцы злы — выдержат»; поглядывая на клинья немцев, жалел, что так неожиданно завязывается сражение и нет времени пустить в дело остающиеся в обозе бомбарды. Примчался боярин, ездивший к Ягайле: «Король Владислав молится!» — «А поляки?» — «Построились, ждут сигнала!» К великому князю съехались Иван Жедевид, Семен Ольгердович, Гаштольд, Монивид: «Готовы!» Вместе прошли на рысях по улице между первым и вторым гуфами хоругвей. Во втором ряду их было тринадцать: мстиславская, третья

смоленская, великоновгородцев, слуцкая, полоцкая, брестская, гродненская, киевская, менская, молдаван, медницкая, вторая трокская и третья виленская. Здесь ратники держались шумнее, чем в передних хоругвях, которым предстояло принять первый удар, сшибиться с лавиной крыжаков, сломить о свои щиты и груди их тяжелые копья.

— Что они замерли, а, Семен? — тревожился Витовт, указывая железной перчаткой на немцев.— Почему медлят?

— Черт их знает! — пожал плечами князь Мстиславский.— Выгодно стали: нам в горку, им с горки идти.

Разглядывали десятки немецких клиньев, словно заснувших четкими рядами на холмах, недоумевали, какая хитрость может скрываться за таким терпеливым, неподвижным их выжиданием.

Ягайла никаких вестей не подавал, и великий князь помчал к шатру короля. С правой руки ему открывались боевые порядки крыжаков: клинья имели по тридцать — сорок рыцарей в ряд и рядов двадцать в глубину; виднелись в разрывах бомбарды, арбалетчики в широкополых шлемах, а за ними поодаль стояла вторая полоса немецких полков, все под развернутыми ветром знаменами. Считал знамена, многие узнавал: вот черный крест на белом поле — хоругвь Валленрода; вон с широкой белой полосой на красном поле — хоругвь великого комтура Лихтенштейна; вот та, с белым ключом, хоругвь орденского казначея; вот красный волк — это хоругвь комтурства Бальги; вот белый лев с желтой короной, а под ним черный крест — это кенигсбергские рыцари; под двумя красными рыбами стоят шонзейцы; красный орел на черном поле — это бранденбургский полк. Но многих знамен, без которых никак не мог явиться сюда великий магистр, Витовт не видел: не было большой орденской хоругви с черным крестом и черным орлом на золотом щите, не было красно-белой, в четыре квадрата хоругви тухольцев, не было самбийской хоругви и прочих, хорошо помнившихся с молодых лет. «Ловчишь, Ульрик, припрятал за холмами,— думал Витовт.— Будем знать. И мы кое-что придержим».

На вершине холма стояли толпой фон Юнгинген, Валленрод, Куно фон Лихтенштейн, комтуры и поодаль рыцари охраны магистра. Смотрели на торопливое, напряженное построение с правой руки польских, с левой — литовских хоругвей. Все видное глазу и скрытое лесами движение войск Ягайлы и Витовта было понятно великому магистру и утешало его. Тревожные опасения утра, что король и Витовт не пожелают принять бой на этих холмах, вновь

оторвутся и опять, дав круг, двинутся вперед, развеялись. Вражеские полки уже стояли напротив орденских, сражение было неминуемо, считанное время отделяло войска от столкновения, а от победы — те несколько часов, которые требуются, чтобы рассыпать и посечь зарвавшихся поляков и литву. С приятным чувством магистр думал, что не они — он навязывает бой, что они, Ягайла и Витовт, вынуждены подчиниться его замыслу битвы, что они не ожидали его здесь приготовленным к бою, и если не подавлены, то, по меньшей мере, смятены этой искусно исполненной встречей в лоб, встречей уже последней. Давно разгадал, прочел, как по ладони, все их незатейливые, но дерзкие расчеты — перейти вброд Дрвенцу и устремиться в сердцевину прусских земель. И потому еще в день праздника посещения пресвятой девы Марии, когда они собирались стаями к Червинскому монастырю на берегу Вислы, он приказал закрыть броды палисадами, стянуть туда все орденские и наемные хоругви. Но не иначе бесы преподнесли братьям хитроумный совет обойти Дрвенцу сушей, за что поляки заплатили им, бесам, сожжением Гильгенбурга и мордованьем христиан, о чем в ближайший час горько пожалеют. И было ясно, что Ягайла и Витовт обязательно проследуют через Танненберг и Грюнвальд — других открытых дорог на желанные им Остроду и Мальборк не было. И он, великий магистр, привел свои шестьдесят хоругвей к Танненбергу днем раньше. Вчера на закате дня, когда Ягайла и Витовт спокойно ложились спать у разрушенного Гильгенбурга, он вместе с комтурами вот с этого холма озирал место будущей битвы. То, что мысленно виделось вечером, исполнилось сегодня: двумя дорогами от Любенского озера обреченные поляки и литвины выползают из спасительного леса и суетливо строятся вдоль опушки. Одно было неизвестно вечером: с какой руки окажется Ягайла, с какой — Витовт, хотя это не имеет никакого значения. Оказалось, что на поляков ударит Куно фон Лихтенштейн, на Витовта — Фридрих фон Валленрод.

Оглядываясь, магистр видел, что комтуры томятся в боевом нетерпении. Понимал, что творится у них в душе, сам томился медленным ходом времени — последние минуты всегда тянутся как часы. Не терпится, да, но надо ждать, пока они не заполнят своими толпами все долы от Танненберга до Людвиково — три версты в длину, а уж вправо от Танненберга и влево от Людвиково им не дадут спастись топи, всех задержат, многие найдут вечный приют в ржавой жиже. Хорошее поле боя! Один недостаток — холмистое;

пологие, правда, холмы, но все равно клинья не смогут наблюдать успехи друг друга, вот как сейчас скрыта холмами большая часть польских хоругвей, и неизвестно, что там делается.

Валленрод указал ему на Витовта: «Вот — гарцует на черном рысаке!» Юнгинген проследил, как Витовт, если это был он, проскакал за тылами своих гуфов. «Носится, суетится,— с неожиданной жалостью подумал магистр,— а кто-то воткнет копье, или опустит меч, или ударит в бровь шальная стрела, и повалится под копыта, как простой кнехт». Враги построились, ветер полощет их стяги, полоса непримятой зелени шириной с полет арбалетной стрелы отделяет их от лучших немецких мечей. Пусть рванутся, пусть, разгоняя коней, перейдут бурую ленту дороги из Людвиково в Танненберг, за которой их поджидают прикрытые дерном глубокие волчьи ямы, утыканные острыми кольями. Весь вчерашний вечер тысяча кнехтов готовила эти западни, вывозила за деревни желтый песок. Сделано добротно, никто не различит, словно не люди, а бог в день сотворения мира нарочно создал здесь пустоты, чтобы заполнить их сегодня поляками, литвой, схизмой. Когда их предхоругвенные с криками ужаса и дикой мыслью, что их поглощает пекло, посыплются на колья, сверху на них повалится второй ряд, а третий перекатится по их головам и утопчет, и сломится удар, и четвертые, пятые ряды начнут осаживать лошадей, тогда на них ударят стальные колонны Валленрода и Лихтенштейна — сорок четыре отборные, крупные хоругви, выставленные комтурствами, епископами и городами. И сотня бомбард усилит торжество минуты ядерным градом, заставив врага шарахаться, метаться, сталкиваться и, обгоняя друг друга, бежать. А тогда к тем клещам, в которые возьмут литву и поляков Валленрод и Лихтенштейн, подключатся шестнадцать хоругвей запаса — он, великий магистр Ульрик фон Юнгинген, поведет их в бой лично,— и покатится по земле множество голов.

— Но как они медлят,— подумал магистр,— солнце поднялось, начинает палить, скоро рыцари изжарятся в доспехах; ведь и Витовтовы схизматики, и татарские сарацины и поляки, насколько видит глаз, уже построились, готовы в слепом своем самодовольстве опустить копья — так что же медлят два старых лиса!» Задумался, как их расшевелить, отважить к сражению. Крикнул:

— Двух герольдов ко мне!

Подъехали герольды.

— Возьмите пару мечей,— приказал магистр,— и вру-

чите от моего имени польскому королю и князю Витовту. Таков старинный рыцарский закон вызывать на бой струсившего врага. Держитесь дерзко, пусть оскорбятся. Брат Куно,— повернулся к Лихтенштейну,— укажи им проход, чтобы не грохнулись в яму!

Минут через пять герольды поскакали вниз по холму.

Ягайла в это время заканчивал опоясывать рыцарской перевязью молодых воинов. Потом краткой речью зажег в сердцах новых рыцарей храбрость. Потом стал исповедоваться подканцлеру Миколаю Тромбе, который, как краковский katowник и архиепископ Галицкий, имел право на отпущение грехов. Все делал обстоятельно, ни в чем не торопился и тем более не торопил свои полки первыми начать битву. Еще на рассвете, когда дозоры один за другим стали приносить известия о немецких хоругвях, перекрывших дорогу и явно намеренных дать бой, удалился в походную каплицу и под бормотание своего духовника Бартоломея думал о судьбах битвы и о своей судьбе. Приносились гонцы от Витовта, сказал — не допускать. Дважды приносился сам нетерпеливый Витовт. Вбегал в каплицу и, даже не перекрестясь на распятье, недовольно торопил: «Полки готовы, пора меч брать в руки!» Не спорил, не возражал, ласково говорил: «Милый брат, вот дослушаю вторую мессу — начнем!» «Хватило бы и одной! — желчно отвечал Витовт и чуть ли не молил: — О чем думаешь, брат-король? Бог уши замкнул, опротивели ему наши молитвы. Дела ждет!»

И польское рыцарство, окружавшее каплицу, роптало против долгой молитвы. Сквозь ткань шатра пробивались настойчивые крики: «В бой!», «На немцев!» «Веди нас, король Владислав!». Не раздражался, понимал, что воинство опалено желанием победы. Но чем рискует каждый из них? Единственно головой. Он же — королевством, судьбой польской короны, судьбой всего народа. Ясно сознавал, какому риску подвергает его начавшийся день. Годами желал этой битвы, готовился к ней, решился, привел войска, стал лицом к лицу к воинственным тевтонцам — и в последнюю минуту забыть осторожность, загореться юношеским пылом, дать волю страсти при виде белых плащей, очертя голову броситься в сражение? Нет, такой оплошности он не допустит. Рыцари рвутся в бой — это хорошо, это их долг; Витовт охвачен безумием спешки — кровь горячая, так Кейстут воспитал, сам любил наезды, набеги, махание мечом; сыну перешло по наследству — недолго размыслить, быстро исполнить, потерпеть неудачу и раскаиваться.

А его, Ягайлу, отец, великий князь Ольгерд, учил, как сам поступал: прежде думать, потом делать; мечами должны ратники работать, а королевское дело — слать в бой хоругви, следить за боем, угадывать предначертания победы. Красиво, но неумно, если он, король, помчится, подобно предхоругвенному, впереди одной из пятидесяти своих хоругвей, испытывая рок. Ведь стоит ему ринуться в битву, как немцы тут же кинут все свои силы, чтобы убить его, ранить или пленить. Объятые горем, обезглавленные полки сразу рассыплются.

В этом нет сомнений. Даже Дмитрий Донской переодел близкого боярина в свое княжеское платье, а сам бился в доспехах простого воина. И проявил мудрость — этого боярина татары разорвали на куски,— но мудрость неполную: ему надо было стоять в стороне, как стоял на буграх Мамай. Какая польза, что Дмитрий своею рукой посек двух, пять, пусть десять татар? Самого чудом выходили, от полученных ран впоследствии и умер. Да и что равняться: Дмитрию было тридцать годов, а ему, королю,— шестьдесят. Голова украшена сединой. И в былое время к суетной рыцарской славе не стремился никогда; тем более сейчас нет нужды искать приключений в гуще сечи, самому наставлять копье. «Если здесь и проиграем — еще не конец, всех призовем к оружию, весь народ».

Поднялся с колен, приказал подать доспехи. Медленно оделся, пристегнул цепью меч и вышагнул из шатра под радостные крики шляхты. Ему подвели коня, рядом стали телохранители, приблизилась его личная хоругвь в шестьдесят копий — две сотни умелых рыцарей. Взъехал на холм. Вдали неподвижно стояли клинья Ульрика фон Юнгингена. Ведя глазами по слабо различимым знаменам немцев, оценивал их силы: то казалось — их мало, и сердце веселело; вдруг стальные колонны представлялись неразрушимыми, тогда неприятным холодом обнимало грудь. Распорядился тотчас расставить коней для скорого отъезда в случае плохого исхода битвы. И этот грех — грех своих опасений — сообщал сейчас подканцлеру Тромбе.

Неожиданно сообщили, что от немцев скачет герольд; скоро его привели — нес знамя с черным крестом на золотом поле и держал в руке обнаженный меч.

И к Витовту явился герольд — под белым знаменем с красным грифом. Протянул голый меч и с дерзостью сказал:

— Великий князь Александр-Витовт! Великий магистр Пруссии Ульрик фон Юнгинген шлет тебе меч, чтобы ты

отважно вступил в бой, а не прятался среди лесов. Если ты считаешь поле тесным, то магистр Пруссии Ульрик фон Юнгинген готов отступить, чтобы ты вывел войска и не боялся битвы! — И воткнул меч в землю.

Витовт, слушая герольда и следя за немцами, удивился их нежданному и непонятному поступку: клинья вдруг повернули и шагом удалились на холмы, обнажая бомбарды и прикрывающие их отряды лучников. Пушечная прислуга поднесла к запалам факелы — тишину разорвал грохот, над полем полетели ядра и редко упали в полки.

— Жедевид! — крикнул Витовт.— В мечи их! — И поскакал к татарам.

— Багардин! — крикнул хану.— Вперед! Секи пешек!

Вся легкая конница середины и тысяча татар сорвались в галоп и, подняв мечи, выпуская стрелы, свистя, крича, воя, помчали на крыжаков.

Князь, улыбаясь, следил, как разворачиваются в лаву легкие сотни. Видел вставшего на стременах, взметнувшего меч Ивана Жедевида. Внезапно он сгинул, и еще несколько десятков людей — там, там, там — вместе с лошадьми каким-то волшебством ушли в землю. «А-а, сукины дети,— догадался князь,— вырыли западни!» Глянул: сколько, как часто? Видя, что налет не сорвался, что нападавшие хоругви лишь едва поредели и рвутся к врагам, повеселел. В воздухе столкнулись две тучи стрел — ударили в немцев, ударили по литвинам и в татар. Повалились с коней первые жертвы битвы. Но уже началась рубка прислуги и лучников, донесся гулкий стук мечей о прусские шлемы.

Ягайла еще в бой не вступил. Было слышно, как за холмом польские хоругви начали петь «Богородицу».

Из ям карабкались уцелевшие ратники и татары, помогали выбираться товарищам. Принесли Ивана Жедевида с переломанной ногой. Князь навзрыд плакал о нелепом ранении. Его посадили на ремни меж спаренных коней и отправили в обоз.

Орденских лучников и пушкарей татары, волынцы, подольцы поголовно вырубили. В ответ тяжелая рыцарская конница наставила копья, тронулась и, набирая ход, грузно поскакала на полки Витовта. Великий князь взмахнул мечом, и тогда Семен Мстиславский, Монивид и заменивший Жедевида Петр Гаштольд повели гуфы в сражение. Пройдя меж ям, где кричали побитые кольями кони и стонали люди, хоругви, подобно речному потоку, встреченному преградой, стали разливаться вправо и влево, и точно так же раздавались вширь клинья крыжаков. Прогнулась, засто-

нала, разбитая тысячами копыт, заклубилась пылью земля. Немецкие и Витовтовы гуфы сошлись, с обеих сторон вынеслись жикающие стаи стрел, повисли тяжелой тучей и осыпались жалить; трехсаженные копья ударили во враждебные ряды. Разлетались щиты, рвались доспехи и латы, раздирались жалами копий груди, рыцари обеих сторон выпадали из седел. Но кто выдержал этот страшный удар, поднимал молот, топор, меч и кидался плющить броню, рубить наплечники, сечь руки. Стрелы роились меж закрытых панцирями людей, долбили, стучали, клевали доспехи, нащупывали голое тело, вонзались в шеи и бока лошадей. Рыцари второго ряда становились на место убитых, а их заменяли рыцари третьего. Тяжелые молоты продавливали кованые шлемы; секиры, прорубая миланскую сталь, крушили кости; двуручные мечи, упав на плечо, добирались до сердца. Раненые падали с коней — литвин на немца, немец на русина, татарин на наемного швейцарца; и стоны, и предсмертные крики, и предсмертное ржание коней гасли в неистовом звоне железа, в адском грохоте рубки. Робкому некуда было бежать, храбрый не мог уйти вперед: крыжаки и литва стояли как две стены, поднимаясь над землей на вал из павших своих товарищей. Задние напирали на передних, а передние ряды исступленно сокрушались один о другой.

Иначе началась битва на крыле татар. Татарские панцири из каленой кожи буйволов и их обтянутые такой же каленой кожей щиты не могли бы выдержать удара копий, и татары хана Багардина, сшибаясь с хоругвями наемников, которых вели Кристоф фон Герсдорф, Фридрих фон Бланкенштейн, Ганс фон Вальдов, Отто фон Ноститц, пустили в ход неожиданное для немцев оружие. Когда двадцать — тридцать шагов отделяло ликующее рыцарство от татар, вдруг взвились в воздух арканы и почти весь первый ряд покрытых броней предхоругвенных был позорно свален, словно сдут ветром, под копыта своих же толстоногих, мощных коней. Пользуясь смятением крыжаков, татарские сотни рванулись вперед и ударили в мечи и сабли. Шедшие следом лучники выпустили навстречу рыцарям завесу стрел и, в мгновение ока скинувшись с седел, перерезали оглушенных падением наемников. Казавшееся забавой истребление татар обернулось с первой же минуты потерями и нелегким боем. Мощь мечей, разрубавших незатейливые доспехи, уравновешивалась змеиными объятиями арканов, метко падавших на голову и снимавших с коня грозных немцев. Веревкой было обидно вырвано из рук хорунжего и

будто само улетело в гущу татар знамя хоругви Герсдорфа — красный крест на белом поле. Рыцари взвыли от ярости и стыда.

Рядом с татарами стояли против крыжаков виленские хоругви Войцеха Монивида и Минигала, а плечом к плечу с ними — трокская хоругвь Явниса, и кременецкая хоругвь, и хоругвь Жигимонта Кейстутовича, и ратненцы Сангушки Федоровича, и луцкая хоругвь Федора Острожского, и волковысцы, и витебляне, и оршанская хоругвь князей Друцких, и два смоленских полка, которые вели Вяземский, Бельский, Дорогобужский.

Время битвы текло — ни немцы литву, ни литва и русины немцев не могли потеснить, стронуть с начальных мест. Бойцы гибли, их заменяли новые; хоругви таяли, Витовт подкреплял их хоругвями второго ряда — уже пошла на подмогу новогрудцам киевская хоругвь князя Гольшанского, кременецкую хоругвь усилили молдаване, а к оршанцам прибавилась и вступила в бой слуцкая хоругвь князя Александра Владимировича.

Великий князь носился вдоль тыла своих бьющихся полков, следил, где редеют ряды, сам вел хоругви в бой, сам, запаляясь, рубился с крыжаками, выходил из сечи, скакал на польскую половину сражения, убеждался, что поляки дерутся стойко, скакал назад, окруженный только гонцами, которые с полуслова хватали приказ и мчались исполнять. Князь был в упоении, видел, что немцы теряют людей не меньше, чем он, а у него помимо тринадцати хоругвей третьей линии еще три тысячи татар Джелаледдина, скрытно стоящих в лесу до того часа, как начнется окружение крыжаков, погоня, рубка в спину, поголовное иссечение.

На глазах вершилась заветная мечта, исполнялись дедовские наказы. Поглядывая на небо, Витовт был уверен, что и Кейстут, и Гедимин, и Миндовг сейчас собрались сюда и парят над полем битвы и неземной своей силой гасят дух немцев, крепят сердца своих. Не могут в такой славный день не явиться, пропустить торжество, которое ожидалось веками, не увидеть отмщение за крестовые походы, за костры, кровь, муки своих народов. Тут дзяды, тут они все до единого, помогают ему, у каждого есть злая память к крыжакам, вот они носятся, мелькают среди знамен, мечей, стрел, чеканов, кордов, среди криков, гула, лязга, грома сражения. Трепетал, был счастлив — шла битва, какой не знала земля: орден ставился на колени, здесь сейчас ему ставили препону, отбивали охоту рваться на восток.

Посылая в бой новые полки, призывал князей и воинов:

«Бей! Руби!», и те подхватывали клич и мчали на немцев. «Бей! Руби!» — гремело над полем. Кричал: «Немир! Прикрой Острожского!» — и полоцкая хоругвь поскакала укрепить луцкую, где немцы напряглись и прошли вперед на пятьдесят шагов; кричал: «Нос! Гольшанский! Подсобите Жигимонту!» — и пинская с киевской хоругви присоединились к новогрудцам. Вступил в бой обок с витеблянами полк Великого Новгорода, гродненская хоругвь усилила ряды крепко потраченных владимирцев, Корейка привел свою медницкую хоругвь на подмогу Явнису. Уже рубились с крыжаками мстиславцы и вторая трокская хоругвь Гинвила.

Шел второй час сражения. Густая горячая пыль поднималась к небу, солнце раскаляло доспехи, словно хотело заживо испечь забывших милосердие людей. Потом, будто утомившись зрелищем неутихающей сечи, оно стало затягиваться пологом облаков, и пролился короткий дождь, прибил пыль, освежил воздух, охладил шлемы, латы, мечи.

Валленрод, взбешенный непредвиденным отпором, приказал нажать на татар. И татары не выдержали. Да и как было выдержать, если за каждого рыцаря они платили несколькими жизнями! Сабли тупились о крыжацкие доспехи, выбивали искры, ломались, и пока шею рыцаря находил кривой нож или аркан стаскивал его наземь, он успевал обагрить меч татарской кровью три, пять раз.

Багардин, слыша от сотников об огромных потерях, решил оторваться, перестроиться и ударить немцам в тыл. Он дал знак; ударили бубны, взревели сурны, качнулись бунчуки, и в тот же миг все татарские ряды, подчиняясь приказу, повернули коней, уже на скаку закрылись от рыцарей пеленой стрел, и перед наемными хоругвями ордена татар не стало — длинной змеей они быстро удалялись по лугам. За ними и гнаться было бесполезно: легкие татары имели двойной, тройной перевес в скорости хода.

Но отступление татарских полков оказалось роковым для крыла Монивида. Освободившиеся рыцарские отряды повернули на виленцев и трочан. Не готовые к боковому наскоку хоругви были вынуждены отходить. И тотчас мощный свежий клин крыжаков навалился на новгородцев, киевлян, пинчан. Великий князь, заметив опасность прорыва, прибавил Монивиду лидскую, ковенскую, стародубскую и новгород-северскую хоругви, но и крыжаки пополнились новыми клиньями. Первый успех, мелькнувшая тень победы окрылили тевтонцев. Они наползали на ряды руси, сминали отпор, а на дороге к Любенскому озеру, не щадя

себя, двигались вперед, раздваивая полки литвинов. Около пятнадцати хоругвей — трокские, жмудские, виленские, подольские, ковенские, молдавская, пинская, киевская, стародубская, новогрудская — обнимались немцами в клещи, и тут шла отчаянная рубка. Стали пятиться серединные хоругви Петра Гаштольда. Вся линия боя напряглась, как натянутая тетива; казалось, еще одно усилие, еще один удар мечей — и напор немцев сломится, все их наступавшие клинья обессилятся, отвалятся назад, но Валленрод слал новые хоругви, и они тяжело наваливались на полки Гаштольда. И ратненцы, владимирцы, гродненцы, полочане, луцкое боярство начали тесниться и шаг за шагом уступать поле крыжакам.

Давшие обет стоять насмерть волковысцы насмерть и стояли. Уже половины хоругви не было в живых, а живые, поднимая и опуская на крыжаков свои мечи и секиры, поглядывали на хорунжего: держится ли боевой стяг? Есть стяг — есть и волковыский полк, пусть от него останется хоть десяток воинов. И крыжаки рвались к хорунжему, как рвутся к добыче зимние волки. По щиту, панцирю, шлему Мишки Росевича беспрестанно стучали стрелы; ткань знамени была изъедена ими в десятки дыр, но серебряный всадник с поднятым мечом на красном поле стяга ласкался ветром, реял над хоругвью, виделся всем, и каждое сердце согревалось радостным чувством — не сломлена хоругвь, бьется, рубит врага. Не слабел дух волковысцев, но число их меньшилось, ряды истаивали, все ближе и ближе приступали пруссаки, и уже длинные их мечи залязгали рядом с хорунжим, и он сам, взяв древко знамени в левую руку, отбивал нацеленные в него удары. Гибли, защищая стяг, волковыские воины: пали отец и сын Волковичи, не стало старого Вудимунта, Степка Былич не отбился от трех мечей и упал с расколотой головой. Вслед за ним надломилось перерубленное мечом древко, и хоругвь под злобное торжество крыжаков рухнула па пласт мертвых ратников. «Ну все,— сказал себе Росевич.— Теперь мой черед бить!» Рысью метнулся он к рыцарю, срубившему знамя, и отвалил дерзкую руку. Не видел товарищей, забыл о них. Видел шлемы, султаны из павлиньих и страусовых перьев и сбривал их, раскраивал, рвал крыжацкую броню, делал с рыцарями то, что они сделали с Ольгой, матерью, Кульчихой, с лирником и отцом, с бабами и детьми в тот страшный день. Все, ушедшие на вербницу, виделись ему сейчас и просили: «Мсти! Мсти! Мсти!» — и он не чувствовал ни тяжести своих ударов, не слышал ни треска разрубаемого

мечом железа, ни последних криков рыцарей и сам не почувствовал боли от врезавшегося ему в спину всей длиной жала меча, только набежал на глаза туман, обагрился ярким огненным светом, отнял дыхание, закружил голову, и он полетел в бездну, и его подхватили на руки заботливые руки жены и бабки Кульчихи и, слезясь любящими глазами, вознесли в чистую лазурь поднебесья, где пришла к нему вечная тишина.

Страшно вскричал Гнатка, увидав, как ополз из седла Мишка Росевич, и, закружив мечом, пошел в глубь крыжацких рядов, пластуя, ломая рыцарей, как ломает разъяренный зубр деревья, которые попадаются ему на пути. Искренняя душа его разжелала жить; никого из тех, кому отдавал он свою любовь, с кем пришел на эти холмы, уже не было в живых, он их не видел или видел мертвыми, и он яростно пошел вперед, навстречу желанному утешению боли — за смертями немцев и своей смертью, потому что она стала ему нужна.

Юрий, которого Гнатка считал среди сгинувших, был жив. Еще в первый час боя под ним убили лошадь, и она, сбросив его в последнем, смертном скачке, придавила ему ноги. Прижатый тушей, он лежал лицом в землю и не мог высвободиться. Вокруг шла сеча, побеждали и гибли, а он оказался изъят из общего дела, и эта его беспомощность, бесполезность в битве измучили Юрия до отчаяния. Не один раз по нему ступали то крыжаки, то свои, он кричал, призывая знакомых, но и сам едва слышал свой крик в сплошном лязге стали. Потом кто-то, раненый или мертвый, повалился на него, и чужая кровь залила лицо. Он напрягся, сбросил с себя чье-то тело и узнал Мишку. «О господи,— простонал он,— а я жив!» И тут пришла нечаянная уже помощь — Егор Верещака заметил его потуги подняться и, подняв древком конский труп, освободил.

Хоругвь была разбита, бой шел по сторонам, рубились далеко справа, рубились поближе слева, и они побрели влево, не зная, что идут к полкам Мстиславского.

Подобно им, выползали из-под груд мертвых тел, поднимались с земли отлежавшиеся, ожившие кнехты и рыцари и, видя врага, кидались рубиться, и малый путь Юрия и Егора к общему бою сложился в ряд безжалостных поединков.

Крыло Монивида, которое немцы старательно обтекали, окружить себя не давало. Лучшие рыцари из всех присланных Витовтом хоругвей спешили в передние ряды. Но когда они полегли, положив возле себя столько же крыжаков,

и немцам остались противостоять земяне, одетые в нагрудные панцири и колонтари, тогда ряды попятились скорее. Монивид, не желая сильной траты людей, решил отступать к обозу. Лавина, смешанная из полутора десятка хоругвей, порысила к таборам, лишь несколько полков, отсеченных немцами, пошли лугами по татарскому следу, и за ними устремился отряд крестоносцев, вырубая задних.

На дороге, прикрывая отступавшие полки от погони, остались полоцкая и первая виленская хоругви. Не по силам было долго сдерживать обвал крыжаков, но каждая минута отпора сберегала порядок отходивших войск, спасала все крыло от жестокого разгрома. Возле Андрея Ильинича бились в первом ряду старший брат Федор и Юшко Радкович. Других братьев не видел и не думал о них. Вся память ушла, все зрение, все чувства нацелились на одно — как вернее рубить, как крепче отбиваться. Вокруг мелькали шлемы, топоры, плащи крыжаков, били в щит чеканы, меч сталкивался с мечами немцев, кого мертвил, кого колол; дважды меч застревал в броне, тогда Андрей хватал чужой — их сотни были рассыпаны по земле. Бой был смертельный; все понимали, какая судьба ждет прикрытие: остановить колонны немцев две хоругви не могли, дать им дорогу не имели права. Жребий обрек каждого держаться против пяти-шести крыжаков, но бились, не думая о смерти, и погибали, не отходя ни на шаг. Андрей замечал, как проткнули копьем Олизара Рогозу, как кровь залила лицо Радковичу, как, хватаясь за впившийся в грудь меч, выпал из седла Микита Короб. Озверение нашло на Андрея; вой, хрип ненависти рвались из груди; рубил крыжаков со сластью; забылся, отдавшись жуткой работе, только всплескивала радостью кровь, когда сбивал с коня очередного. Вдруг словно гора обвалилась на шлем, шея содрогнулась, смялся хребет. Успел еще подумать: «Конец!» — и канул в безвестность.

Очнулся Андрей от сильных ударов по ребрам. Разлепил глаза, различил над собой нескольких пеших довольных немцев в кольчугах — и узнал у них в руках свои латы и подаренный великим князем корд; скосил глаза на грудь, простонал — был в одной рубахе, даже войлочный подклад содрали немецкие пешки. Его подняли, он оказался в кучке таких же бедолаг; их повели прочь из битвы по полю, устланному трупами; среди трех десятков пленных лишь трое были связаны; остальных — раненных и оглушенных, едва переставлявших ноги,— рыцарские оруженосцы не боялись. Андрей цепенел от стыда. К гибели в бою готовился, но

о плене мысли не допускал, и смерть в этот миг казалась лучшим избавлением от позора. Весь день не вспоминались, а тут припомнились и Софья, и Немир, и Мишка Росевич, и Гнатка, и братья. Огляделся, поискал братьев — не нашел и чуть утешился. Но знакомые в толпе пленников были — и свои, из полоцкой хоругви, и виленцы. Увидел Яна Бутрима, встретились взглядом и отвели глаза: стыдно, горько, ужасно. Не укладывалось в голове: Бутрим, друг Витовта, всему Великому княжеству известный боярин, бредет в плен; и он тоже тянется, как овца, под мечами немецкой стражи. А рядом клокочет битва, рубятся с крыжаками свои, а они — в полон, в цепи. А свадьба? а Софья? а товарищи? Череп раскалывался, мозг, шея ныли, горели огнем после удара молотом; хороший, крепкий был шлем, спас жизнь — но зачем? Немцы шли с обеих сторон негусто. Меч, меч бы в руки, мечтал Андрей, хоть напоследок полущить вас, потрепать, очиститься, успокоить душу.

Мечей хватало, стоило лишь нагнуться. И, наглядев меч, лежавший поверх поверженного крыжака, Андрей стал собирать для удара свои силы, готовить тело к прыжку. Поравнявшись с мертвым, он, как божий дар, схватил сверкающий меч и обрушил его на вскрикнувшего немца. Через мгновение рядом с первым лег второй. И Бутрим, и другие воины хватали оружие, кидались на немцев, рубили, сами падали порубленными, но с оружием в руках, с ясным сердцем. В копья встретили десяток конных пруссаков и всех выбили. Кто сел на отвоеванного коня, спешил от крыжака к крыжаку, сек насмерть. Этой дружиной пошли по дороге назад освобождать других.

Полки Семена Мстиславского и Гаштольда, не втянутые в отступление, разворачивались дугой и бились с суровой решимостью удержаться. И тут крыжаки допустили непоправимую ошибку: вместо того чтобы всеми освободившимися клиньями рубить дугу, ломать оставшиеся на поле боя полки Витовта, часть хоругвей Валленрода, смолов полочан и виленцев, пошла в погоню за литвой и русью, отходившими к обозу. Легкость рубки в спину захватила рыцарей, и они сминали отступавших, спешенных, задних, слабо вооруженных. В пылу погони немцы вошли в лес и домчали до табора на берегу Любенского озера. Добыча, которую сулили тысячи подвод, заохотила их на приступ обоза.

Валленрод торжествовал: боевое счастье улыбнулось ему, язычники и схизматики рассеивались, убегали в лес; оставалось взять в клещи тех, кто сопротивлялся, и раздавить. Закрепляя успех, он направил полки обжимать левое

крыло Витовта, пробить брешь между поляками и полками Мстиславского, раздвинуть их и врубиться им в спины. Крыжаки направили удар на большую краковскую хоругвь. Обрушилось наземь королевское знамя с белым орлом, и уже разгром главной польской хоругви казался близким и неизбежным. Но мешали громить поляков стоявшие встык с ними смоленские полки, и немцы стремились оттеснить их, укрупняя свой клин. Семен Ольгердович разгадал смысл этого натиска и уплотнил смолян своей мстиславской, а потом и витебской и менской хоругвями.

На всем поле битвы, от Танненберга до Людвиково, не было более свирепой сечи, чем завязалась здесь; нигде не рубились с таким ожесточением, нигде не гибло столько литвинов и немцев. Посчитав эту ярость отпора последней вспышкой силы, зна́ком своей близящейся победы, крыжаки запели свой орденский гимн.

А Семен Мстиславский, не видя подмоги, отдал полкам своего крыла жестокий приказ — стоять насмерть. И тысячи вояров, прошедших тысячеверстные пути от родных хат, от тихих речек сюда, на прусскую землю, честно приняли судьбу — стать и выстоять, не жалея жизни. Дух стал против духа, тевтонский против славянского — кто кого пересилит. Маленький, в треть версты, холмистый участок стал сердцевиной битвы. Более шести тысяч людей рубились здесь, словно знали, что здесь решится сеча, что отсюда начнется либо победа, либо разгром.

До единого человека истаяла первая смоленская хоругвь, от второй и третьей осталось по половине, полегли мстиславцы, менчуки, заславцы, но ни на шаг не продвинулись вперед немцы, клин их смялся, смирился с неудачей.

Спасенный Верещакой Юрий оказался при нем за паробка, оберегал его с тыла, а Егор принимал главный бой, и не будь рядом двужильного, неутомимого Егора, Юрий недолго бы оставался жив. Не однажды видел нацеленный на себя удар крыжацкого копья или меча, против которого не умел или не успевал защититься, завороженно замирал перед близостью своей смерти, и каждый раз Егор отводил смерть спасительным ударом или остерегал Юрия криком. Холодное спокойствие Егора, его чуткая напряженность передавались Юрию; как зимою на неманском льду с Гнаткой, так теперь тут он почувствовал, чего ждет от него Егор, и отвлекал на себя напавшего сбоку кнехта, рубил в спину наседавшего на Верещаку рыцаря. Здесь, где сражались полки Мстиславского, вся земля плотно была застлана мертвыми, кони шли по ним валким, боязливым шагом,

и крыжаки спешивались, оставляя коней оруженосцам и спешили в рукопашную по трупам, а навстречу им шли литвины. Столкнувшись, ряды откатывались, потом сталкивались опять, оставляя новых мертвецов. Чаще немецкие шеренги шли густо, стремясь отодвинуть всю линию литвы, иногда крыжаки перестраивались в глубокие клинья. Оттесненный таким клином, Юрий потерял Верещаку и остался один среди незнакомых ратников. Никто из соседей не знал о его неопытности, никто не взялся опекать его, советовать, руководить. Неожиданно Юрий получил обязанность сражаться наравне с каждым, отбивать любой удар, встречать любого противника и бить так, чтобы убить. Юрию думалось, что Верещака убит и теперь он должен стать вместо него. Каждый рыцарь, глядевший на него сквозь щели в забрале, метивший ему в грудь секирой или мечом, мог быть убийцей отца, Ольги, Фотия, Мишки, Егора. Он почувствовал себя мстителем за них, за страдания, главным защитником правды. Это чувство правоты, ответственности, равенства с умелыми воинами придало руке Юрия ловкости и силы. Где-то неподалеку неустанно и подбадривающе гремел громовой голос сотника Петра Глинки: «Не пятиться! Бей! Руби!» Юрий повторял этот древний клич, как волшебное заклинание, и меч его послушно бил и рубил.

Песнь, начатую крыжаками при наскоке на смолян, подхватили, не ведая, что окажется она не победной, а прощальной, все крестоносцы — и те, которые бились против поляков, и которые бились с литвой, и те, что рвались за добычей в обоз. Но в обозе перед ними встали на подводах тысячи пеших ратников с цепами, кистенями, рогатинами, звездышами, и крестоносцев встретил удар, какого они не ожидали. Все это мозжащее оружие обвалилось на первый их ряд и прибило его к земле. Крестьяне, которые удерживали обоз, в плен не брали и жалости не ведали. Рыцарей били словно волков — с ненавистью и без разбора, лишь бы убить. Шипы звездышей пробивали латы, железные шары кистеней с одного удара убивали лошадь, а со второго клали возле нее крыжака. Прикрытые кожей, а то и вовсе в одних только колтришах, мужики гибли десятками, но каждая отбитая подвода, каждый взятый скарб оплачивались жизнями немцев.

Великий князь Витовт весь бой находился среди полков. Уже за полдень давно перевалило, уже земля напиталась кровью, зазыбилась, а на воинах обсыхал десятый пот, уже многие, утомившись держать меч одной рукой, бросали щиты и рубились двуручно — князь не уставал. Хриплые

рыки надорванного голоса князя действовали на хоругви подобно сигналу труб, понимались точно, и за ними немедленно следовало дело. Вокруг князя гремела битва — крики, стоны, мольбы, визг, вой — и смерть метила свои жертвы, направляла копья, стрелы, мечи, звездыши на тех, кого желала взять сегодня к себе. Витовта смерть обходила или не успевала за ним, когда он мчался со своей половины на польскую, потом обратно; если конь, исходя кровавой пеной, валился, князь вскакивал на другого, которому тоже недолго приходилось скакать среди крушившихся жизней.

Время шло, самое страшное было пережито, напор крыжаков слабел, сила их истощалась, хоть и стоило это больших жертв. Главное — выстояли, теперь, жил этой надеждой князь, очередь самим гнуть врага к земле. Направил на помощь потерпевшей краковской хоругви сразу три, среди них хоругвь русинов Галицкой земли. Выслал гонцов к Джелаледдину и Багардину, чтобы ханы вели своих татар; присоединил к менчукам три подольские и львовскую хоругви; летели его гонцы к Ягайле, который с началом битвы отъехал к Любенскому озеру и наблюдал сражение с холма, известить, что немцы остановлены, завязли в истребительном для них бое. Послал за Семеном Мстиславским и Гаштольдом. Те прискакали, оба в помятых мечами доспехах, забрызганные кровью. «Валленрода в тиски! — сказал Витовт.— Кончайте!»

Витовт с десятком конных ратников взлетел на высотку, залюбовался начавшимся окружением крыжаков. Видя спешное, уверенное движение полков Семена Мстиславского, радостно засмеялся: если Ульрик и пригонит свои спрятанные полки — не отвратит судьбу: держал победу за хвост — выпустил, улетела. Если ударит в бок полякам, то Семен, Гаштольд, Монивид порубят Валленрода и придут помогать; если ударят в тыл Мстиславскому, поляки высекут Лихтенштейна и подсобят. И татары уже несутся. «Все,— весело подумал князь.— Побеждаем!»

Ульрик фон Юнгинген, обозревая поле битвы, видел и на Ягайловой и на Витовтовой половинах приметный перевес. Было ясно: король и великий князь ввели в бой все полки, всех людей. Вот этого момента он так долго и дожидался. Пусть радуются, наблюдая содрогание орденских рядов. Пустая радость! Вот стоят не тронутые боем, не вынимавшие еще меч и жаждущие его обнажить шестнадцать лучших хоругвей. Через несколько минут они упадут на поляков и литву подобно карающему мечу архан-

гела Михаила. Упадут, сокрушат, разгонят по лесам и болотам, под коряги, в камыши и топи польский и литовский сброд, рассеют его, как достоин того сегодняшний день, празднуемый всеми христианами,— день рассеяния апостолов на земле. Апостолы рассеивали мрак невежества словом, орден рассеивает язычников и врагов мечом. Так пусть радуется создатель. «Во славу божью! — крикнул магистр.— Вперед!» — и сам повел полки брать предопределенную победу. Перестраиваясь в боевой строй, немцы тяжелой рысью припустили на поле битвы.

Лавина их, послушно следуя за магистром, не обратила внимания на ничтожную хоругвенку, застывшую на холме в двух сотнях шагов. У магистра мелькнуло желание отрядить сотню рыцарей для истребления этой кучки поляков, но он его притушил: бог с ними, скорее туда, где делается главное дело, где празднуют мелкий свой успех полки Ягайлы, где решается исход сражения. Увидал, что какой-то смельчак вдруг вынесся из бокового ряда и поскакал к той хоругвенке. «Глупец!» — подумал магистр.

Рыцаря этого звали Леопольд фон Кокеритц, и он узнал польского короля, хоть и был убран с немецких глаз малый королевский прапор. Буланый конь Кокеритца быстро сближал его с Ягайлой. Рыцарь видел, как польский король закрылся щитом и выставил копье. Королю грозил поединок; соблюдая рыцарские обычаи, никто из королевских телохранителей не посмел вмешаться, но любимец Ягайлы нотарий Збигнев Олесницкий подхватил с земли оброненное копье и неожиданно для Кокеритца ударил его в бок. Крестоносец выпал из седла, забрало откинулось, и Ягайла острием своего копья ударил немца в открывшийся лоб. Тут же пешая стража добила его и сняла доспехи.

Если бы великий магистр мог знать, на кого нападал Кокеритц, он выслал бы вослед полную хоругвь. Но чутье изменило Юнгингену, притупилось, запаздывало; еще не вступив своими свежими хоругвями в бой, но уже развернув их, утратив над ними силу команды, он сообразил, что повел их неверно, что надо было зайти в тыл, а здесь его задержат, вынудят к рубке и он потратит без большого успеха столь ценное сейчас время. И верно, навстречу его клиньям казавшийся пустым лес вдруг словно выплеснул несколько польских хоругвей. В довершение беды великий магистр заметил вдали серую, стремительно несущуюся вперед колонну и понял —

татары, скоро прыгнут на спину. «Господи,— вслух произнес он больше для успокоения окружающих, чем с надеждой,— дай защиту своим слугам!» Сам же ощутил в душе непривычную пустоту, словно пробилась там дыра и нечто важное, необходимое для уверенности и радости, вывалилось и потерялось навсегда. Подумалось с предательской слабостью в груди, что лучше самому не бросаться в битву, остаться на холмах, но усилием воли магистр расплющил эту низкую мысль. Нет, вперед, в бой, к братьям, которые гибнут за дело Немецкого ордена! И, вознеся меч, Юнгинген вместе с рыцарями врубился в ряды встретившей его преграды.

Теперь он видел, что к татарам хана Багардина, полукольцом выходившим в тыл его шестнадцати хоругвей, присоединились отряды литвинов, польские хоругви и два чешских полка.

В это же самое время полки Семена Мстиславского, Гаштольда и татары Джелаледдина обтекали поредевшее крыло Валленрода. Великий маршал срочно выслал гонцов за хоругвями, добивавшими обоз, и скоро заморенные боем с крестьянами немцы, бросая добычу, поспешили на выручку своим. Но не было им суждено что-либо изменить в ходе битвы. Из леса, преследуя их, пришли перестроенные Монивидом хоругви виленцев, трочан, жмуди, волынцев и плотно, как палисад, закрыли все выходы, все слабые места окружения. На Грюнвальдских холмах крыжаки загонялись в два котла, и стены этих котлов обрастали литовской, польской пехотой, татарами, конными остатками всех полков, становились непробиваемыми. Войско ордена тонуло в собственной крови, и уже никакая сила не могла его спасти.

В какую сторону ни кидал Фридрих фон Валленрод своих рыцарей прорубить круг, везде их отбивали мечи и диды литвинов, арканы и сабли татар. Кольцо стягивалось, как петля удавки. Одна надежда оставалась у великого маршала: брат Ульрик пришлет запасные хоругви и они с тыла проломят стену, расшвыряют схизматиков и литву. В нетерпении ждал их прихода, поглядывал на косогор, где должны были возникнуть стальные колонны, но ни один всадник не появился на холмах. Время убегало, и с каждым мгновением меньшилось число немецких рыцарей. Кони подскальзывались в крови, спотыкались о трупы. Но как загнанный волк продолжает борьбу до последнего вздоха, так и крыжаки решали за лучшее сгинуть. Никто не сдавался, ни один го-

лос не просил пощады. Немцев теснили, сжимали, сбивали в кучу и секли ожесточенно. От всех орденских земель, от всех земель, которыми они жаждали владеть, остался им в этот час пятачок напитанной кровью земли, и на нем вовсю трудилась смерть. Гнев душил Валленрода. В бессильном бешенстве вспоминал великий маршал прошлые походы. Всех надо тогда было жечь, убивать — и в Вильно, и в Новогрудке, и в Троках, и в Лиде, и в Бресте, и в Ковно, и в Медниках, и в Полоцке, и в Ошмянах, и в последний поход в Волковыске,— всех, без разбору, и семя язычников растирать в пыль. Нельзя было жалеть, раздумывать, лениться. Обжигаясь ненавистью, он пытался доделывать недоделанное: меч его, пресыщаясь кровью, разил одного за другим пробивавшихся к нему врагов. «Вот так требовалось тогда! — упрекал себя Валленрод за прошлое.— Теперь уже поздно!» Внезапно что-то колкое и тяжелое ударило его в грудь, пробило панцирь, и великий маршал почувствовал миг, когда разорвалось его сердце.

Редели орденские хоругви и во втором круге. Ульрик фон Юнгинген все больше понимал, что битва проиграна, но разум отказывался верить в это, подчинить себя ужасу очевидного крушения. Всегда, веками побеждал Тевтонский орден, так предначертал бог. А здесь, на холмах, творилось обратное. Вокруг великого магистра фон Юнгингена стояли отборные рыцари, они отчаянно рубились, может, как никогда раньше, но были бессильны разорвать удушающее кольцо, падали, гибли, вместе с ними никла слава ордена. Ненавистные литвины, поляки, татары оказались теперь возле великого магистра, он сам мог стать их добычей.

Неожиданно Ульрик фон Юнгинген увидал перед собой смуглое лицо под позолоченным шлемом, раскосые глаза глядели на него с холодным интересом, выбирая место, куда лучше ударить. И этот приговорный взгляд ожег его, смял его злость, всполошил жаркую, как в юности, жажду жизни. Отчаянно заметался, как в западне, мозг, все его клеточки запылали, на волю вырвались чувства, которые Ульрик всегда гнал прочь, считал не достойными рыцарского величия. Подумалось: зачем были нужны все города, земли, реки, леса, золото, доспехи, походы, наезды всему этому множеству людей, которые уже стали трупами, и зачем они были ему, если вот несется на него сверкающая в лучах солнца гибельная сталь? Он вскинул навстречу боевому топору ха-

на Багардина свой меч, но дрогнуло сердце, ослушалась рука, и он запоздал — блестящая стальная пластина приблизилась к глазам, пронзила ледяным своим прикосновением. Ульрик фон Юнгинген, выронив меч, запрокинулся, увидел чистое голубое небо; оно стремительно темнело, обугливалось, и непроглядный мрак погасил последние блестки живого света.

Орденские рыцари и наемники, которым посчастливилось вырваться из котлов, мчались в свои таборы, стоявшие у деревни Грюнвальд. Тут, загородившись повозками, несколько тысяч кнехтов и крестоносцев пытались оборониться, но вал за валом, как потоп, обрушивались на них конница, крестьянское ополчение, литва и сокрушали, выламывали, топили в крови; злое отчаяние немцев лишь усиливало напор, ускоряло удары мечей, кистеней, цепов. Сдержать этот натиск могло чудо, вмешательство небес, но небеса оставались глухими к молитвам рыцарей, и каток смерти катился по толпам крыжаков, вдавливал в землю, не различая храбрецов от трусов, знатного рыцаря от обычного кнехта. Крестоносцы и прусская пехота рассыпались и побежали. Напрасно рыцари сбрасывали латы, напрасно срывали с коней тяжелую броню, напрасно кнехты искали ямы и норы, лезли в топи, прятались под коряги — погоня настигала их, стрелы гвоздили кнехтов в кустах и норах, сбивали рыцарей на согретую солнцем землю; на одно уповали немцы — чтобы быстрее садилось солнце и ночная мгла укрыла их от глаз и оружия врагов.

Но долго длились сумерки, и, пока угасал вечерний свет, на дорогах, полях, лугах, в лесах продолжалось истребление остатков орденского войска. Утомившись, вояры уже били тевтонцев не подряд: не рубили тех, кто сдавался, и тех, за кого надеялись получить выкуп. Пленных рыцарей сотнями погнали к стоянкам.

К Витовту, который приехал глядеть потери, понесенные Чупурной в таборах, Бутрим подвел двух крестоносцев — бранденбургского комтура Маркварда фон Зальцбаха и самбийского войта Зомберга. Они были в латах, без шлемов, рыжие слипшиеся бороды торчали клочьями.

— Ну что,— сказал князь,— свел бог! Как, Зомберг, не забыл моих мальчиков? А ты, Маркворд, помнишь, как на Салине грязнил мою мать? Долго этот давний долг вы избегали брать, сейчас верну! — И без промед-

ления прохрипел в сторону Бутрима: — Казнить!

Рыцарей утянули в глубь леса, и через минуту оттуда услышались их приглушенные вскрики. Великий князь поскакал искать Ягайлу.

Возле Грюнвальда победители разносили огромный, в десяток тысяч телег, орденский обоз. Буквально за четверть часа он бесследно исчез; остались нетронутыми подводы с ядрами, факелами и цепями, которыми запасливые немцы полагали вязать пленных. Остались на возах стоведерные бочки с вином, и к ним сбивались измученные боем и жаждой толпы. Уже пили за победу, черпая вино шлемами, флягами, пригоршнями, перчатками.

Как раз при начале веселья прибыли Ягайла и Витовт. Воинство закричало: «Слава, король Владислав! Слава, князь Александр!» Король же приказал немедленно разбить бочки. Никто, однако, не решился выполнить этот кощунственный приказ. Наоборот, послышались возмущенное ворчание и злые крики: «Побойся бога, король!» Ягайла, улыбаясь, глядел на тысячи несогласных, удивленных, обиженных лиц. Понимал, что изнемогли за день боя, опеклись душой, что глоток вина успокоит, утешит, снимет тот накал с сердца, в каком они пробыли многие часы, сея и встречая смерть, но и понимал, что глотком не окончится, а начнется разгул, питье всласть, повальный сон. А вдруг новый бой? Приказал выпустить вино своей охране. Те без усердия стали рубить топорами обручи; дубовые бочки разваливались, и потоки красного вина, как прорвавшая запруду река, устремились от Грюнвальда вниз, на поле битвы, смешиваясь с кровью.

Из обоза король направился на холм, где в начале сражения стоял шатер великого магистра. Широкое поле выигранной битвы открылось его глазам. От Танненберга до Людвиково вся земля была устлана мертвыми. Тут было тихо, лишь издалека доносились топот и вой татарской погони. Только теперь король и Витовт, сойдя с коней, решили вознести молитву за дарованную победу над вековечным врагом.

Боевая суета утишалась, собирались хоругви, сходились вместе земляки считать, кто жив, кого нет, шли к местам боя искать родных, друзей, товарищей. Набежавшие тучи закрыли солнце прежде, чем оно опустилось за край земли. Глухой сумрак остановил поиски до утра. В придачу хлынул холодный сильный дождь, омы-

вая поля и воздух, пропитавшийся за день запахом крови. Голодные, измотанные вояры сошлись в таборы, валились на телеги, прямо на землю, засыпали мертвым сном, не чувствуя холода и дождя. Всю ночь возвращались ходившие в преследование полки.

На рассвете хоругви построились, сосчитались и прониклись горем: каждого третьего, а то и второго не стало в рядах. Андрей Ильинич из четверых своих братьев встретил старшего. Поспешили на поле разбирать живых и окоченевших, своих от крыжаков. Ходили среди тысяч трупов, кручинились — многие из раненых не дождались помощи, погибли под ночным дождем. Ехал по смертному полю и плакал, и кого ни встречал, все были в слезах. Скоро нашел братьев Глеба, Петра, Василя, все были посечены насмерть. Поехали с Федором к волковысцам. Тут вновь удар — увидал срезанного мечом Мишку, а в тридцати шагах — остановленного копьями Гнатку и еще многих знакомых, помнившихся со дня обручения и смотра волковыской хоругви. Здесь же встретил живым Юрку. Обнялись, пряча в себе радость: спасены, видно, для невест!

В этот рассветный час в королевском шатре собрались на совет Ягайла, Витовт, Миколай Тромба, Збышек Бжезинский, другие радные королевские паны. Уже стало известно, что в битве погибли великий магистр, и великий маршал, и великий комтур, и великий одежничий граф Альбрехт Эбергардт, и казначей Томаш фон Мергейм, и десятки комтуров, войтов, почти все орденские братья, и тысячи прусских рыцарей, гостей, наемников. Решали, что делать дальше: или идти тотчас же брать Мальборк, или, исполняя древний обычай, стоять у Грюнвальда три дня в знак того, что войско готово встретить здесь нового врага. Витовт настаивал немедля послать наименее уставшие хоругви к орденской столице и, пользуясь отсутствием в ней защитников, взять. Можно было направить и татар Джелаледдина, которые стоверстовый переход совершат скорее других, послезавтра утром будут у мальборкских стен. Но посылке татарской конницы Ягайла воспротивился — направлять на орденскую столицу язычников ему, королю, считал он, не подобало. Но и стоять здесь три дня Ягайла считал излишним. Кто явится? Некому — все перебиты, почти все полки ордена разгромлены целиком, а кого не добили, того взяли в плен. Некому и Мальборк защищать. И выслать некого. Все устали, нужен хотя бы день отды-

ха; надо убитых похоронить, надо молебен отслужить, надо как-то поступить с десятками тысяч пленных — не вести же их с собой сто верст, кормить, поить, сторожить. Никак не выходило выступить сегодня, и король решил двинуться на Мальборк завтра.

Через час вокруг Танненбергской церкви пленные кнехты начали копать могильные рвы. Сотни телег свозили сюда убитых. Ложились на вечный покой плечо к плечу тысячи воинов; укладывались землячествами друг возле друга; как в тесноте бились с немцами, так тесно и легли в землю, чтобы и тут быть рядом уже навсегда.

Днем над обозами стояла тишина: кто спал, кто сидел у котлов, кто кручинился, кто глядел в небо, удивляясь, что уцелел во вчерашней сече. Возницы чинили разбитые подводы, ратники увязывали в узлы добытые доспехи и оружие, водили к кузнецам расковавшихся лошадей, выправляли в обратный путь раненых. Кому не сиделось и не лежалось, ехал к королевской часовне слушать торжественную службу, глядеть развевающиеся вокруг шатра орденские знамена. Или ехал глядеть, как переписывают пленных рыцарей, разводя их по отрядам: отдельно братьев ордена, отдельно пруссаков, отдельно ливонцев, моравов, силезцев, баварцев, австрийцев, рейнцев, швабов, фризов, тюрингцев, саксонцев, вестфальцев, швейцарцев — всех отдельно. С каждого рыцаря брали честное рыцарское слово прибыть на день святого Мартина в Краковский замок; затем король великодушно отпустил всех на свободу, задержав лишь орденских братьев и нескольких князей.

Утром следующего дня войска короля и великого князя выступили в поход. Проходя Танненберг, хоругви посылали прощальный взгляд на свежие могильные холмы, где остались спать вечным сном друзья, братья, товарищи, отцы — поляки, литвины, татары, русь и откликнувшиеся помочь молдаване, чехи — десятки тысяч людей, сгоревших в огне битвы. И души ратников, покидавших это место, терзались тоской, оставались какой-то своей частью при братских могилах — помнить, сторожить, утешать.

## МАЛЬБОРК. ОСАДА

Лишь выступив на Мальборк, когда пошли по прусским землям, как по своим, стало осознаваться истинное значение победы — Тевтонского ордена больше нет, рассеялся, прекратил существование. Задуманные еще в Бресте

переговоры о выгодном мире вести было не с кем — великий магистр, весь орденский капитул погибли, из верхушки крестоносцев остались в живых двое, но и они, считай, сгинули: великий ключник Георг фон Вирсберг умчал на пражский двор к королю Вацлаву приходить в себя после пережитого страха; великий госпитальничий Вернер фон Теттинген бежал в Эльблонг, но эльблонгские мещане осадили замок, выбили отряд рыцарей, и куда делся Теттинген, оставалось гадать. Польские горожане Гданьска перерезали всех собравшихся в городе крыжаков и заявили о своей верности королю Владиславу. Малые и крупные крепости крестоносцев сдавались без боя, замковая охрана разбегалась по лесам, епископы и города просили милости для своих земель и жителей. Так повсюду.

Думая об этом, Ягайла гордился: черный прусский орел, десятки лет висевший над Польшей, издох. Он, Ягайла, обрел не только Добжин, Санток и Дрезденко, из-за которых началась эта война, и не только давно оторванные немцами Михаловскую, Кульмскую и поморские земли — вся Пруссия присоединится к польской короне, станет под его власть. Он выиграл битву, выиграл войну, взыщет все долги, расширит границы своего королевства. Лучами славы осветится его трон. По всем странам Европы, по всему белу свету разнесется весть о небывалой победе, а презренные крестоносцы будут преданы забвению. Сдастся и Мальборк, как сдались прочие замки. Еще восемнадцатого июля гонец доставил ему письмо из Мальборка от верного бискупа Яна Кропидлы; письмо порадовало: страх, ужас, полная утрата духа охватили охрану столицы, да и охраны той не более ста человек. Ну пусть еще столько же придет — судьбу ордена не изменят. Все, что положено богом, все свершится в намеченный срок. Не надо рваться, спешить, спелое яблоко само падает в руки. Мальборк взять необходимо, и возьмем, но есть множество других важных забот. Надо назначить наместников и поставить отряды стражи в сдавшиеся замки, вывезти из них припасы, изъять драгоценности.

Не промедляя, раздавал крепости и города в держание: замок Гогенштейн — Яну Кретковскому, замок Моронга — Анджею Брохотицкому, замок Джезгонь — Збышеку Бжезинскому, замок Энгельсберг — Добеславу Олесницкому, замок Острода — князю мазовецкому Янушу, замки Дзялдов и Щитно — князю Земовиту, и город Гданьск в держание, и город Торунь, и город Свеце, и Присморк, и еще, и еще — все, что уже имел в руках, и все, чем еще владели

крыжаки, делил между князьями, панами и лучшими рыцарями. Великому князю Витовту назначил три прусских замка — Кенигсберг, Бальга и Бранденбург. Они, правда, пока что не сдались, но сдадутся, сомнений нет, крыжаки сами отворят ворота и выйдут на коленях.

Надо было еще узнать, продумать, как отзовутся на полное крушение ордена папский двор, немецкие курфюрства, Сигизмунд, Вацлав и маркграф Йодок, претендующие на незанятый имперский трон. Вся Европа в эти дни следит за исходом великой битвы, и выгоднее принимать добровольные присяги на верность ему, королю Владиславу, от земель и городов, чем брать их силой. Он никому не даст повода говорить, будто захватил Пруссию; прусское население, заморенное насилием крыжаков, само с ликованием называет его своим королем. И спешка ни к чему.

Поэтому сто двадцать верст от Грюнвальда до Мальборка войска тянулись более недели. В редкий день проходили двадцать верст, а то — пятнадцать или вовсе десять. Ратники, которым не терпелось кончить войну, ворчали, что ползком доползли бы скорее. Король все укоры в медлительности пропускал мимо ушей. Кто корил и выражал недовольство, не понимал главного: сейчас не мечи работают — молва; по всем прусским комтурствам разносится слух о небывалом поражении, рыцарство трепещет, теряет тевтонский раж; это равносильно новому победному сражению, а может, и поважнее. Ведь головы рубить легче, чем волю. Грозно, неотвратимо, бесповоротно надвигаются войска на Мальборк, и охрана его должна проникнуться мыслью о тщетности сопротивления. Уже прибыли из Мальборка гонцы: спрятавшийся там свеценский комтур Генрих фон Плауэн просит принять послов для переговоров. Но какие переговоры? О чем говорить ему, королю, с жалким комтуром? И он ответил гонцам этого недобитка, что скоро сам явится к Мальборку и тогда примет много послов. Пусть знает, что ему, Ягайле, не нужны послы, нужен ключ от городских ворот, смирение рыцарской гордыни, кротость дел.

Двадцать пятого числа завиделись наконец мальборкские стены. Войска повеселели; легкие хоругви Витовта пришпорили коней и поскакали вперед; зарысила следом тяжелая конница, и обоз тоже пошел быстрее. Упряжки в шесть, восемь, десять лошадей тянули сотню своих и добытых под Грюнвальдом бомбард. За ними двигались тысячи подвод с каменными ядрами; немало имелось крупных, десятипудовых ядер, более трех, четырех таких камней по-

возки не выдерживали; двигались сотни подвод с порохом — и весь этот смертоносный груз близился к орденской столице.

На стенах торчало неожиданно много рыцарей, немало их оказалось и возле городских стен, и они с великим ожесточением отбили попытку взять город с ходу. Только назавтра, после яростного боя, хоругви ворвались в город, схватились в мечи с отрядом крыжаков, многих посекли, а остальных гнали до старого, незаделанного пролома в крепостной стене. Никаких других успехов, кроме полусотни погибших пруссаков, день не принес. Не дало ожидаемого удовлетворения и занятие города: он был сожжен немцами, победителям оставалось глядеть на пепелища, закопченные коробки каменных зданий и вдыхать чад догоравших костров. Но сама твердыня, мощный Мальборкский замок, к которому этот разрушенный город примыкал, была цела.

Войска стали обнимать крепость: поляки становились с восточной и южной стороны, поближе к Высокому замку; неподалеку от них разместились русины галицкой, львовской, холмской и трех подольских хоругвей; белорусские и литовские полки Витовта окружили стены Нижнего замка. С повозок снимались и устанавливались бомбарды, бочки с порохом, выкладывались в ряды ядра. Пушкари принялись набивать в жерла порох, закладывать камни, поджигать фитили, и скоро со всех четырех сторон логово крестоносцев подверглось первому обстрелу. Осада завязалась. Ядра из больших бомбард страшно ударили в стены, многие ядра, не долетев, зарылись в землю, многие, перелетев, упали на замковые дворы. Все кольцо королевских и великокняжеских войск затянулось клубами едкого порохового дыма; грохот стоял такой, словно начался судный день, но, когда стрельбу прекратили и дым медленно развеялся, оказалось, что ущерба стены не понесли — тут, там вмятины, сбитое навершье, и только. Всю ночь крыжаки копошились за стенами, стучали топорами, и с рассветом небольшой пролом в стене был накрепко заделан дубовыми бревнами. И в этот же час отворились Мостовые ворота, рыцарские слуги выкатили на мост через Ногату смоляные бочки, разбили их и подожгли.

Мелкие были дела, но почувствовалось по ним, что немцы о сдаче не помышляют и что движет ими уверенная рука свеценского комтура. Великий князь неутешительно вывел — крепость не взять. Саженной толщины стены разбить из бомбард невозможно, лезть на приступ — все люди потратятся, да и замков-то три: возьмут Нижний, а Средний

и Высокий уже некому будет отбирать. А голодом морить крыжаков, стоять долгую осаду — сами заморятся; дожди пойдут скоро — немцам под кровом сносно, своим — муки.

Явившись к Ягайле, Витовт не сдержался укорить: «Я говорил, надо было сразу по битве выслать татар! Теперь попробуй выкурить!» «Перемелем! — ответил Ягайла.— Время есть!» Признаваться в промашке не хотелось. Кто мог знать, кто мог думать, что бесы принесут сюда свеценского комтура? Именно его! Неприятно припомнились старые рассказы о Плауэне, будто он колдует, будто в подземельях своего свеценского замка ночи напролет проводил среди чертей, что-то варил для них или по их советам. Вот нечистики дружка своего и уберегли. Зря Януш Бжозоголовый незадолго до битвы напал на Свеце. Тогда радовались: комтур свеценский в замке заперся, носу не кажет, на битву не придет. Вот как аукнулась малая эта победа. Явился бы под Грюнвальд, лежал бы уже рядом с великим магистром и прочими, а так засел в Высоком замке за тремя рядами стен, непросто вышибить колдуна. Да что оспаривать, стоило послать татар, покричали бы немцы, что язычники святое место берут, ну и смирились бы; но коли б знать, где оступишься, соломки бы подстелил. Поздно сожалеть, не воротишь. Сейчас вылущивать надо дьявольского прислужника. Как дятлы, будут этот замок долбить, по крохам, по песчинке отщипывать, по кирпичику разбирать. «Расколем!» И по королевскому приказу бомбарды стали работать над замковыми стенами от зари до зари.

Генрих фон Плауэн не щадил ни себя, ни рыцарей. Чувствовал, что судьба ордена зависит от его ума, выдержки и воли. Спал мало; иной раз днем под грохот обстрела и стоны избиваемых ядрами стен валился на кровать, дремал четверть часа волчьим, чутким сном и вновь становился бодр и бежал смотреть, как держатся замки. Он пришел в Мальборк не для сна — для трудов. Еще шестнадцатого, наутро после проигранной битвы, когда он со своей хоругвью был в одном переходе от Танненберга и в лучах восходящего солнца им предстали на загнанных лошадях беглецы с кровавого поля, в тот же миг ему стало ясно, что его долг — мчать в столицу, опередить Ягайлу и Витовта, закрыться, не впустить врагов в крепость. Почти двое суток он бесслазно провел в седле, загнал шесть коней, не позволил себе ни минуты отдыха и восемнадцатого числа после обеда прибыл в Мальборк. И пока Ягайла и Витовт еще полную неделю не двигались, торжествовали победу, он, фон Плауэн, приготовился к осаде. Пришли полторы тысячи на-

емников, уцелевших в битве, пришло триста гданьских моряков, двоюродный брат привел хоругвь, пришли его, свеценские, рыцари, стеклись мелкие отряды рыцарей из других замков — собралось около трех тысяч воинов. А ведь ничего не было готово. Тщеславный, самоуверенный Ульрик! С детским легкомыслием оставил замок без припасов, кормов, хлеба, охраны! Всю неделю пришлось собирать по окрестным селам скот, зерно, сено, призывать к мужеству трусов, добиваться беспрекословного подчинения своей воле. Вдруг явился презренный Вернер фон Теттинген, нацелился на место магистра. «Предатель! — без обиняков крикнул ему.— Почему остался жить, когда погибли все? Почему отдал ничтожным лавочникам Эльблонг? Ты — не рыцарь, пятнишь бесчестьем белоснежный плащ ордена!» И тот притих. Даже трудно вообразить, что он был лучшим дипломатом ордена, смелым когда-то рыцарем. Как можно так напугаться литвинов и татар, чтобы потерять храбрость — главное достоинство крестоносца, тевтонца! Позор ему, позор всем, позор ордену!

Сейчас он, Генрих фон Плауэн, взял в свои руки спасение родины. И он спасет орден, возродит его мощь, вернет ему славу. Главное — любой ценой удержать столицу. Пусть осаждают — взять приступом лучший замок Европы нельзя. Пусть душат голодом — перетерпят. Придет помощь, они не одиноки: есть ливонцы, поднимутся немцы империи, выступят Сигизмунд, Вацлав, Йодок. Надо выстоять, проявить тевтонское упорство. Мудрость защиты сводится теперь к терпению, а он, Плауэн, терпелив. Он приучен к долготерпению тысячами ночей, проведенных у реторт и тиглей, изнурительным поиском магистерия, обращающего в золото свинец. Он не побоялся посягнуть на сокровенные тайны, которые охраняются вышними силами; что в сравнении с ними польский король и литовский князь? Случайные победители в случайно выигранной битве. Он не пустит их в замок никогда. Святые мощи, хранимые в мальборкских часовнях, помогут сломить осаду. Терпеть, держаться, выиграть время — вот долг.

Наблюдая из окон Высокого замка за суетой в польских и литовских таборах, за размеренной работой литвинов возле бомбард, за отрядами татар, вечером отлетающих грабить прусские поселения, утром приползающих с пухлыми переметными сумами, горестно думал о бедах, постигших орден: «Эх, Юнгинген, Юнгинген! Какая-нибудь мелкая ошибка, неточный приказ, неуместная жадность — и неотесанные поляки, дремучая литва, тьма сарацин вытаптывают

орденские земли, жгут и разносят орденское добро, сводят на нет вековые труды крестоносцев. Каждый день осады утяжеляет позор ордена, каждый день их пребывания здесь — это грабежи, захват новых замков, смирение малодушных, это оскорбительный для тевтонского духа гнет. Но,— рассуждал Плауэн,— выбросить Ягайлу и Витовта из орденских границ без чужой помощи невозможно, а когда придет эта помощь — неизвестно. И после своей победы под Грюнвальдом оба захватчика с пустыми руками не уйдут, потребуют земель. Пусть порадуются, попользуются, лишь бы ушли, дали время воспрянуть, позже все возвратим». И Генрих фон Плауэн выслал герольдов с предложением начать переговоры о перемирии до дня выборов великого магистра, а уж тот с полным правом будет обсуждать условия мира.

Наступила тишина, свеценский комтур с десятком рыцарей выехал из замковых ворот. В отдалении, у королевского шатра, стояла плотная толпа, и оттуда прискакал к наместнику маршалок Збышек Бжезинский.

Комтур сказал:

— Передай, рыцарь, своему королю следующее наше обращение: «В недавней битве войско ордена было разгромлено и побеждено. Сокрушенные невзгодой, мы пришли к тебе, почитая тебя миролюбивым победителем. И вот я, которому это ближе всего, ибо я действую за павшего в бою великого магистра, призываю тебя, король, отвратить от нас меч мщения и не стремиться уничтожить наш орден навсегда. Мы же и ныне и впредь открыто признаем, что получили от тебя, король, вечное благодеяние, если ты примешь для Литвы землю Жмудскую, а для себя земли Добжинскую, Кульмскую, Михаловскую и Поморскую, но оставишь ордену земли Пруссии, приобретенные от варваров за века кровопролитных войн!»

Королевское окружение в это время гадало вслух, о чем просит Генрих фон Плауэн: сохранить Мальборк? не трогать часовни? оставить крыжакам хоть бы одно мальборкское комтурство? откупиться золотом, которого, по рассказам, полно во всех башнях Верхнего замка? Некоторые бурчали: мол, что с ним толковать, выходи, слагай оружие и бухайся на колени — а уж мы поглядим, что взять, что оставить! Некоторые мечтали: эх, рубанул бы его Збышек от уха к уху! Или: эх, взял бы его Збышек за ворот да сюда — и конец осаде!

Вскоре маршалок прискакал и, стараясь быть точным, доложил условия свеценского комтура. Радные паны взре-

вели, поднялся галдеж, каждый драл глотку, не жалел ругани и проклятий. Король насупился, прикрикнул молчать, стал спрашивать мнения. Большинство настаивало требовать сдачи крепости. Говорили: все комтур врет — старается уберечь столицу; обычная крыжацкая уловка: притвориться несчастной овечкой, отвести удар и опять вгрызться в горло! Столько добыто, вся Пруссия у ног. Что ж ее, за здорово живешь, из милосердия обратно отдать? Из милосердия в церкви грошики дают, да и то не каждому — убогим; а эти разбойники за милостыню земли считают, словно не их рубили неделю назад, не их землей присыпали у Танненбергской церкви. Что осталось от них, от могущественного, непобедимого их ордена — пяток замков да тысчонка недорезков. И сколько они продержатся за своими стенами? Чем? Воздухом? Вот если бог посыплет им вместо дождя манну небесную — дело иное. А так — две недели, пусть три. Сожрут козлов, котов, а дальше друг друга начнут жрать, кирпичи свои начнут грызть! Крошку хлеба будут просить на коленях. Одна их наглость требует наказания! К стенке приперты, рогатина давит на кадык, но все равно — не троньте ничего, все наше! Такой дух у них настырный, бодливый! Комтуришка, в Свеце отсиделся, меча не видел, хорохорится. Пусть выйдет в поле, мигом спесь слетит. Ни за что не соглашаться! Если через неделю осады предлагают за мир столько, то через две в три раза больше назовут! Какая была битва, такой нужен и мир!

Король колебался: уйти от Мальборка, согласиться на скромный мир — означало спасти орден, взять Мальборк — конец ордену навсегда. Конечно, когда начинали войну, о большем, чем предлагал сейчас Плауэн, не мечталось, но и победы такой не предвидели. Обстоятельства изменились — иной должен быть мир. Довольствоваться тем, что дают, если можно получить все,— простится ли ему такая ошибка? Он спросил, что думает Витовт. Великий князь предлагал согласиться. В ответ послышалось ворчание панов, что князь свои Жмудь и Судавы получает, а больше ему и не положено, у него за польские дела и успехи голова не болит. Что же, польским шляхтичам надо, выходит, захваченные замки назад крыжакам возвращать? Надержались неделю, понаместничали пять дней — хватит, откатывайся, пусть недорезанные приходят, садятся силу нагуливать, чтобы через год вновь под Грюнвальд идти? И король думал так же: «С крыжаками мир непрочен, они не мирные, отлежатся, отожрутся — и опять за меч. Вечное благодарение обещает! Знаем мы это благодарение — звездышем в

лоб! Да что ж мы, себе враги? Едва подрезали стервятнику крылья, и нá — живи, нам своей крови не жалко, взлетай, черный орел!»

— Ответь свеценскому комтуру так,— сказал Ягайла маршалку.— То, что он нам отдает, мы уже имеет, и благодарить его нам причины нет. Но если он сдаст Мальборк и остальные замки, которые упорствуют смириться, то я не откажу ордену в подобающем возмещении.

Генрих фон Плауэн, узнав королевский ответ, удивился:

— Это окончательное решение?

— Бесповоротное! — ответил Бжезинский.

— Ну что ж,— нахмурился комтур,— я надеялся, что король примет справедливые условия. Он не желает — дело его. Передай королю, рыцарь, что я не покину замок. Полагаясь на помощь всемогущего бога и заступничество нашей покровительницы девы Марии, мы защитим Мальборк и не допустим уничтожения ордена.

Через считанные минуты все польские и литовские бомбарды обрушили на замки лавину камней. Били весь день, не жалея пороха, и назавтра с утра до ночи, и весь светлый день послезавтра, но лишь стены щербились, а ничего похожего на пролом не намечалось. Крыжаки же в один из дней, когда в городе несла охрану бомбард хоругвь Велюньской земли, отважились на вылазку — и успешно: многих велюньских рыцарей поранили, а несколько бомбард попортили. Спустя три дня потери понесла хоругвь Януша Мазовецкого. Большая бомбарда, словно заговоренная чертями, откатилась сильней, чем откатывалась прежде, ударила в каменную стену сгоревшей постройки, та обвалилась и раздавила прятавшихся за ней два десятка конных поляков. Крыжацкая стража на замковой стене от радости бесновалась. Неожиданным бедствием стали мухи, расплодившиеся на гниющих отбросах. Черными тучами висели они над таборами полков, изводя народ и коней.

Нудно, под изнуряющую маету обстрела тянулись дни. Бомбарды рыкали, малые ядра свистели, большие рокотали, надрывно ухали, мозжа лицевой кирпич, пороховая вонь отравляла воздух, запасы пороха таяли, груда каменных шаров от гармат перелетала к стенам, тут меньшилась, там росла, и близкого конца осады не чувствовалось вовсе. Старики, помнившие осады Вильно, Трок, Гродно и Новогрудка, делились знаниями, и выходило из прошлого опыта, что, если Плауэн имеет корма и воду, хоть год можно стоять под Мальборком. Пусть не год, пусть три месяца дожидаться, пока поедят последнее и схудеют до скелетов. Это ведь до октября, а вышли из домов в мае.

Гнать шляхту и бояр на общий приступ крепости король и великий князь не решались — все войско могло без пользы лечь под стенами. Но в одиночку то одна, то другая хоругвь на приступ ходили, надеясь на случайное счастье. Всем оно отказывало. Не повезло жмудинам, безуспешно пытались поляки, напрасно потратили людей новогрудский и лидский полки. Но всем жглось еще раз попытать удачи. Думалось: возьмем Нижний замок, тогда Высокий и Средний брать станет легче, тогда, может, и сломаются, сами выползут милости просить. Витебляне сговорились с полочанами и, как только выдалась ночь потемнее минувших, пошли на замок. Юрий и Егор Верещака, бытовавшие в полоцком таборе более, чем в своем волковыском, пошли вместе с Ильиничами. Во тьме неприметно и неслышно подобрались к стенам, приставили с десяток лестниц и тесно, один за другим, полезли вверх. Мыслили взять навес, по которому ходила пристенная стража, а тогда затрубить, зажечь факелы, и все хоругви поднимутся и повалят следом. Но жестоко обманула смельчаков сонная тишина замка. Только первые ратники приблизились к навершию стены, как таившиеся на навесе крыжаки оттолкнули баграми почти все лестницы и с хохотом слушали, как бьются оземь тела, трещат кости, стонут раненые. Андрей лез среди первых и остался цел, наверное, Софьиными молитвами: лишь пошла лестница верхним концом по дуге вниз, прыгнул в темень с четырехсаженной высоты; так ноги отбил, что два дня потом пролежал на телеге, а кто не успел спрыгнуть — покалечился на всю жизнь. Юрию повезло: он еще стоял внизу, как лестница словно чудом отвалилась от стены и пошла падать на заметавшихся людей отряда. Вокруг вскрикивали и стонали побитые. Юрий по наитию позвал: «Андрей!» И услышал мучительный отклик. Подхватив товарища, он поволок его в табор, а другие поднимали прочих — и бегом от стен. Потому что послышались наверху щелчки арбалетов и слепо ударили в землю стрелы.

Но не весь приступ крыжаки отбили сразу. Десятка три ратников взошли на стену и рубились на невесе, двигаясь к сходням на двор, в радости, что пришла удача, в заблуждении, что за ними катится волна товарищей, и сейчас затрубят рога, и поднимут на дело все хоругви. Но протрубили только немецкие трубы, зажглись факелы во дворе, и ратники поняли, что отсечены, остались одни, без подмоги, в безвыходной западне. Их оттеснили к внутренней стене, и частый, как гребенка, ряд копий, нацеленных в грудь, отгородил их от жизни. За копейниками стояли стрелки с

взведенными арбалетами. Среди этих попавших в ловушку полочан был и Егор Верещака. Их не стреляли и не кололи, чего-то ожидая. И они не двигались, тоже чего-то ожидая, хотя каждому было ясно, что пробить этот частокол копий, вырваться и уйти невозможно.

Наконец появился рослый начальственный рыцарь. Охрана чуть раздвинулась, дав ему выйти в освещенный полукруг и оглядеть неудачников. Он что-то сказал. Им перевели: «Бросьте оружие! Генрих фон Плауэн обещает сохранить вам жизнь. Вас обменяют на наших пленных. Не раздумывать. Ночь. Пора спать».

Хотелось жить. И так просто было жизнь получить — разжать пальцы, выронить меч и поднять руки. А потом будет день, отворятся ворота, тридцать крыжаков войдут, а их вытолкают со связанными руками к своим на общий смех и презрение. Для чего же лезли — в плен сдаться недобитым крыжакам? Жизнь спасешь — честь потеряешь.

— Эх! — воскликнул Егор Верещака.— Я бросать меч не умею. Кто смелый, за мной!

И, подняв мечи, они кинулись рубить копья и все были расстреляны арбалетчиками при красном, кровавом свете смоляных огней. Утром тела их сбросили со стены.

В таборах начали рассуждать, что осада ничего не дает, что немцы сидят в своем логове прочно. «Да и что,— говорили,— их тут стеречь? Побили в поле большую часть, выползут новые — опять побьем». И польская шляхта размечталась про свои дворы, стала сердиться, оговаривать короля: сам-де виновен, что сразу не пришли. Молвил бы: «Вперед, польские рыцари!» — и летели бы всю ночь, как орлы, опередили проклятого Плауэна. А то ехали — улитка обгоняла; рухлядь разную в замках искали, делили, от лавочников поклоны принимали, всех крыжаков на волю распустили. Теперь, под открытым небом, отмахивайся от заразных мух! Роптали, ворчали, но тихо, королю возражать никто не решался, боясь гнева.

Ягайла стал мрачен, задумчив, закрывался в шатре с великим князем и подканцлером Тромбой, сочиняли письма, и гонцы увозили их стремглав бог знает куда, а другие гонцы привозили от кого-то письма, и зачем нужна была вся эта суета с писульками, что творилось вдали от Мальборка, никто в войске не знал, а кто знал, тому велено было помалкивать.

Ничего хорошего в соседних странах не делалось; наоборот, все, что делалось, направлялось победителям во вред. На приятельственных крыжакам дворах опомнились

от потрясения и спохватились спасать орден. Сигизмунд, жаждавший сесть на место умершего Рупрехта, рассылал в немецкие княжества послания, повествующие о тяжкой године крестоносцев, затравленных язычниками, схизматиками и злобнейшими из христиан — поляками. Прислал письмо гданьскому мещанству, призывая хранить верность ордену, ибо недолго терпеть варварское иго, он сам скоро выступит на помощь угнетенному прусскому народу. Стало известно, что такое же письмо Сигизмунда через наемников дошло в замок Генриху фон Плауэну. Лучше бы воз муки передали в крепость швейцарцы, чем эту бумагу. Но Сигизмунд — полбеды, ему пообещать, что другому сплюнуть; еще месяц назад объявил войну, а где та война? «Скоро, скоро приду, ждите!» А когда скоро? Через десять дней? К рождеству? Обычное Сигизмундово пышнословие; придет, когда немцы подбросят денег и отдадут трон. Но все же письма сочиняет, их развозят, их читают, им верят и откликаются. Клин клином вышибают. И Миколай Тромба за два дня написал краткое изложение войны с обоснованием правоты победителей и неправоты ордена. Описал и Грюнвальдское сражение, доказывая, что татар на поле битвы почти не было, ну, несколько сотен, да и все они вовсе не приглашенные для избиения христиан сарацины, а давно осевшие в королевстве его жители. Сочинение это, озаглавленное «Хроника конфликта», самым срочным путем отправили новому папе Иоанну.

Пока ждали ответ, узналась новая беда. Бежавший в Прагу великий ключник фон Вирсберг сумел добиться от короля Вацлава ссуды в десять тысяч гульденов для набора наемников. Никогда раньше никому ни на каких условиях Вацлав не давал взаймы даже стертого гроша, и неожиданная щедрость означала одно — чешский король для спасения ордена решился на крайние меры. Скоро опасения подтвердились: Вацлав и маркграф моравский Йодок назначили выступить против поляков в конце сентября. На занятое же золото Вирсберг пообещал нанять четыре тысячи копейников. Гроза собиралась на границах Польши, надо было, не медля, разделываться с Мальборком; теперь уже отвергнутые условия свеценского комтура казались сносными, но он их не повторял, сидел за стенами, словно умер.

К концу августа посланец папы Иоанна привез в Мальборк письмо. Генриху фон Плауэну предлагалось принять выехавшего к нему папского нунция, слушаться его и стремиться к миру с Польшей. Комтур, прочитав послание святого отца, только усмехнулся: «Слушаться нунция! Чему он

научит, этот нунций? Забыть позор Танненберга? Забыть восемнадцать тысяч убитых рыцарей? Отдать земли, замки, города, торговые дороги, людей? Стоять на коленях, бить поклоны? Сами умеем получше любого нунция. Сами учим других, для этого и пришли сюда. Нунций! Приедет мирить! Мы предлагали мир, король отказался. А теперь поздно. Теперь мы будем смывать позор! Ни святая вода, ни чернила самого лучшего мирного договора не отмоют его. Только кровь! Через месяц придут Вацлав, Йодок, Сигизмунд, немецкое рыцарство, пришлет свои хоругви ливонский магистр. Они, не мы, запросят мира. Месяц ждать. Подождем, росу станем пить, если колодцы иссякнут, сапоги пустим в котел, но все вернем и отнимем. Пока мы живы, война не кончилась. Сквитаемся за каждого брата нашего ордена, за каждый снятый рыцарский султан. Искать мира! Пусть ищут! Нам мир не нужен, мы ищем победу! Только ее! Пусть тысяча нунциев приедет, всех запру в часовню молиться за наш успех!» И, решив так, комтур оставил письмо без внимания.

Ливонцы, о которых думал Генрих фон Плауэн, действительно объявились. Витовту доложили, что большой их отряд под командой маршала Берна фон Невельмана прибыл в Кенигсберг. Великий князь отправил маршалу письмо, спрашивая, почему Ливонский орден нарушает заключенное в мае перемирие. Почему ливонские хоругви пришли в прусские земли? Почему маршал набирает кенигсбергских рыцарей? Следует ли это воспринимать так, что маршал явился воевать с ним, Витовтом?

В ответном письме фон Невельман объяснил, что о перемирии ему не было известно, намерения воевать у него нет, а есть желание встретиться с великим князем и королем для устной беседы. Легко было понять, что маршал предлагает свое посредничество в переговорах с орденом. Ягайла и Витовт, посоветовавшись, решили: войско маршала к замку не допускать, а его самого пропустить; если же обнаружится хитрость, вырубить ливонцев. Великий князь взял шесть хоругвей и выступил навстречу ливонским крыжакам. Через несколько дней на берегу Пассарги литвины и ливонцы встретились. Невельман, проявляя угодливую любезность, принялся рассуждать о пользе заключения мира.

— Я не знаю, что потребует от Плауэна король,— перебил его Витовт,— мои же интересы таковы: вернуть нам Жмудскую землю и Судавы, а все дарственные и договорные грамоты об опеке жмудинов орденом — сжечь. Без этих уступок миру не бывать.

Невельман вежливо согласился, что желание великого князя исполнено справедливости. Думал, однако, что никогда Тевтонский орден не откажется от власти над Жмудью. Жмудь — это мост между Ливонией и Пруссией; лишь круглый дурак бросит в огонь литовские грамоты, передавшие жмудинов крестоносцам. Но спорить с Витовтом не хотел, опасаясь, что князь взбесится, крикнет: «Руби!» — и полторы тысячи рыцарей погибнут в неравном бою. Даже не сам бой страшил, боя не боялся. Другие были замыслы. Требовалось выиграть время, чтобы собрать рыцарские отряды в Кенигсберге, и требовалось войти в Мальборк, увидеться с фон Плауэном, обсудить порядок осенней войны. Случай благоприятствовал, и маршал попросил о двухнедельном перемирии, считая с восьмого числа сентября, на время своего проезда в осажденную столицу и переговоров со свеценским комтуром. Витовт ответил согласием.

И день, и второй, и третий, и уже неделю маршал сидел в крепости, и каждый день король и великий князь ожидали герольдов, но трубы не трубили, ворота не отворялись, герольды Генриха фон Плауэна не выезжали. Стало ясно, что Невельмана пропустили в замок зря — скорее отговаривал Плауэна, чем уговаривал мириться, утешал рассказами об усердии всех орденских благожелателей. А без взятия Мальборка нет победы. Мальборк же без многомесячной осады не взять, а долгую осаду сорвут имперские немцы, венгры нападением на голые границы. И люди не готовы к длительной осенней осаде. Но уйти без мирного договора — вновь война, вновь нет роздыха, вновь звать вояров в седло. А не уходить, стоять здесь — Вацлав и Йодок разорят Малопольшу.

— Да, брат Витовт, уцелел орден,— мрачно вывел Ягайла.— Видно, бог над ним сжалился.

— И бог сжалился,— ответил Витовт,— и сами виноваты.

— Потому и не удалось,— возразил король,— что бог пожалел. Как ни горько, но осаду придется снимать.

— Что ж,— согласился великий князь,— главное сделано: клыки повыбиты, жилы подрезаны,— пусть поживут.

Говорилось так, словно от неудачи обложения равный терпели урон. Но умалчиваемыми помыслами братья крепко разнились, и оба эту разницу понимали. Витовт, прикидывая свои выгоды, считал снятие осады желанным. Вслух, конечно, об этом нехорошо было говорить, но про себя убежденно думал: «Жмудь в любом случае уже наша. Вое-

вать Жмудь крыжаки не смогут, и повода не дадим. Немедля всю Жмудь приведем к кресту, поставим часовни, посадим бискупа, орден и не заикнется о своих правах; они — монахи, им земли просто так не положены, им язычники нужны — крестить мечом, а крестить будет некого — все станут христиане, каждому крестик повесим на грудь. Вот у поляков,— думал Витовт,— хлопот побольше. Им орден дорогу к морю закрывает, коренных польских земель оттяпал немало — надо вернуть». Но если орден исчезнет, если все его земли к Польше прибавятся, поляки такую обретут силу, что и с Подольем придется проститься, и с Подляшьем, и его, великого князя, сместят на мелкий удел, сказав: ненадобен, сами управимся, воеводы не хуже доглядят. Удержу на них не станет. А сохранится орден, пусть ослабший, малокровный, неполноценный,— придется оглядываться: что там крыжаки делают, что замышляют, на что зрят жадным глазом? И уходить от Мальборка ему, Витовту, проще. На литовских границах орден сейчас воевать не может, сразу полякам подставит спину. Полякам же придется держать каждый сдавшийся в июле замок. И слава неудачника его не коснулась, а Ягайлу задела: осаживал Мальборк, хвастал, всю Пруссию своей трудиной называл, а вышло — поторопился. Опять надо силиться, дожимать пруссов в поле, чтобы выдавить выгодный для себя мир. «Хоть мы,— думал Витовт,— и много потеряли в битве народу, но все свое, что хотелось, сделали, а король хоть под Грюнвальдом меньше потерял шляхты, зато здесь, без боя, важность победы уменьшил крепко. Тогда поленился спешить — сейчас придется трудиться».

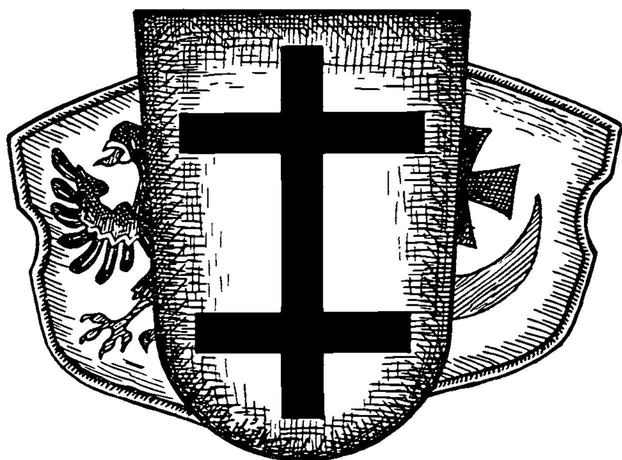
Все это за два месяца осады не однажды было обдумано, взвешено, выверено в беседах, и давно следовало прервать бесцельное пребывание под мальборкскими неприступными стенами, но своей волей сняться, бросить поляков, с которыми бились под Грюнвальдом,— нечестный, недружеский, нерыцарский был бы поступок, так только бесстыдный Сигизмунд смог бы поступить. Но теперь, когда Ягайла сам решил оборвать осаду, теперь и лишнего часа незачем тратить. На коней — и в княжество.

И Витовт объявил о выступлении. Все литвинское войско зашумело, задвигалось, весело засуетилось: кто вел подковать коня, кто ехал к полякам прощаться с новыми друзьями, кто увязывал добычу; бомбарды ставились на колеса, конюхи поскакали в луга за табунами, повозки нагружались мясом и зерном, подводы выстраивались в походный обоз — каждый спешил, торопился, был готов выезжать

тотчас, невзирая на сумерки, словно выигранный час сокращал долгожданную дорогу домой.

Наутро, когда выкатилось из-за дальних — своих — лесов солнце, осветило Мальборский замок, высокие его крыши, выщербленные его стены, стражу на башнях, заскрипели тысячные обозы, зарысили конные, бодро зашагала пехота. Радость овладела людьми — возвращались на родину, к женам, детям, отцам, к желанным обыденным заботам. Но, оглядываясь на удержанную немцами столицу, горько отводили глаза — не взяли, не разрушили логово, пройдет время, вернет силу, восстанет кусливый пруссак, и опять пойдут войны, походы, битвы, крушение жизней, опять наплодит смерть вдов и сирот, обездолит людей, как обездолила тысячи во всех городах, селах, деревнях, дворах, откуда сходился народ на эту войну. И невольное гаданье щемило душу: что готовит завтрашний день им, живым, уцелевшим в страшной Грюнвальдской сече? Шли домой, но шли без мира, не зная, сколько времени отпускает судьба на покой — годы, месяцы или считанные деньки.

Неделей позже ушли от Мальборка мазовецкие полки, и сразу после них снялось и двинулось к Дрвенце войско Ягайлы. Девятинедельная осада закончилась, главную прусскую крепость свеценский комтур отстоял. К первым числам октября крыжаки вернули почти все сдавшиеся летом замки, и война вспыхнула заново, затянулась еще на четыре месяца. Много раз обе стороны сходились рубиться, много случалось битв, немало сгинуло людей, прежде чем в Торуньском замке, где пировали Юнгинген и прусские комтуры, Польша, Великое княжество и Орден подписали мир. Не такие большие выгоды, как мечталось в день Грюнвальдской победы, принес победителям этот мир, но впервые для крестоносцев обязывал к возвращению земель, к выплате трехсот тысяч золотых дукатов, развенчивал славу тевтонцев как божьих избранников, назначенных для побед.



# Год 1413

## ГОРОДЛО НАД БУГОМ. 2 ОКТЯБРЯ

На третьем году супружества у Ильиничей родился сын. На крестины съехались оповещенные родня, друзья. Из Волковыска прибыла Еленка с Юрием; завернул, сделав крюк, Ян Бутрим, назначенный смоленским наместником и ехавший в Смоленск через Полоцк.

Был февраль, глубокие лежали снега, крепкие держались морозы; младенца завернули в шубы, свозили в церковь, окунули в купель, надели крест, нарекли в память деда Иваном и вернулись на двор.

За праздничным столом, как водится, закричали, что надо прибавить второго, что бог троицу любит, брат Федор напомнил о четырех углах избы, поп призвал боголюбезно стремиться к шестому чаду, ибо человека творец создал на шестой день, сосед Федькович бухнул: «Где шесть — там и девять!», а Бутрим заключил с хохотом: «Рожать так рожать! Дюжину выстарайтесь, Ильиничи!» Посмеялись, пошутили, одарили, и беседа пошла обычной застольной колеей — о поляках, крыжаках, ливонцах, о походах и битвах, о тех, кого недоставало за столом, кто уже с небес взирал на крестины и на этот пир. Вспомнили о Генрихе фон Плауэне, ставшем великим магистром, о Сигизмунде, который

стал императором, о Ягайле и о великом князе, словом, обо всех, кто высоко стоял, от чьей воли зависело, быть войне или миру, сидеть на дворах или рушиться в поле. Все видели, что Бутрим что-то веское держал про себя, просили его объявить во всеуслышание. Тот ошеломил: в награду за побитие крыжаков под Грюнвальдом и за татарский поход одиннадцатого года, когда сажали на ханство Джелаледдина, решено между Витовтом и королем дать боярам вольности. Уже староста жмудский Румбольд Волимунтович посылался Витовтом к Ягайле говорить по этому делу, и другое все уже подготовлено. В этом году совершится: получит боярство важные привилеи; так что Иванка, который сейчас надрывается, требуя мамкину грудь, уже по-другому заживет, не так, как они жили.

Бутрим близко стоял к великому князю, попусту, хотя во хмелю, не стал бы молоть языком. И гости Андрея, обмирая от надежд, спрашивали: а какие привилеи? что за права?

— Ну, ясно какие,— отвечал Бутрим,— не худшие, чем польская и чешская шляхта имеют. Вон как Великое княжество простерлось — от моря до моря лежит, втрое больше земель, чем в Польше, а против Вацлавова королевства, так в десять крат больше. В Чехии есть вотчинки такие, что с крыльца плюнешь — к соседу на крыльцо упадет, а шляхтичи хвост держат трубой, над нами посмеиваются: вы мол, что́ — князева челядь, а мы — паны, себе полные хозяева; у нас пана сразу можно отличить — у каждого герб есть, он его на щите носит, на ворота прибивает, а у вас, мол, что холоп, что господин — не различить, неизвестно, с кем дело имеешь. Теперь, слава богу, осталось мало ждать: воинской славой на весь свет прогремели, выше крыжаков стоим, скоро и господарскими правами превысим кичливых панов.

— Так и нам гербы назначат? — спрашивали Бутрима.

Тот кивал. Гости дивились:

— Гербы? Что в них толку-то, разве для забавы носить; насмотрелись у крыжаков: на щитах, и на панцирях, и на плахтах, только что на срамном месте не носят. Башенки, морды звериные, три рыбки, две рыбки, лук, какие-то волны, полоски, клетки, лычи воловьи — всякая ерунда. Можем и мы щиты разукрасить — дело несложное. А что к гербам? Что серьезного-то?

Хоть гости равно сидели за столом, и равно пили, и равно шумели, но по вотчинам, богатству, правам крепко разнились: Бутрим один мог выставить сто коней, а соседи

Андреевы, Епимах, Федькович, Карп, втроем двадцать не водили в Погоню. И какие бы новые вольности князь Витовт ни дал, ясно было, что Бутрим их получит, и набравший силу Ильинич получит, и брат его Федор также, но коснутся ли они худого, невидного народа? Епимах и Карп горели этим вопросом. В ином каком месте едва ли осмелились бы спрашивать, а здесь, за столом, чара уравнивала, хмель на одну высоту всех поднимал, казалось: пусть ты — сто, я — восемь, но великий князь не конями одаривает, права будет давать, а в правах все мы различаться не должны, все князю служим, все на войну ходим, когда зовут. И настаивали:

— Нет, ты скажи, какие именно вольности, какие облегчения?

Но и Бутрим не сильно знал, сам задумывался: ну, подати снимут, ну, вотчины навечно, ну, наследовать станут не только сын, но и дочь, ну, службы никакой князю, только Погоня, ни дорог чинить, ни лес рубить, ни замки строить — ничего, каждый шляхтич в своем владении точно князь в уделе. Хотелось верить и верилось. «Отчего же нет, чем поляки нас лучше? Разве королем у них не наш Ольгердович? Разве мы князю Витовту худшие слуги? По чести воздается...»

— Не пойму,— сказал Юрий.— С нас снимут, мы — только на войну ходить. А на кого переложат? Само собой не сделается, и сами гроши в казну не потекут. Мы — вольные, кто же вдвойне невольным станет?

— Это пусть Витовт думает,— отмахнулись от вопросов.— У него свои волости есть, города, купцы, всяк платит. Вот и деньги.

— Ох, не бывать такому! — возразил Юрий.— Обманемся!

И Карп вдруг почесал затылок и как ледяной водой окатил:

— А различать не станут, кто греческой веры, кто латинской?

— Не должно...— неуверенно ответил Бутрим.

Тут поп встрял глаголить:

— Вера древняя, истинная, попирается, к вере немецкой принуждаемы есьмы! Если церковь святая не знает кесарева почтения, то народу и подавно не знать!

— Как не знать! — озлясь, крикнул Ильинич. И все прочие зашикали, зашипели, замахали руками на попа, словно несчастье накаркивал, подобно круку; не будь на рясе креста, так и миской бы запустили — лоб расшибить.—

Как не знать! — вновь крикнул Андрей.— Ты, батюшка, что? Не могут полоцкие или киевские бояре считаться ниже виленских! Нет, князь не забывчив...

— Но когда Деволтву крестили, нас-то принизили,— вспомнил Карп.

— Так то Ягайла крестил! — возразили ему.— А сейчас великий князь награждает, ему все равны, все свои: что витебские, что трокские, что волынские!

И пошли доводить друг другу заслуги, высчитывать, кого воевали, крушили, кто силу княжества держит. Епимах кричит: «Наши!» Бутрим окрикивает: «Наши!» Федькович ярится: «Ваши? Ха-ха! Наших — Белая Русь и Русь Литовская, Подляшье, Волынь, Подолье, Киевщина, Северская Русь!» И поп басит: «Вера древняя не почитается, вера римская восславляется!» Андрей опомнился: не крестины — кутерьма рыночная, мечами готовы убеждать, не свадьба же, чтобы драться. О чем спорить, не Бутрим с Карпом решают — князь Витовт решает, он далеко глядит, своих в обиду перед крыжаками, поляками не даст, ниже их не поставит. Разлил вино:

— Ну, други-братья, за сына моего!

В соседнем покое возле дитяти собрались бабы. Софья кормила, бабы вспоминали своих первенцев, Еленка, смеясь, следила, как жадно давят грудь маленькие алые губки, завидовала сестре. Мечтала, как сама будет держать на руках такую ненасытную нежную крошку. Но пока бог не давал этой радости, у него на все свои сроки. Хотелось, чтобы первой родилась девочка, ей было бы имя Марфа — по бабке-мученице. А первого сыночка решили с Юрием, что назовут Гнаткой. Прошлым летом съездили в Гродно, и на берегу Немана, у того места, где сгинула мать и волковыский обоз, поставили высокий дубовый крест — пусть каждый, проплывая мимо, сотворит крест в утешение загубленных там душ. Когда ждала Юрия с войны и вместе с Софьей каждодневно ходили далеко на дорогу, на перевал, вглядываться: не идет ли домой их полк, когда толковали свои сны, слушали стук сердца — что говорит, о чем подсказывает,— думалось тогда, что быть ей попадьей. Такова судьба Юрию — Фотия заменить на алтаре церкви. Вернется Юрий, рукоположится и станет для волковысцев батюшкой, а она станет матушкой. И смущалась в мыслях: как же так — неловко. Потом, осенью, после праздника Тети, появился малый отряд росских мужиков — едва третья часть тех, что ушли с Мишкой и Гнаткой. По деревне заголосили — тяжело поднимать сирот, немилостив бог. И они

с Софьей завыли. Вдруг взглянула на Юрия и поняла: не будет попом, какая-то иная правда в душе. Он и сам сказал: «Какой поп из меня, Еленка? Я людей убивал. Что ж мне, на колени становиться, просить, чтобы грех пролитой крови владыка отпустил? Я себе за грех те смерти не считаю. Но детей крестить, но принимать души... Пусть кто другой, кто столько мертвых в один день не видал. Делом надо помогать, словом всяк сам себя утешит. Раньше этого не понимал, теперь понял...» Взял Фотиев сундучок с книгами и летописью, и стали жить в Роси. Только обвенчались, ушел с войском на Оку против татар. Зиму прожили дома — вновь поход, на новгородские земли повел Витовт свои полки. Повторяется жизнь, думала Еленка. Как мать когда-то ждала отца, так и она теперь Юрия ждет. Уехал, слушай сердце: убьют? не убьют? Месяцами как во сне ходишь. Вернулся — просыпаешься. Дитеночка бы дал бог, вот как Софье Ванютку дал.

Андрея с того вечера занозило ожиданием. В иные дни трезво думалось: «А чего ждать? С чего бы это Ягайла и Витовт о православных попекутся? Ягайла наших еще с Мамаева побоища невзлюбил». Два боярства в державе. Обоим равную власть дать? Побоятся. Не дадут. Лучше и не ждать ничего. Радоваться надо тому, что есть, сидеть ниже травы, быть тише воды. Вон, сотни их, что и пятой части не имеют того, что ему дано. Ведь данного не отнимают; три года назад был гол ровно сокол, а сейчас возвышен. И слава богу. Но в другие дни жгло, как раскаленным клеймом: «Почему в наместниках одни католики, почему возле Витовта православных ни одного, только головы класть призываемся, почему латинской веры бояре ступенью выше стоят?» И не терпелось знать, услышать, что уравнены, что и в раду и к наместничеству всем открыт путь, и ему тоже.

Наконец — уже начинался сентябрь — примчал текун от Немира с извещением, что велено великим князем съезжаться на конец месяца в Городло и быть там во всей красе одежд, коней, почтов. Сразу от сердца отлегло, рассеялись сомнения — все, пришел срок, зовут, огласят желанные привилеи; жаль, боярина Ивана нет, посечен крыжаками; порадовался бы старик исполнению своих пророчеств.

Не мешкая, Андрей собрался и, проведя в дороге без малого месяц, прибыл в Городло в густом потоке бояр и князей. Не столько много сходилось народа, как в леса над Наревом, когда шли войной на крыжаков, но и не во всякий поход столько выправлялось, сколько здесь сейчас громоз-

дилось: тысячами шатров окружались Городельский замок и слобода. С Ягайлой понаехало бессчетное число бискупов, панов, шляхты, и при каждом почт в десятки людей, и кони, и подводы; с Витовтом прибыла тысячная толпа; почти все князья собрались; ставились землячествами бояре. Всяк весело суетился; все объезжали друг друга с наведками, долго обедали, еще дольше вечеряли; все гадали, рядили, ловили слухи, повторяли их, приукрашивая или устрашая, и сами в них путались.

Говорили, что все вольности дадут князьям, а боярам и надеяться не на что — конечно же, никто не верил: зачем князьям вольности? какие? Они и так вольны — дальше некуда; наоборот, говорили, что всех удельных князей ущемлят, как в Польше, где вообще нет князей,— и опять же никто не давал веры: это как же Заславских, Чарторыйских, Мстиславских, Буремских ущемишь — все Гедиминова колена.

Говорили, что великий князь и король обяжут бояр покупать у польской шляхты их гербы — вовсе казалось смешно: зачем? Не хлеб, не железо — любой мазила рыбку, подкову, клеточки напишет. Но упорнее всех был слух, что римской веры бояре получают все, православные — ничего. Тут уж не смеялись, хоть и не верили; каждый знал — дыма без огня не бывает, но думалось — ложь, враги желаемое разносят; это крыжакам выгодно — Великое княжество расколоть на две силы, а князю Витовту, даже Ягайле, даже полякам никакой выгоды в разломе боярства нет. Так здравый смысл подсказывал, но, вопреки ему, познабливало православных от сомнений, ибо какое-то странное дело делалось в замке первого октября — собирали в замок наместников и сильных бояр, но все литвинов и жмудь. К вечеру стало известно — те сами щедро делились,— что великий князь заставил их заручить благодарственную грамоту полякам за гербы, а королю и Витовту — за приравнение в правах к польскому панству и завтра грамота эта, а также привилеи будут зачтены всенародно. Яснее ясного становилось, что верны были скверные слухи, ничего им не прибавят, а за лучшее садиться верхом и в темноте спешно отъезжать, чтобы не слышать завтра своего позора. Но тлела надежда: может, только в гербах православным откажут, не с руки им брать гербы у католиков, а вольности всем пожалуют в равной мере. Утешаясь хилой этой надеждой, бояре греческой веры прокоротали ночь у костров.

Поутру на замковый двор потек набиваться народ. Пе-

ред избой на застланном коврами помосте стояли четыре кресла — для Ягайлы и Витовта, для королевы и великой княгини; с королевской стороны выстраивались польские воеводы, каштеляны, хорунжие, бискупы — почти все знакомы были боярству по Грюнвальдской битве и осаде Мальборка, и все они были веселы. На князевом крыле становились избранники, те, что вчера приглашались в замок: виленский воевода Монивид, виленский каштелян Сунигайла, воевода трокский Явнис, полоцкий наместник Немир, ушпольский наместник Остик, Ян Бутрим, Петр Монтегирд, Ян Гаштольд, Кристин Радзивилл, Юрий Сангав, Андрей Девкнетович — всего с полусотню, и эти все были довольны.

А дугой примыкала к сановным крыльям плотная толпа — вроде бы единая, дружная, сплоченная плечом к плечу, а меж тем чувствами своими разрознены были люди, как груда камней. И стоявшие впереди князья, и литовская боярская мелочь, и державшиеся по землям русины — все ждали разного: одни готовились благо принять, другие мечтали избежать бесчестия. Словно топор повис над толпой и готов был упасть и разрубить без того непрочный мир поразному веривших в Христа бояр.

Скоро король и великий князь вышли из избы. Все отдали поклон, шум утих, угасли шорохи, и в полной тишине Ягайла сказал:

— Утром мы и все добрые христиане молились господу в благодарение за ангелов-хранителей, которые по неизбывной милости божьей при каждой душе неотлучно находятся от рождения до последнего дня, во всех делах, бедах, в битвах нас опекают, руку от черного дела, а совесть от греха стараются оберечь. А наших держав силу и честь вы — паны, шляхта, бояре — оберегаете, как ангелы вас. Когда надо, свои жизни кладете, как то под Грюнвальдом было. И там, и в других войнах Польша и Литва кровью породнились, а сегодня два наших народа соединяются братским союзом на вечные времена. А чтобы вы, как братья, во всем равнялись, польские паны и шляхта принимают литовских панов в гербовые семьи и дают свои гербы. А я и князь Александр даем такие вольности и права, какие польскую шляхту радуют и веселят. О чем для вечной памяти и славы записано и печатями моей и князя Александра скреплено!

Королевский нотарий развернул пергамин — и громко, неспешно, завораживающе зачеканил суровой латынью: «Ин номине домини амен ад перпетуам реи меориам деби-

торес сумус...» Хоть в боярских рядах никто и слова не понимал, но по чтении католики грянули громом благодарственных криков, шапки кидали вверх, мечи поднимали, обнимались; православные же стояли хмуро и немо, как столбы, ждали толкования. Витовт махнул рукой, толпа вновь затихла, и нотарий Цебулька, распустив свой список и для торжественности подвывая на ударных слогах, стал читать по-русски:

— «Мы, Владислав, милостью божьей король польский, земель Краковской, Сандомирской, Серадзской, Ленчецкой, Куявской, Литовской, найвеликий князь Поморский, Русский пан и дедич, и Александр, или Витовт, великий князь Литовский, земель Русских пан и дедич, объявляем настоящей грамотой всем, кому знать надлежит, нынешнему и будущим поколениям...

Желая уберечь литовские земли от наездов и происков крестоносцев, союзников их и всех прочих неприятелей, которые мечтают литовские земли и Королевство Польское опустошить, а державы наши уничтожить, и желая им вечных выгод, мы названные земли, которые своим государевым и полным правом имеем и по праву нашего рождения получили от предков и родителей наших, повторно в Королевство Польское втеляем, соединяем, прикладываем, сочетаем, добавляем и приговариваем их со всеми княжествами, поветами, имуществом короне Королевства Польского на вечные времена, чтобы всегда были соединены...»

Слушая распевы Цебульки, Витовт рассматривал внимающую толпу — напряженные лица сотен людей. Редко находил незнакомого, почти все были известны по службе, битвам, походам; мало стояло старых соратников, деливших невзгоды борьбы за трон; много стояло молодежи, добывшей честь в последней войне,— все честно служили ему мечами и сейчас получали заслуженное.

Солнце светило в глаза, князь щурился; желто-красный клен у замковой избы, хоть и было безветрие, ронял листья, и они медленно падали, терялись среди обнаженных голов, парчовых ферязей и кафтанов, украшенных нашивками золотых монет. Прочесывая взглядом ряды, князь выискивал тех, кто двенадцать лет назад подтверждал вместе с ним прошлую унию. Увидел Зеновия Бартоша, Чупурну, Кезгайлу, Бутовта, нашел братьев Милейковичей, Стригивила, Довкшу. Сегодня гордо глядели, весело, не то что в тот день, когда поляки постыдную унию навязали после Ворсклы. Тогда жал, давил его Ягайла, в кабалу желал записать. Великому княжеству по день его, Витовта, смерти тако-

вым определялось именоваться, а уже после похорон назавтра исчезало оно по той унии навсегда, становилось польской провинцией, воеводством навроде Сандомирского. И пришлось стерпеть, согласиться, улыбками горечь скрывать. Но широко улыбался, верил, что скосит позорные условия, добьется славы и себе, и литовским землям. Добился: Великое княжество державные обретает права, вровень с европейскими королевствами будет стоять, а он, великий князь Витовт,— вровень с королями.

Праздник сегодня, святой, счастливый день. Жалелось, что нельзя воскресить, пусть бы на час, и поставить перед помостом бывших врагов — только тени их воскрешала память,— сейчас горькие испытали бы минуты. И Швидригайлу следовало доставить в цепях из Кременецкого замка, чтобы узрел торжество возрождения, конец оскорбительной подчиненности. Черным по белому записано, объявляется всему свету: есть Польское королевство и есть Великое княжество Литовское — две навечно разные державы, заключившие выгодный военный союз. А все прочее — словоблудие. Втеляйте, соединяйте, прикладывайте, хоть гвоздями рубежи приколотите — как было врозь, так и останется. Литва не Львов, здесь воевода от Ягайлы не сядет, переселенцы сюда не придут. Он не пустит, бояре потесниться не захотят. А силой никто не возьмет, не четыреста первый год, когда некого было звать в Погоню — всех Ворскла сожрала. А такие путы, как гербы, гербовое братство, клятвы,— пустое, старое лыко сильней. Пусть поляки тешатся, что на Литве явились паны и шляхта по их примеру. Для того и даются вольности, чтобы другим не завидовали, радовались своему. Он не Вацлав, панам воли не даст, над собой стоять не позволит. Уж если в этой унии избежал ущемлений, то на ретивых бояр найдет угомон: кого слово не сдержит, того петля охладит. Ему бы еще только годков — пожить в полную власть, ото всех свободно, без оглядки на крыжацкую силу да на польскую хитрость. Теперь с поляками что вместе — то поровну: вместе в походы, вместе на вальные сеймы в Люблине или Парчове, вместе после Ягайлы нового короля избирать или после него, Витовта, называть великого князя.

Задумался: кто прежде умрет — он или Ягайла? Если Ягайла, то польским королем быть ему, Витовту. А если поляки откажутся выбрать, он унию Городельскую в камин бросит. А вдруг он первым сойдет? Кто бухнется на опустевший трон, кто венец наденет? С вниманием оглядывал князей и находил едино возможного наследника — брата

Жигимонта Кейстутовича: смел, упрям, неглуп, жесток и, главное, католик. А других римской веры князей в Литве нет. Швидригайла бешеный еще есть — сидит в кременецких подвалах, но ума надо лишиться, чтобы его великим князем прокричать. А все остальные князья — чуждой полякам веры, им дорога на престол загорожена. Жили бы Юрочка или Иванка — отдал бы княжество им, с легкой душой соступил бы в могилу. Увы, обделила судьба и его, и Ягайлу. Хоть и занесли в унию про своих потомков, но для важности занесли, из приличия, на всякий случай. Из слов дети не рождаются. За шестьдесят лет не успели обзавестись, откуда же им под старость взяться. Зло шутят боги: какой-нибудь заморыш себя едва кормит — ему десять сынов; а как сидишь выше всех, молишь, просишь: «Сына пошли, господь!» — отказывает. Протрудились всю жизнь, а сменит чужак, спасибо не скажет. Сигизмунд бы хоть не опередил сойти на тот свет, все-таки Кейстутович, брат, одним молоком кормились, из одной колыбельки пошли...

Вдруг заметил, что русины кто бледен, кто красен делаются, брови супят, усы закусывают, в глазах злость начинает клокотать. Глянул на Цебульку и понял. Тот читал:

— «А на саны избираться могут только те, кто веры общей и верен святому костелу римскому. А также уряды, такие, как воевода, каштелян и прочие, только людям общей веры даются. Часто разность вер приводит к разности мыслей, и могут быть выданы такие решения рады, которые должны быть тайной окружены...»

Да, не хотелось подчеркивать разность вер, ломать цельность боярства, но поляки упрямо возражали ставить православных вровень с католиками; иначе унию отказывались принять. Им, конечно, выгодно — его, Витовта, сила слабеет; католики и схизматики будут грызться, в разные стороны воз державы тянуть. Но он своих быстро помирит, знает как. Он то сделает, о чем папский двор сны видит: он унию церквей проведет, римскую веру с греческой сольет воедино. В Великом княжестве особая будет вера, не такая, как в соседних Польше и Москве. Своя. Новая вера и католиков и православных подружит, во всех правах уравняет, выбьет раскольный клин. Через два года соберется церковный собор в Констанце, он туда епископов и митрополита пошлет, там, на соборе, и облобызаются на вечное единство. Но кто из православных ждать не желает, он не заказывает — пусть в римскую веру идут. Незазорно! Он, Витовт, не боярам ровня, а трижды крестился: у немцев

крест принимал, в православной церкви перекрещивался и вновь в католики перекрещивался. Бог стерпит!

А толпа разламывалась на глазах: католики глядели с довольством, православные злобились, опускали головы, сжимали кулаки. Их еще раз уели, покрепче:

— «Названные вольности и привилеи только те паны и шляхта земель литовских получают, кому даны гербы шляхты польской и которые веры общей и верны костелу римскому, а схизматики и неверные пользоваться не могут».

Стон боли пролетел над толпой, и так дружно он вырвался, словно сговорились в один миг обиженно охнуть, хоть, конечно, не сговаривались. И Андрей Ильинич не удержался застонать в оторопи перед позорным, грязнящим сравнением: ставили их в один ряд с татарами, защитников христианской веры — с ее крушителями, древних бояр — с коноедами. Все было верно, все стало так, как слухи предвещали: и права объявлялись, и гербы дарились, и виленская и трокская половины назывались воеводствами, и уряды воевод и старост вводились, но все для тех, а их, православных, крестили изменниками, вредителями, чуть ли не врагами Великого княжества. Глумление!

Уставился прожигать взглядом Бутрима; прожег — тот повернул голову, увидел Андрея, укололся и неловко кивнул. Жгло крикнуть: «Не соромно ли, Бутрим? Помнишь, как нас в плен вели кнехты, как из плена вырубались, как немцев наперебой мертвили? Так почему ж тебе привилеи, мне — кукиш?» Тянуло вырваться на посыпанный желтым песком круг перед помостом, возопить: «Кто гиб в прусской войне? Кто крыжаков рубил? Вы одни? Католики? А смоляне, а полочане, а стародубцы, а пинчуки, а прочие? Что бы вы сделали, не будь наших полков? А татар кто укрощал? За что, князь Витовт?»

Все думали так, но не нашлось смельчака, никому не хватило духа отжалеть свою жизнь ради правды, вышагнуть из рядов и в голос, криком выплеснуть гнев: оцепенели, позеленели и с мертвым сердцем слушали исчисление бояр, принимавших польские гербы.

— «Герб Лелива,— читал нотарий,— Монивид, герб Задора — Явнис, герб Рава — Минигал, герб Ястжембец — Немир, герб Тромбки — Остик, герб Топоры — Бутрим, герб Порай — Билим, герб Сажа — Твербит, герб Сырокомля — Мингайла, герб Полкоза — Волчко...» — и еще и еще.

И слушали грамоту поляков, даривших гербы, и грамоту литвы, гербы принявшей, и смотрели, как бойко паны

вручали новым побратимам доски с рисунками гербов, а те принимали и с дарителями троекратно обнимались. Глядеть было тошно! Толпа разрушилась, смешалась, и православные понуро, как оплеванные, побрели с замкового двора вон — отдыхиваться, материться.

Андрей Ильинич впервые в жизни не смог махом сесть в седло — взобрался по-бабьи, повесил голову, решил — к лешему всех: князя, католиков, такую унию,— немедля домой. Потянулся людной улицей к своему шатру. Ехал — постанывал: стыдно было, в лужу навозную упал бы при людях, не так стыдился. Вдруг кто-то крепко стукнул по плечу и спросил с грубой насмешкой:

— Что, боярин, к Бугу едешь — топиться?

Оглянулся — князь Лукомльский ухмыляется во весь рот, а сзади щерятся братья Друцкие.

— Обидно, что польский герб не пожаловали? — ерничал князь.— Волчке полкозы отвалили, а Якубу Мингайле — сырой комель, а Бутриму — топор, своего-то нет. Не горюй, Ильинич. Мы не поляки, не жадные, можем целую козу дать.— И уже порадушней: — Едем с нами, будем дерьмо отмывать.

Поехали, по дороге еще присоединялся народ, один другого именитее: князь Юрий Заславский, и князь Роман Кобринский, и князь Федор Острожский, и его сын Данила Острожский, и князь Чарторыйский, и при каждом князе по десятку людей. Все были равно околпачены приглашением на чужой пир, в каждом клокотала злоба, боль, ярость обманутых надежд, и без жалости припекали друг друга упреками в недоумии. Метились в шатер к Лукомльскому, а стали гостями Острожских. Княжеская челядь приучена была к быстроте: рассесться не успели, а уже каждому кубок или рог подали в руки, забулькало вино, легли на скатерть копченые окорока и круги колбас. А готовить жаркое князь Федор не приказывал: не есть — пить собрались. Скоро обожеволились и один другому вдогонку пошли лаять поляков, Ягайлу, Витовта, бискупов, бояр, отхвативших уряды, всю хитрую латинскую шайку.

Князь Семен Друцкий кричал:

— Да коли б не Витебская хоругвь, никогда бы Ягайла старого Кейстута не смял! Наши с ним ходили Вильно ему возвращать. И вот, отблагодарил — при всем народе носом в задницу ткнул: схизматики, отщепенцы, веры нам нет!

А Федор Острожский кричал:

— Дожили, Рюриковичи! Татары так не принижали, как нас сегодня унизили. Под стремянными надо ходить. Чаш-

ников да стольников воеводами объявили — нам указы будут давать! — И с глумливым хохотом к Заславскому и Чарторыйскому: — Ну а вы, Гедиминовичи? Что ж вы братьям троюродным убоялись против сказать? А, князь Юрий? Ты ж великого князя Ямунта внук, на престол право имеешь. Ха-ха! Ниже последнего жмудина поставлены!

Андрей, хоть и задело хмелем ум, в княжескую беседу не мешался, не по Сеньке шапка Заславскому или Чарторыйскому поддакивать. Иные их терзали обиды и злость. Их начисто от власти отводили: сиди в уделе, как клоп в гнезде, и благодарствуй богу, что великий князь не раздавливает, чего от Витовта в любой день можно ожидать — немало князей поизвел за свой век. Теперь бояр пускает в рост. Только не наших, вот что мучительно. Сидел возле луцкого боярина Резановича, и друг другу открывали муки души — да, как надобность в поле спешить, рушиться на войну, так сразу: эй, киевляне, волынцы, вся русь, ставьте полки, давайте людей, и чем побольше, всех в битву — бей! руби! вперед! не щади живота! — а как вольности: кыш! не суйся, вам веры нет, вы — недоверки, чужой, ненадежный народ. «Так какого же черта врага растаптывали? Сильны были крыжаки — на нас Ягайла и Витовт оглядывались: подмога; а выбили, разнесли — не нужны стали вовсе. Так-то, брат».

Данила Острожский вдруг вскакивал, тянул из ножен меч: «Нет, братья, не могу! Посечем, раздавим их к чертовой матери! Бояр, челядь — на коней, и порубим!» Едва успокаивали: «Куда сечься-то, Данилка, брось пыхтеть! Сколько-то нас тут, мигом скосят, одних поляков с Ягайлой тысячи приперло. Не горюй!» И припомнили: «Вот кого на волюшке, свободушке нет — любезного Швидригайлы! Он бы такую унию быстро выправил, соскреб бы «кто веры общей» да «костела святого римского». И уставились вдруг на Андрея — князь Острожский указал пальцем: «Глядите, вот шиш сидит — великого князя пленил, нас обезглавил. Вот кого первым надо рубить, прихвостня Витовтова!»

У Андрея сердце обмерло — зарубят, что с них, пьяных, дурных, рвутся зло выместить. Нащупал локтем меч, решил: «Пусть кто замахнется, буду сечь — хоть и князья!» Но Чарторыйский невольно спас — объявил с жутким смехом: «Швидригайла сам казнит. Небось только о том и мечтает в Кременце, как тебя, Ильинич, на колесо положить!» Князья захохотали: «Уж да, перемелет кости; пока жив, пока шкуру не сняли, прыгай-ка лучше в омут!» Тут же об Андрее забыли, заспорив про Кременец: мол, стены высо-

кие, охрана — католики, староста — немец из крыжаков, не выйти Швидригайле, не спастись. А кто осмелится спасать — не возьмет замок. Кременец, конечно, не Мальборк, но без осады сломить нельзя. Пока Витовт жив, Швидригайле вольного неба не видать.

Пользуясь спором, Андрей грозное застолье оставил. Ехал по Городельской слободе к своему обозу; вокруг разливалось, шумело веселье: в замке давали пир король и великий князь; тут пели польские паны, там — приравненные к ним, боярская мелкота наливалась вином, кричала хвалу князю Витовту.

Андрей собрал людей и снялся в обратный путь.




## КУРГАН НАД ЛАБОЙ

В истории все взаимосвязано и одно событие обусловливает другие. Так, крушение Тевтонского ордена на холмах Грюнвальда способствовало размаху гуситского движения — двадцатилетней войны чешских реформаторов против католической церкви и немецкого засилья. Вождь этого движения Ян Гус ставил победу над крестоносцами в пример своим сторонникам, говоря, что победить может только тот, кто борется.

Но в 1415 году на церковном соборе в Констанце Ян Гус был осужден к сожжению за еретизм. Император Сигизмунд, вопреки собственноручно подписанной и выданной Гусу охранной грамоте, утвердил это решение. Гус был сожжен живым. Через год на этом же месте взошел на костер его сподвижник, один из образованнейших людей века Иероним Пражский. Мученическая смерть двух чешских вождей подняла к протесту весь чешский народ. Во многих городах и селах Чехии были разрушены костелы и монастыри, изгнаны священники, разделены церковные земли и имущество. Так утверждались требования Гуса об уравнении мирян с духовенством, отмене пышных обрядов, ведении богослужения на родном языке. Ибо, проповедова-

ли сторонники Гуса, все люди равны, и беспутный монах или алчный священник стоят дальше от бога, чем крестьянин или ремесленник. Из этого следовало прекращение податей в пользу церкви, лишение верхушки духовенства присвоенной ею власти. Практически католическая церковь объявлялась гуситами ненужной.

Король Чехии Вацлав, поначалу не препятствовавший гуситам, летом 1419 года под давлением имперских немцев, церкви, панов и бюргерства приказал вернуть монастырям их владения, а гуситским проповедникам уступить место в церковных приходах католическим священникам. Это решение вызвало непредвиденный им взрыв протеста. 30 июля 1419 года пражский проповедник Ян Желивский обратился к народу с проповедью «О неправдивом правителе» и призвал к свержению Вацлава. По улицам Праги тронулась многотысячная толпа гуситов. Ян Желивский нес в руках дароносицу — символ религиозной свободы гуситов. Когда он проходил мимо ратуши, открылось окно и кто-то бросил камень. И этот камень ударил в дароносицу. Сидевшие в ратуше коншелы были тотчас выброшены в окна и подняты на копья. Начался новый разгром католических храмов и монастырей.

Известие о пражском восстании привело Вацлава в исступление; спустя две недели он умер от разрыва сердца. Чехия осталась без короля. Претендентом на корону выступил император Сигизмунд. Но после казни Гуса и Иеронима миром войти в Чехию, а тем паче в Прагу, он не мог. Сигизмунд стал собирать войска для уничтожения гуситов.

В январе 1420 года в Силезии проходил имперский сейм, на котором в присутствии всех немецких князей была оглашена булла римского папы Мартина V, призывавшая католиков к крестовому походу на чешских еретиков. Сигизмунд рассчитывал, что Ягайла и Витовт, как католические монархи, присоединят к нему свои войска.

Но на этом же сейме император объявил свое решение о земельных и пограничных спорах Тевтонского ордена с Польшей и Великим княжеством. Ягайла ожидал возвращения Поморья и других занятых немцами польских земель, получал же он только двадцать пять тысяч дукатов откупа. Поморье Сигизмунд оставлял за орденом. Жмудь передавалась во владение Витовта лишь на время его жизни, а затем навсегда возвращалась ордену; Витовту запрещалось строить на жмудских землях замки и укрепления.

Посольства короля и великого князя ответили на такое

решение Сигизмунда резко, надежды заполучить в крестовый поход поляков и полки Витовта развеялись сразу же. Наоборот, возникла угроза новой войны с орденом.

Летом к границам Чехии стянулись немецкие отряды, и Сигизмунд повел крестоносцев брать столицу и трон. 14 июня в сражении на Витковой горе близ Праги рыцари были разбиты войском Яна Жижки.

И все же Сигизмунд, не откладывая дела до будущих сражений, короновался в замке Карлштейн. В Чехии появился непризнанный народом король. Тогда вожди гуситов решили заручиться помощью сильных соседей и предложили чешскую корону Ягайле. Польский король, боясь входить в конфликт с римской курией и не испытывая добрых чувств к самим гуситам, отказался. Чешское посольство направилось к Витовту, тот согласился принять корону и юридически стал чешским королем.

Гуситы ожидали от приглашенного ими короля реальной военной помощи, но для Витовта послать в Чехию полки с окатоличенных литовских земель означало бросить вызов римской церкви. Надо было находить другой выход. Витовт направил к чехам своим наместником Жигимонта Дмитриевича Корибута, князя православной веры, который водил в Грюнвальдскую битву новгород-северский полк. Православная церковь и церковь гуситов были во многом схожи: обе противостояли католичеству, не признавали торговли индульгенциями; низовое православное духовенство, как и гуситское, жило в скудости. Между чехами и славянским населением Великого княжества не существовало языковой преграды, этническое и языковое родство способствовало быстрому взаимному пониманию и сочувствию. Все это и учел князь Витовт. Он объявил на Руси Литовской — Витебщине, Смоленщине, Волыни, Подолье, Полоччине и Брянщине — набор ратников в войско Жигимонта Корибута. Идти или не идти в поход решалось по личной охоте.

Весть о призыве в отряд, отправляющийся в Чехию, пришла в Волковыск на крещенье. Юрий и Еленка как раз поминали в этот день мать, убиенную крыжаками ровно двенадцать лет назад.

Сразу объявилось немало охотников. Юрий, услыхав от тиуна о сборе дружины для Корибута, тоже решил ехать. Решил и задумался: страшно было оставлять в одиночестве Еленку. Одно дело, когда Погоня, когда все идут, другое — сказать несчастной Еленке: «Можно не идти, но иду». Она спросит со слезами в глазах: «А я как? Ведь у меня нет никого, кроме тебя!»

Прошли годы, у Софьи с Андреем после Ванютки родилось еще два сына. А они с Еленкой жили бездетно. Часто Юрий видел в глазах жены тоску отчаяния, пугающую его усталость — душа ее мучилась, заполнением жизни были не дети, а бесконечные мысли о них, неисполненное желание, с каждым годом уменьшавшаяся надежда, разрушаемая временем мечта. Она говорила ему: «Мне горько, Юрий! Я сама обманута жизнью и тебя обманула. Зачем мать заплатила жизнью, чтобы я здоровой сидела на лавке? Зачем мне жизнь, если я не могу дать новой?» Часто он заставал ее в такой глубокой сосредоточенности, что она не чувствовала, как он рядом садится. Потом она словно пробуждалась, на его вопросы отвечала: «Не знаю, где я сейчас была. Что-то искала. Что-то утерянное». И вот теперь сама спросит: «Зачем уезжаешь?» Что ответить?

Ночью он не спал, обдумывал, как объяснить, что тянет его к Корибуту. Да разве к Корибуту, думал он. И не ради Витовта. И какой из Витовта король для чехов. Слава Витовта прельстила: Ягайла — польский король, он — чешский, сравнялись. Нет, не ради великого князя пойдет. Увидеть хочется то, о чем люди рассказывают. Нет в Чехии короля, нет великого князя, а страна стоит. Народ сам управляется; бедные земаны, простые воины, навроде покойного Гнатки, войско водят в бой, и ничего крестоносцы сделать не могут. Весь народ восстал, не кесаря слушают, своих полковников и попов слушают. Все равную нужду терпят, зато в правде живут, по Христовым заветам. Говорят, есть и такие, кто учит, что нет бога, нет ангелов, апостолов и святых на небе, а все в душе человеческой: кто добр — в том бог, кто зол — в том дьявол. Там Гус и Иероним на костер взошли, и они не менее Христа святы. Есть там города, где люди живут, отдав все свое в общую казну, изгнав из души жадность и зависть. Вот что хотелось увидать — осуществленный в людях дух евангельский. Ясно, что дьявол против, он в немцев вселился: людей живьем жгут или в колодцы, где руду добывали, пленных гуситов бросают, слушая, как летит из глубины предсмертный крик и стук разбитого тела. Тут и без княжеского призыва надо идти — совесть зовет, она всех сильнее. А уехать — Еленка останется одна, кто ее пожалеет в ее несчастьях?

Тьма ночная в избе, тишина крещенской ночи. И видятся вослед думам невиданные города, неизвестные лица с благостью в глазах, толпы радостных горожан, черные дыры рудных колодцев, босые проповедники перед рядами ратников, мечи крыжаков, копья гуситов — свободных лю-

дей, отвергших терпение, как ложь, созданную дьяволом.

— Не мучайся,— сказала вдруг Еленка.— Уезжай...

— А как ты?

— Буду ждать. Мы с тобой и врозь неразлучны.

Через неделю дружина волковысцев в три десятка конных выбралась на Брест, куда сходились все охотники — пинчуки, смоляне, мстиславцы, оршане. Пришли отряды из Витебска и Полоцка, но Андрея среди полочан не было. Из Бреста пошли через Люблин в Краков, где было назначено сборное место всего войска Жигимонта Дмитриевича. Сошлось более четырех тысяч литвинов, и еще присоединились к ним под тысячу поляков. В начале апреля выступили в дальний путь — по Силезии, по Моравии и Чехии в город Часлав, где Жигимонт присягнул на верность гуситам, а весь отряд на виду чехов причастился вином и хлебом в знак братских чувств и единоверия. 16 мая вошли в Прагу.

Хотя Корибут объявил себя правителем Чехии от имени короля Витовта, а пражская управа признала его, скоро прояснилось, что власть наместника за пределами Праги не действует, да и в самой столице народ крепко расколот. Богатые бюргеры хотят свое отстоять, подмастерья желают своей власти, и при удобном случае друг другу головы сносят. В марте коншелы из богатых убили в ратуше Яна Желивского и еще двенадцать близких его друзей. Рубили им головы на плахе во дворе. Кровавый ручей, потекший из-под ворот по камням улицы, остановил прохожих. Ударили в набат. Ремесленники взяли ратушу с боем, увидали порубленных, и началось отмщение. Назавтра избрали своих коншелов, верных слову Желивского. А он был против призвания Витовта на чешский трон, ибо, учил он, все правители от Сатаны. Если император Сигизмунд — апокалиптическое чудовище, дракон с семью дьявольскими коронами, то все прочие короли, князья, епископы — клопы на теле народа, пьющие его кровь, принуждающие к труду на себя. И Витовт будет угнетать. А жизнь держится на крестьянах, они движут народ, сам народ и должен собой управлять.

Жигимонт Дмитриевич, долго не размышляя, провел переизбрание коншелов; пришли в городскую управу угодные — из богатых чашников. Но Прага — еще не вся Чехия, в Праге чашники держат верх, в Чехии — табориты. Однако и они минувшей зимой раскололись на Табор Большой и Табор Малый. Во главе Большого — Ян Гвезда, во главе Малого — Ян Жижка. Гвезда хочет чашников силой побороть, Жижка хочет всех вместе объединить. Корибут

сидел в Градчанах как на угольях: если табориты не захотят его признать — кем править? Но в июне подошли к городу войска Жижки. Жигимонт Дмитриевич вместе с пятитысячным отрядом выехал им навстречу.

Жижка встретил их верхом впереди своих полевых общин. Старый гетман таборитов был слеп. Левый глаз, как знали все в отряде Корибута, ему выбило стрелой в Грюнвальдской битве, правый — стрелою же год назад, при осаде замка Раби; тут уж не немец стрелял — чех. Пустые глазницы Жижки были прикрыты пришитыми к шапке навечьями. Корибут приблизился и, поклонившись, приветствовал седого осанистого старика, назвав его отцом. Жижка стронул коня и, как зрячий, остановился обок Жигимонта. За его спиною остановилась легкая чешская конница, а дальше —ряды грозной крестьянской пехоты.

Юрий видел, как рука Жижки поднялась и пальцы легко ощупали лицо князя. Когда гетман объявил о согласии видеть Корибута правителем и в чешских общинах чуть приметно ослабились ряды, Юрий искренне, до ликования, возрадовался: признаны! Вот стоят они, пять тысяч пришедших сюда своей волей людей, и с этого часа словом слепого полководца превращаются из охраны наместника, из чужаков в братьев, равных с народом в отыскании правды.

Но в совместный поход старый гетман Жигимонта Дмитриевича не позвал и, не заходя в Прагу, увел свое войско на юг. Литвинский отряд вместе с пражанами пошел осаждать замок Карлштейн, верный императору Сигизмунду. Здесь пробыли все лето, а осенью двинулись на пограничный город Тахов, который захватили немцы, начав третий крестовый поход. С юга спешно шло к Тахову войско Жижки. Крестоносцы убоялись большой битвы и откатились за рубеж.

Месяц спустя, когда полки вернулись в Прагу, Корибуту вручили письмо от Ягайлы и Витовта, отзывающее его и литовско-польский отряд из Чехии. Не понимая причин, наместник подчинился. В Кракове все объяснилось. Император Сигизмунд, стремясь лишить чехов любой поддержки, пересмотрел свое прошлогоднее решение и принудил Тевтонский орден к уступкам: Витовт получал Жмудь — и за это отказывался от чешской короны, Ягайле возвращалась Добжинская земля, и он из противника Сигизмунда становился его союзником.

Чехию предали. Витовт все верно и плутовски рассчитал, выслав к чехам православные полки. Больше судьба гуситов его не занимала. Ягайла же после сговора с немцами

призвал поляков к походу на чешских еретиков, обещал выставить в помощь крестоносцам тридцать тысяч конных. Но становиться рядом с крестоносцами против гуситов польская шляхта посчитала зазорным для своей чести, и войско не собралось.

Корибут, семь месяцев пробывший на гребне власти, вновь оказался в положении бедного и ненужного родственника Ягайлы. Он попросил отдать ему в держание Добжинскую землю, Ягайла отказал; князь затаил обиду. Гедиминович по крови, он считал себя равным в правах с Ягайлой и Витовтом на корону, у него же не было ничего, даже крохотного удела. Жигимонт Дмитриевич задумался о своей судьбе и решил побороться за чешскую корону сам. [illegible] чего не объявляя Ягайле, он вышел из Кракова и с от- [illegible] тысячи белорусов и поляков направился в Прагу. Немедленно папа римский объявил Корибута еретиком, а Ягайла велел ксендзам объявить в костелах князя Жигимонта врагом церкви. К ушедшим с ним полякам и белорусам повезли указ Ягайлы, требующий покинуть князя. Ослушники же будут объявлены вне закона, все имущество их отнимется. Немногие отъехали, большинство осталось. И Юрий остался. Двор сохранишь, решил он, совесть потеряешь. Еленка без угла не останется, к Софье уйдет. Здесь тьма рушится, тысячи людей полегли за истину, стыдно такой угрозы бояться и в угоду немцам домой бежать. Наоборот, сюда бегут: князь Федор Острожский привел волынцев, с Галицкой Руси крестьяне сотнями идут. Что дома-то еще будет, когда они назад вернутся?

В 1426 году на имперском сейме в Вене немецкие князья объявили о четвертом крестовом походе против чехов. Двадцатипятитысячное войско крестоносцев пошло к городу Усте на Лабе, который осаждали табориты Прокопа Большого. Прокоп решил принять бой. Чехи и отряды Корибута и Острожского расположились на возвышенности вблизи Усти. Двойное кольцо возов окружило лагерь. Юрий стоял в рядах тяжелой конницы. Вдали, хорошо видные с холма, двигались на табор плотные полки крестоносцев. Два ручья, обтекавшие холмы, которые Прокоп выбрал для вагенбурга, мешали немцам наступать в обход. Суживаясь в боевой клин, они живым многоцветным ковром медленно застилали зеленое пространство между ручьями.

Суровая тишина объяла общины в таборе. Укрытые возами, стояли наготове пешие десятки с баграми и полупудовыми молотилами. Под возы ложились стрелки. Нацеливали в немцев свои тарасницы пушкари. Блестели в лучах

палящего полуденного солнца длинные острия крестьянских пик, сверкали отточенными гранями алебарды. Юрию вспомнилось утро Грюнвальдской сечи, когда он стоял за Гнаткой, близко трепетал под ветром стяг, а на них тяжелой рысью шли под белыми плащами тевтонские крестоносцы. И что осталось от них к вечеру? Но какою ценой? И что будет сегодня, если здесь на одного чеха, русского, поляка идут двое немцев? Вон их сколько, ряд возникает за рядом, словно выходят из земли, из преисподней. Вот они, уже близко, еще несколько шагов — и смерть начнет примирять недругов навеки...

Ухнули тарасницы, клубы дыма поднялись над повозками, полетели стрелы арбалетчиков; немцы, пореженные в первых рядах, подошли к возам вплотную. Лязгнули мечи, впились в доспехи закаленные крючья, стягива
под удары цепов и звездышей...

Напор крестоносцев на чешский вагенбург длился уже час. Конница гуситов, наблюдая его, пока не двинулась с места. Наконец немцы взяли несколько возов и лавиной двинулись к внутреннему обозу. Но Прокоп выслал пражскую пехоту, и она лесом копий отгородила место удачи немцев. Выждав еще час и выслав пешие полки для бокового боя, Прокоп дал знак идти в дело конным. Возы расцепили, растащили в стороны и в эту брешь вышли и зарысили вниз, тесня утомленных крестоносцев, тяжелые конные полки. Немцы смешались, начали отступать — и побежали. В победном преследовании и разгроме, среди тысяч скачущих, бегущих, падающих людей Юрий не заметил таившегося в кустах арбалетчика, и тот выстрелил в спину проскакавшему мимо всаднику — стрела, пробив спинную броню, ударила острием о грудную и осталась в теле. Юрий услышал этот гулкий стук и удар под лопатку, видел, как вываливается из руки меч, уходят вперед товарищи, кружится небо, как налетает на него, закрывая свет, черная, изрытая копытами земля...

К сумеркам войско крестоносцев исчезло; те, кто уцелел, безоглядно неслись к границе, большинство лежали мертвыми.

Утром в поле над Лабой гуситы вырыли яму, сложили своих павших братьев и насыпали над могилой курган. Сняв шапки, помолчали в память товарищей, и войско Прокопа тронулось дальше по дорогам войны.

Еленка после отнятия двора жила у Ильиничей. Как-то

зимой заехал к ним сын старого Бутрима, бывший в Кракове и видевший людей из отряда Корибута. Они и сказали ему про смерть Юрия. Назавтра Еленка уехала в Полоцк, пришла в монастырь, и старуха игуменья, поглядев ей в глаза, отвела в келью. Прошлая жизнь стала как бы чужой. Еленка редко молилась о родных и об Юрии. Что было просить для них у бога? Они сами заслужили себе вечную милость. Но было много живых обездоленных людей, которым выпали еще большие беды, чем ей, и она старалась посильно помочь им, сказать слова утешения, чтобы хоть на миг просветлела их душа в этом тяжком, безжалостном к человеку бытии.

## РЕКА СВЯТАЯ

В пасхальную ночь 1418 года князь Данила Острожский с отрядом в пятьсот всадников наехал на Кременец, побил замковую охрану, и князь Швидригайла — враг Витовта, противник унии Литвы с Польшей — вышел на волю. В Кракове и Вильно ждали немедленного мятежа руси и всех связанных с этим последствий — войны православных с католиками, удара крыжаков на Польшу, возможного вмешательства московского князя; кто знает, как могла бы пойти история Великого княжества Литовского, если бы Швидригайла решился бросить клич восстания. Однако восемь лет заключения немногому научили узника. Князь умчал в Луцк, из Луцка — к австрийским немцам, от них — на двор императора Сигизмунда и оттуда проторенной дорогой — в Мальборк, за прусской помощью. Но времена после Грюнвальда изменились, и, помимо обещаний, Швидригайла ничего не получил. Уразумев ошибку, князь смирился с судьбой, принес Витовту присягу на верность и сел в прежних своих Брянском и Новгород-Северском уездах, где и прожил без бунта и измен до октября 1430 года, когда засияла над ним счастливая звезда. Но об этом чуть позже.

В том же году, как стал волен Швидригайла, умерла княгиня Анна. Витовт коротко погоревал и женился на Юлиане Гольшанской. Вскоре в очередной раз овдовел и Ягайла. Великий князь, желая иметь влияние на короля, представил ему сестру жены Софью, которая считалась первой красавицей на Литве. Ягайла глянул, влюбился, женился и на семьдесят третьем году жизни стал отцом желанного всю жизнь сына, а когда ему пошел семьдесят седьмой год, у первенца появился брат. Хоть в костелах и возносили хвалу богу, наградившему старого короля сыновь-

ями за благочестие, возникли толки, отрицающие присутствие в королевичах Ягайловой крови.

Более всех усердствовал в распространении этой позорной для короля молвы Витовт. По его приказу были даже пытаны несколько молодых бояр, когда-то замеченных в переглядывании с Софьей. То ли люди эти не были грешны, то ли, если и были грешны, проявили твердость духа, но убийственное для наследников короля признание Витовтов кат выбить из бояр не сумел.

Тем хуже чувствовал себя великий князь: род Ягайлы продолжался, его род на нем загасал, и уж тут ни власть, ни сила, ни золото, ну, ничто, ничто дать ему сына и уравнять таким счастьем с двоюродным братом не могло. Ягайла основывал династию, он, Витовт, отдавал ей все, чего домогся трудами жизни. Так было записано в Городельской унии, составляя которую никто не думал, что в старческом теле вдруг вскипит детородная сила. Воистину слово стало делом, и делом обидным — князь страдал. Впервые он со страхом ощутил, что наказан. Были сыновья. Их немцы отравили, это правда. Но кто их в заложники отдал? Сам. Их и следовало первыми спасать, а жену, братьев, смоленскую родню — как удастся. О себе больше думал, не о них.

И еще вспоминалась осада Пскова в 1406 году. Долгая, изматывающая, неудачная. Псковичи не сдавались, и он в досаде решил их устрашить — приказал убить детей в окрестных селах. Детей убили, и заполнили ими две ладьи, и пустили эти ладьи по реке Пскове, мимо псковского кремля. Не оробели псковичи, не открыли ворота. И теперь Витовт запоздало каялся в том бессмысленном злодействе, искал ему объяснение: «А кто не грешен?» И думал, как не отдать Великое княжество Ягайловым сыновьям. Припомнилось ему давнее кежмарское предложение Сигизмунда о коронации. Сейчас оно оказывалось кстати: корона на его, Витовта, голове отделила бы Литву от Польши, литовский трон — от Ягайлова выводка; своим наследником князь решил сделать брата Жигимонта Кейстутовича, у которого был сын. И одновременно явились бы две новые династии: в Польше — Ягеллоны, в Литве — Кейстутовичи.

Время не терпело. Исполняя замысел, Витовт пригласил в Луцк императора Сигизмунда, короля Ягайлу, великого князя московского Василия, великого магистра Прусского ордена, магистра Ливонского ордена, толпу князей, толпы бояр. Девять недель длились пиры, и какие пиры! Каждый день выпивалось только меду семьсот бочек, съедалось семьсот кабанов, шестьдесят зубров, сто лосей; мелкое

зверье и птицы шли бессчетно. Но траты, казалось, окупились сполна: и Ягайла не воспротивился коронации, и Сигизмунд поспешил просить папу римского об освящении короны для нового королевства, и отправились в Рим за короной послы.

Прошло два с половиной года, уже десять раз можно было доставить из папской столицы корону и короноваться, но послы сперва сиднем сидели в Риме, затем их задержали во Львове, а когда наконец явились, то короны не привезли, объяснили, что ее отняли у них силой поляки и что сделано это с ведома Ягайлы.

Князю, ровеснику Ягайлы, шел восемьдесят первый год, силы его истаяли, обман вовсе расстроил — он слег. Словно оплакивая его, над Троками разразились осенние бури и не унимались весь октябрь. Но в последнюю неделю буря внезапно умчалась, тучи развеялись, небо очистилось и заголубело — пришел покой. Князь угадал, что наступает его последний час. Ночью в черноте оконного проема тускло светилась одинокая звезда — звезда его жизни, мерцала, тлела, угасала навсегда. Днем в открытое окно влетали паутинки, садились на потолок, на развешанные по стенам рога, щиты, мечи, ковры — дзяды приходили из своих далей встречать его, уводить к себе. Жизнь, смерть, сны смешались, не стало сил различать: то ли дзяды воскресли, то ли живые померли; все стали равно призрачны, приятны, добры, все набивались в его спальню, окружали кровать, занимали все кресла и все углы, грелись у камина, улыбались ему, он каждому находил слово. Вдруг бесстрашно думал: вот не сегодня завтра умрет, внесут на плечах в костел святого Станислава и опустят в склеп возле Анны, а костел стоит в том месте, где горел погребальный костер князя Кейстута, и он соединится с родными, как было в молодости, и станет весело, легко, хорошо, как было тогда, но уже навеки, уже без боли разлук, без тоски воспоминаний.

И он стал засыпать, ощущая, как тушатся память и чувства, рассеиваются разные лица, и понял, что дзяды несут его в мягкую, древнюю колыбель. Вот положили, накрыли шкурой, колыбель качнулась, дзяды раскачали ее, сердце сжалось в ожидании падения, удара, боли, и вдруг что-то острое, ледяное — жало стрелы или лезвие корда — насквозь пронзило его. Он вскинулся, крикнул: «Воздуха мне, коня мне!» — и оказался на крыльце старого Трокского замка. Черный конь в нетерпении кусал удила; он прыгнул в седло, сзади заржали кони дзядов — и сорвались, погнали через луга, нивы, речные броды, и через поля, где

рубился в битвах, и по воздуху над скрещениями дорог, над Кревской башней и Гродненским замком, над зеленой землей, пустынями болот, черным разливом Немана, над пожарищами, могилами, городами, над пеленой густых вечерних туманов, вверх, в небо, в позлащенную солнцем высь; быстро летели кони, звенела синяя твердь, вспыхивали и гасли искры, и в сердце отдавался перестук копыт, который отставал, затихал, затухал, пропадал в извечной немоте — и пропал навсегда.

Через десять дней по смерти Витовта в нарушение его последней воли великим князем был избран Болеслав Швидригайла. Без малого сорок годов ждал он этой минуты и с рвением стал гнуть свое наперекор Ягайле. Сразу же развязал войну с поляками за Подолье, тут же заключил мир с крестоносцами, когда они пошли войной на Польшу, вопреки унии, назначал наместниками и брал в свою раду православных. Уния Городельская растаптывалась неукротимым князем с удовольствием; полувековые усилия поляков привязать Великое княжество к короне разрушались без всяких оглядок. Слова на Швидригайлу не действовали, и потому образумить зарвавшегося младшего брата решил Ягайла. Королю было восемьдесят лет, дорога далась ему нелегко, он прибыл в Вильно утомленным и злым.

— Брат мой, ты не представляешь, как я радуюсь твоему приезду,— сказал Швидригайла за торжественным столом, и, действительно, вид у великого князя литовского был счастливый.— Мы без всяких проволочек решим уйму дел.

— Надеюсь,— осторожно ответил Ягайла. Бурная радость брата слегка его озадачила.

— Ты надеешься, а я в этом уверен,— заявил Швидригайла и засмеялся.— Наконец-то мы решим вопрос о Подолье и пересмотрим унию, потому что я не вижу причин быть в подчинении у поляков.

— Едва ли это возможно,— сказал Ягайла с такими интонациями, которые означали, что это невозможно никогда.

— Возможно все,— возразил Швидригайла, и король очутился в подземелье, причем в том самом, где полвека назад держал его князь Кейстут за сговор с крыжаками. Правда, темница сейчас была обставлена в соответствии с королевским достоинством узника. Ягайла понял, что младший брат мстит ему за свое восьмилетнее заключение в Кременце и готов продержать его в этом склепе до смерти. Упорствовать не имело смысла, вскоре король сломился, его письмо отвезли в Краков, и радные паны, спасая жизнь

и честь Ягайлы, а также остатки унии, согласились с утратой Подолья и самостоятельной линией великого князя Литвы.

Король обрел свободу, но это стало ошибкой Швидригайлы, поскольку развязало руки его противникам. Незамедлительно поляки и бояре-католики составили заговор, решив передать княжеский венец Жигимонту Кейстутовичу. Особенно усердствовал в заговоре князь Семен Гольшанский, севший после гибели Льва Вяземского княжить на Вязьме. Дочь Семена была женой Ягайлы, и князь Семен старался, чтобы кто-либо из его внуков — Вацлав или Казимир — взял впоследствии венец Великого княжества.

Швидригайлу пригласили в Брест на съезд с Ягайлой и великим магистром. Не чуя подвоха, он выступил в путь с малым отрядом охраны. В Ошмянах на Швидригайлу внезапно напал отряд Гольшанского. Великий князь едва спасся бегством, и бежал он в Витебск. В Вильно же сел великим князем Жигимонт Кейстутович. В стране стало два правителя, немедленно началась междоусобная война. Запылали Менск, Молодечно, Борисов, Заславль, Орша. Силы соперников были равны, и ни один не желал уступить власть миром.

В 1434 году, по смерти Ягайлы, когда в Польше правили радные паны, Швидригайла задумал реальный, на его взгляд, план для возвращения короны великого князя. Он решил осуществить намеченную Витовтом унию церквей. Как исполнитель желания римской церкви он мог рассчитывать на поддержку папы, а как противник Городельской унии — на помощь императора Сигизмунда и Тевтонского ордена. Но для возглашения церковной унии необходимо было согласие митрополита Литовской Руси Герасима, бывшего смоленского владыки. Швидригайла начал договариваться с ним и одновременно разослал западным королевским дворам письма, что готовит объединение церквей. Император Сигизмунд сразу же пообещал ему королевскую корону. Орден направил просительное письмо в Рим. Из Рима незамедлительно пришли письма каменецкому епископу, чтобы помирил противоборствующих великих князей, и Герасиму с благословением на унию.

Польские паны не могли согласиться на коронацию Швидригайлы — это означало бы отпадение Великого княжества от Польши, а Жигимонт Кейстутович не желал впускать соперника в Вильно. В белорусских городах, где Швидригайла считался защитником православия, принять корону из рук императора-католика, да к тому же немца, никак

было нельзя. Герасим, чувствуя, что старания о союзе с католической церковью лишат его доверия среди православного духовенства, отказался помогать Швидригайле. Зная мстительность великого князя, он даже вошел в заговор со смоленскими боярами о выдаче Швидригайлы Жигимонту Кейстутовичу. Но смоленский наместник Юрий Бутрим выдал заговорщиков. Герасима отвезли в Витебск к Швидригайле.

Долго двоевластье длиться не могло, и настал час встретиться в поле, решать спор битвой. Первого сентября 1435 года противники встретились на реке Святой. Жигимонту Кейстутовичу поляки придали в помощь восемь тысяч рыцарей. Швидригайла вывел пять хоругвей — смоленскую, витебскую, полоцкую, мстиславскую, киевскую. Ему подсоблял князь Жигимонт Корибут, приведший отряды силезцев, чехов и ракушан. И еще пришли на подмогу ливонские хоругви и хоругвь шведов.

Что-то роковое было в натуре Швидригайлы, печать неудачи обязательно ложилась на все его важные дела. В преддверье битвы он не удержался совершить кровавое безумство, бессмысленную, жестокую казнь, оборвавшую приязнь к нему православных полков. По его приказу митрополит Герасим на рыночной площади у моста через Витьбу был сожжен живым на костре. Боевой пыл православных литвинов угас.

Но войска сошлись, тысяч за тридцать людей построились гуфами и ждали знака на рубку.

Андрей Ильинич шел в полоцком полку предхоругвенным. Присматриваясь к стоявшим напротив хоругвям поляков, томился тяжелыми предчувствиями. Привел на эту битву старшего сына и теперь жалел, что не оставил его дома. Все возникал перед глазами Мишка Росевич, каким запомнился в утро Грюнвальдской битвы, когда, угадав судьбу, прискакал прощаться. Странен, грустен был его взгляд, не сулил счастья. Но и без таких мрачных знаков не было у Андрея веры в добрый исход дня. Не чувствовал за Швидригайлой правоты: мечи обнажались не ради правды — ради рвения князя на трон. Все противно перепуталось: вечные враги — немцы сейчас были союзниками, силезцы и ракушане, которые под Грюнвальдом были наемниками немцев, сейчас тоже стали союзниками, поляки же и свои литвины-католики теперь были врагами. Нет, здесь не будет победы; князь сжег Герасима, тот проклял его, сгорая; за князев грех теперь хоругвям

расплачиваться. Не верил Андрей, что выйдет из этой рубки живым.

Гуфы Жигимонта Кейстутовича вдруг ощетинились копьями, ощерились мечами и, набирая разгон, пошли вперед; им навстречу припустили рысью полки Швидригайлы и Корибута; с обеих сторон всплеснулась злоба, с обеих сторон загремело: «Бей! Руби!» — и столкнулись, ударились.

Когда выдалась минута, Андрей оглянулся подбодрить сына, но Иванки в седле уже не было: он лежал на земле с кровавой метиной на виске. Андрей ужаснулся, бросил меч, прыгнул к сыну, ножом взрезал ремни панциря — и припал слушать сердце. Сквозь лязг, ржание, крики, топот, звон, стоны услышал слабый стук. Первенец, их с Софьей ангел, наследник, любимец стоял на пороге смерти. Он поднял сына на руки и пошел прочь с бранного поля, где искали себе добычу секиры, копья, стрелы и чеканы. Шел средь разлива сечи — безоружный, беззащитный, усмиренный. Свет затмился, Андрей видел лишь бескровное лицо сына, следил, держится ли в теле душа, и не понял, не поверил, удивился, когда почувствовал теменем тяжелый, жаркий злой удар меча.

Он лежал возле сына на согретой солнцем земле и слышал, как травинки, корешки, ржавые и блестящие песчинки впитывают их кровь, вбирают их силы, их жизни, что-то шепчут, раздвигаются, зазывая в глубину, в лоно земли. Мир взорвался, в кровавых разломах увиделась Софья, услышался ее вскрик — и не стало ничего.

И еще тысячи людей погибли в той битве, почти все войско Швидригайлы было вырублено, повезло уцелеть немногим. Но сам Швидригайла спасся, жил на Волыни и умер, пережив своего победителя.

Жигимонт Кейстутович правил еще четыре года, а на пятом по заговору православных князей был убит в своей часовне в Троках. Великим князем Литвы, Руси и Жмуди короновался младший сын Ягайлы — тринадцатилетний Казимир.

Но это уже иное время, иные люди, другая история.

## ПОЯСНЕНИЯ
### к некоторым именам собственным и понятиям

Великое княжество Литовское, Русское и Жмудское — славянско-литовское государство, которое возникло в середине XIII столетия, когда новогрудский князь Миндовг объединил часть белорусских земель, имевших историческое название Литва, с некоторыми землями Аукштоты (современная восточная Литва). Существенно расширилось в XIV веке после соединения с ним всех белорусских, части украинских и присоединения некоторых русских земель, а также Жмуди. С 1385 года по Кревской унии вошло в династический союз с Польшей. По Люблинской унии 1569 года Великое княжество Литовское, Русское и Жмудское объединилось с Польшей в одно государство — Речь Посполитая, которое просуществовало до 1794 года, когда было окончательно разделено между тремя захватчиками —Россией, Пруссией и Австрией.

Воркла — река на Украине, левый приток Днепра. Здесь состоялась самая неудачная из всех битв, проведенных Витовтом. Обстоятельства, с ней связанные, таковы. В 1398 году к Витовту в Киев прибыл свергнутый с престола хан Золотой Орды Тохтамыш. Витовту было выгодно иметь в Орде своего ставленника, что обеспечивало бы южные границы Великого княжества от татарских набегов и давало союзников в политике утеснения Московской Руси. В 1399 году Витовт объявил поход против татар, ставя целью восстановить на золотоордынском троне Тохтамыша. В этом походе помимо войск Великого княжества и многочисленного отряда татар Тохтамыша приняли участие несколько хоругвей крестоносцев и польское рыцарство. Силы были огромные; противостоявший Витовту хан Тимур-Кутлуг побоялся принять бой и попросил три дня на раздумья над предложенными ему условиями подчинения Орды Великому княжеству. Витовт, уверенный в победе, согласился. Но за эти три дня на помощь Тимур-Кутлугу пришел хан Едигей, и Витовту на берегах Ворсклы пришлось сражаться с двумя войсками. Разгром был полный. Следствием его стало политическое поражение в отношениях с Польшей; в 1401 году Витовту пришлось заручить Вленско-Радомскую унию, по которой Великое княжество после его смерти становилось польской провинцией.

В 1411 году Витовт предпринял новый поход на Золотую Орду, на этот раз удачный, и посадил на ордынский престол сына Тохтамыша — Джелаледдина.

Гальве — озеро, посреди которого на островах стоит Трокский замок.

Жмудь (Жеймайтия) — западные, примыкающие к Балтийскому морю земли Литвы. В описываемое время имели стратегическое значение как для Великого княжества, так и для Тевтонского ордена: крестоносцам Жмудь была необходима для территориального объединения Прусского ордена с Ливонским, в этом случае у них оказалось бы в руках все Балтийское побережье; для литовцев и белорусов такое

объединение создавало смертельную угрозу и, кроме того, отнимало выход в море. Меченосцы, а затем Тевтонский орден два века стремились получить эти земли любой ценой — военными походами, политическими интригами, поддержкой мятежных князей.

Восстание Жмуди весной 1409 года являло первый шаг в подготавливаемой войне с Тевтонским орденом, начать которую Витовт и Ягайла решили на тайном совещании в Новогрудке зимой 1408 года. Исполняя план, Витовт отдал жмудинам приказ восстать. Жмудские полки напали на рыцарские замки и вырубили крестоносцев. Так началась Великая война 1409—1411 годов, которая привела к сокрушению могущества Ордена.

Кежмарк — город на севере Словакии, в 20 верстах от реки Дунаец. В описываемое время словацкие земли входили в состав Венгерского королевства.

Мазовия — историческая польская область, которая занимала центрально-восточные земли с центром в Варшаве. Окончательно утратила самостоятельность в XVI веке.

Малопольша — историческая польская область в бассейне верхнего и среднего течения Вислы с центром в Кракове.

Риттерсвердер — один из трех замков, построенных крестоносцами над Неманом между Гродно и Ковно. Местопребывание князя Витовта в 1391 году.

Святая — река в восточной Литве, приток Вилии; литовское название — Швянтойи.

Тевтонский орден (Немецкий орден) — монашеский рыцарский орден, основанный в XII столетии в Палестине во время крестовых походов. В XIII веке был приглашен поляками в Поморье для усмирения и христианизации пруссов и ятвягов, для борьбы с которыми Польше не хватало собственных сил. На польских и захваченных у пруссов землях создал орден собственное государство со столицей в Мариенбурге (Мальборке). Разгромлен в Грюнвальдской битве, с 1466 года — вассал Польши, в 1525 году последний великий магистр Альбрехт Бранденбургский провел секуляризацию Ордена и объявил вместо него светское Прусское герцогство, столицей которого был Кенигсберг.

Троки (Тракай) — небольшое поселение на берегу озера Гальве, где великий князь Гедимин построил крепость для своего младшего сына Кейстута. В XIV веке стал столицей удела, приобрел значение крупного политического центра Великого княжества, был резиденцией великих князей Литвы, Руси и Жмуди.

Андрей Ольгердович — князь полоцкий, старший брат Ягайлы, боролся с ним за верховную власть в Великом княжестве Литовском. В этой борьбе проиграл, несколько лет провел в заключении, освобожден Витовтом. Погиб в битве на Ворскле.

Багардин — татарский хан; вероятно, был темником у хана Джелаледдина. Согласно немецким хроникам Багардин нанес в битве смертельный удар великому магистру Ульрику фон Юнгингену.

Вацлав IV (1361—1419) — с 1378 года чешский король, император «Священной Римской империи немецкой нации», сын императора Карла IV, низложен с императорского трона немецкими курфюрстами. Умер от разрыва сердца в 1419 году, когда в Праге началось восстание гуситов.

Велемос — бог загробного мира у восточных славян.

Витовт-Александр (1350—1430) — великий князь литовский с 1392 года, сын Кейстута. В первом браке был женат на Марии Лукомльской.

Дочь от этого брака Софья была отдана замуж за сына Дмитрия Донского и стала великой княгиней Московской. Ее сын — Василий Темный. Дети от второго брака на Анне Смоленской были отравлены крестоносцами. Показал себя выдающимся полководцем в Грюнвальдской битве. С 1392 года вел решительную борьбу с удельными князьями, создавая централизованную власть. Так, был лишен брянского удела и ничего не получил взамен Дмитрий Корибут, князю Владимиру большое Киевское княжество было заменено Копылем и Слуцком (от него и пошли князья Слуцкие), у Швидригайлы был отнят Витебск. Скиргайла, занявший место Владимира, был вскоре отравлен. Единственной пользой битвы на Ворскле для Витовта оказалось то, что в бою с татарами пало шестьдесят литовских, белорусских и украинских князей,— все это вместе взятое лишило силы княжескую оппозицию Витовту.

Обстоятельства вынудили Витовта трижды креститься. Прибегнув к помощи Ордена в многолетней борьбе против Ягайлы, Витовт заручил несколько земельных дарственных грамот. Но не сильно веря Витовту и стремясь к полному его подчинению себе, крестоносцы настояли на крещении князя в католичество. Оно состоялось в 1383 году, и Витовт получил христианское имя Виганд. В «благодарность» ему пришлось дать Ордену документ, по которому Жмудь становилась собственностью крестоносцев, а Литвой и белорусскими землями Витовт мог владеть на правах вассала. В 1384 году, после первого замирения с Ягайлой, Витовт вернулся в Великое княжество. Здесь рассчитывать на поддержку и признание православных бояр князю-католику, принявшему к тому же крещение у крыжаков, не приходилось. Витовт перекрещивается в православие, приняв имя Александр. Из политических соображений двумя годами позже, когда Ягайла в Вавельском кафедральном соборе перекрещивался из греческой веры в латинскую, поскольку это было условием его брака на польской королеве Ядвиге, Витовт вновь принял крещение, но оставил полученное в православии имя.

Похоронен князь Витовт в костеле св. Станислава в Вильнюсе.

Гедимин (1257—1341) — великий князь литовский, русский, жемойтский. Вел успешную борьбу против крестоносцев, расширил границы Великого княжества, перенес столицу государства из Новогрудка в Вильно, построил каменные крепости в Троках, Медниках, Крево, Лиде, Новогрудке. У Гедимина было две жены, обе белоруски. От первой — Евы родились: Явнут — князь заславский, Монтвит — князь слонимский. Наримунт — князь пинский, Кориат — князь новогрудский, Любарт — князь в Галицко-Волынской земле: от второй — Ольги — было двое сыновей: Ольгерд — князь кревский, Кейстут — князь трокский. Дочь Гедимина Альдона в 1325 году была обручена с польским королем Казимиром III, что оформило союз двух государств против агрессии Тевтонского ордена. Еще шесть дочерей Гедимина также стали женами соседних князей: Данмила — мазовецкого князя Болеслава, Мария — мазовецкого князя Ванька, вторая Мария — князя Дмитрия тверского, Анастасия — московского князя Симеона, сына Ивана Калиты, Бирута — князя Давыда Городенского.

Погиб Гедимин при осаде замка Баербург, построенного крестоносцами возле устья Немана.

Знич — бог погребального огня в белорусской языческой мифологии; зничка — падающая звезда.

Кейстут — соправитель Ольгерда в Великом княжестве Литовском. Сын Гедимина. Владел Трокской половиной княжества, в которую входили Жмудь, Подляшье, Полесье, Брестская и Гродненская земли, большая часть Лидской и половина Новогрудской земель. Сыновей у Кейстута было шесть: Патирг, Войдат, Бутав, Товтивил, Витовт, Жи-

гимонт. Первые трое умерли в раннем возрасте. Товтивил в 1382 году бежал вместе с Витовтом к мазовецкому князю (мужу сестры) и тут окрестился в католичество, приняв имя Конрад. Жигимонт Кейстутович был великим князем. В 1382 году Кейстут по приказу Ягайлы был убит в Кревском замке.

Ольгерд — великий князь литовский, соправитель Кейстута. Осуществил несколько победных походов против Орды. В 1362 году под его началом белорусы, литовцы, украинцы нанесли поражение татарам в битве на Синей Воде, что покончило с татарским гнетом на украинских землях. В 1368—1372 годах провел три похода на Москву. Сыновей у Ольгерда было двенадцать. От первого брака с Марией Витебской родились: Андрей — князь полоцкий, Дмитрий Корибут — князь брянский, второй Дмитрий — князь трубческий, Владимир — княжествовал в Киеве, Константин — князь в Чарторыйске; от второй жены — Юлианы Тверской: Ягайла, Виганд, Коригайла, Скиргайла, Семен-Лингвен, Швидригайла, Михаил.

Миндовг (1200—1263) — основатель белорусско-литовской державы — Великого княжества Литовского. Родовое гнездо Миндовга было под Ошмянами. В 1240 году был приглашен боевым князем Новогрудка, который сделал столицей нового государства. В 1246 году в Новогрудке вместе с дружиной принял православие. Его объединительной политике белорусских и литовских земель противодействовали Ливонский орден, Польша, галицко-волынские князья, крупные местные феодалы. Для победы над ними из политических соображений Миндовг в 1250 году принял крещение от меченосцев и короновался королевской короной, присланной ему папой Иннокентием IV. В 1259 году Миндовгу пришлось «подарить» за военную помощь меченосцам всю Жмудь, а затем его вынудили заручить документ, по которому он как король литовский отписывал Ордену все свое королевство в случае прекращения рода. Но в этот же год Миндовг поднял повсеместное восстание против Ордена, в котором участвовали войска Великого княжества, пруссы, ятвяги, жмудины. Меченосцы потерпели поражение при озере Дурбе. После этой победы Миндовг порвал с католичеством. В 1263 году он заключил союз против Ордена с Александром Невским.

Погиб Миндовг от руки нальшанского князя Довмонта, который отомстил Миндовгу за оскорбление — тот отнял у Довмонта жену. Преемником Миндовга стал его старший сын Войшелк.

Швидригайла — в 1430—1432 годах великий князь литовский, младший сын Ольгерда, брат Ягайлы. Свергнут с престола братом Витовта Жигимонтом Кейстутовичем. Умер в 1452 году.

Жигимонт — великий князь литовский в 1432—1434 годах. Сын Кейстута. В Грюнвальдской битве возглавлял новогрудскую хоругвь. В своей внешней и внутренней политике князь Жигимонт подчинялся польскому влиянию, а против недовольных этим князей и бояр, против православной шляхты развязал жестокий террор. Мнение последних о Жигимонте в белорусской летописи («Хроника Быховца») записано так: «... он же окаянник князь великий Жигимонт не насытился злости своей и мыслил в сердцу своем по дьявола научению, како бы весь род шляхетский погубити и кровь их разлити, а поднести род хлопский, псю кровь». Князья и паны решили свергнуть своего притеснителя, единственным способом для этого было убийство. Исполнить заговор православного боярства взялся князь Александр Чарторыйский. В Троки, где замкнуто, в предельной осторожности жил Жигимонт, был направлен сенный обоз в триста подвод; на каждой было спрятано пять воинов. Князь Александр и помогавший ему киевский шляхтич Скобейка нашли Жигимонта в замковой часовне. Князь слушал мшу,

дверь была заперта изнутри. На стук Жигимонт мог не отворить. В этот миг Чарторыйский увидел, что по двору бродит любимый Жигимонтов медведь, и зацарапал о дверь ногтями. Жигимонт обманулся и приказал открыть дверь. Чарторыйский и Скобейка вошли в молельню, и Скобейка, схватив стоявшую у печи кочергу, нанес Жигимонту смертельный удар. По другой версии Чарторыйский пришел к часовне один. Жигимонту поверилось, что в дверь скребется его любимец. Он пошел открывать и, как только двери отворились, князь Александр вонзил ему в грудь нож.

Т е т я — богиня осеннего урожая в белорусском народном пантеоне.

Ц е б у л ь к а  М и к о л а й — возглавлял канцелярию и дипломатическую службу Витовта в 1409—1429 годах.

Ф р а н к е н б е р г  К о н р а д — перебежчик к Витовту от крестоносцев. Был нотарием Витовта в 1407—1409 годах. Позже — староста в Кременецком замке. Убит в 1418 году при захвате замка отрядом князя Острожского.

Я г а й л а (1350—1434) — в 1382—1392 годах великий князь литовский, с 1386 года король польский, сын Ольгерда, основатель династии Ягеллонов. В браке с белорусской княжной Софьей Гольшанской родил двух сыновей — Вацлава и Казимира. При крещении в православие получил имя Яков, в 1386 году перекрестился в католичество и получил имя Владислав. Дальновидный политик, одна из самых ярких фигур в истории Польши, Литвы и Белоруссии XIV—XV столетий.

В а г е н б у р г — круговое или полукруговое укрепление из повозок для прикрытия войск от атак противника.

В е л и к д е н ь — белорусский народный праздник, который приходился на день весеннего равноденствия. Позже на него наложился праздник пасхи.

В е с н я к — крестьянин.

В и ц а — шест с пучком веток или одна ветка, которые развозились специальными гонцами по населенным пунктам как знак призыва на войну.

В о л о т — в белорусских легендах исполин, великан, богатырь.

В о я р — воин, ратник (белор.).

Г л е й т — охранная грамота.

Г у ф — сомкнутый боевой строй отряда, хоругви (белор.).

Г р у н ь — вид конской побежки; тихая рысь.

Д з я д ы — белорусский поминальный обряд по родичам и близким, которые также называются *дзядами*: осенние дзяды отмечались в последние дни октября — первые дни ноября.

З е м я н и н — владелец небольшого надела земли, обязанный к воинской повинности.

И н т е р д и к т — наложение римским папой или епископом на страну, область, город, приход запрета совершать богослужение и религиозные обряды.

К л и к у н ы — ночная стража.

К о л о н т а р ь — кожаная рубаха с нашитыми металлическими пластинами, вид защитных доспехов.

К о л т р и ш — крестьянская верхняя одежда из грубой шерсти, свитка.

К о л я д ы — белорусский народный праздник, припадавший на самый короткий зимний день; позднее на него наложилось церковное празднество рождества Христова.

К о п ь е — так называлась наименьшая боевая единица, состоявшая из трех человек: рыцаря, оруженосца, одного или нескольких стрел-

ков. Хоругвь, к примеру, в двести копий могла насчитывать 600 и более человек.

К о р д — длинный обоюдоострый кинжал.

К р у к — ворон; по белорусскому народному поверью его карканье предвещает беду и горе.

К р ы ж а к и — крестоносцы (белор.).

Л у п ы — военная добыча.

Л ю т и ч и (л ю т в а) — славяне, жившие на южном побережье Балтики между Лабой и Одрой. В X—XII веках, несмотря на упорное сопротивление, были насильственно германизированы или истреблены. Существует историческая версия, что значительная часть племен лютвы пришла на земли так называемой Черной Руси, тут смешалась с местным населением, а название трансформировалось в — *литва.*

М е ч Щ е р б е ц — коронационный меч польских королей. По легенде, принадлежал князю Болеславу Храброму, объединившему польские земли и ставшему в 1025 году первым польским королем.

О б о д р и т ы (б о д р и ч и) — союз племен полабских славян в VIII—XII веках, живших в нижнем течении Лабы. Разделили судьбу своих соседей — лютичей.

П а л а т и н ы — венгерские вельможи, придворные.

П а р о б о к — лучник, оруженосец состоятельного воина, защищавший его со спины; также — вооруженный слуга при боярине, шляхтиче; позже — слуга, работник.

П л и н ф а — кирпич.

П о г о н я — старинный белорусский княжеский герб и герб стольных городов, с XIII века и герб великих князей литовских, а при Витене стал и государственным гербом Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского. П о г о н е й называлось также на Беларуси всеобщее ополчение, призыв на войну; то же, что у поляков — посполитое рушение, а у русских — народное ополчение.

П о ч т — свита.

П р и в и л е й — в Великом княжестве Литовском королевская или великокняжеская грамота о даровании прав, привилегий.

П р у с с ы — народ, населявший часть южного побережья Балтики; в XIII веке после подавления восстання частью германизированы, частью истреблены Тевтонским орденом. Позже на этой территории было государство Пруссия. После Великой Отечественной войны эти земли переименованы в Калиниградскую область и присоединены к РСФСР.

П у г а — кнут.

Р е й з ы — набеги, походы крестоносцев.

С а р а ц и н ы — так участники крестовых походов на Ближний Восток называли арабов; немецкое рыцарство перенесло это название на пруссов, жмудинов, литовцев, белорусов, против которых совершало свои крестовые походы якобы с целью христианизации.

С е р е б щ и з н а — вид подати, взимавшейся князем с населения.

С к а р б н и ц а — место хранения государственной казны, драгоценностей; вообще место хранения дорогих предметов в замке, костеле, монастыре.

С м о к — упырь, вурдалак (белор.).

С т а й н я — конюшня (белор.).

С т о л ь — потолок.

С т р ы й — дядя по отцу. Стрыечный брат — двоюродный брат по мужской линии.

С х и з м а — церковный раскол; схизматиками (схизмой) православные называли католиков, а те, в свою очередь,— православных.

Тараса — сруб на колесах с устройством для разрушения крепостных стен и ворот при осаде.

Толока — сбор людей к одному хозяину по его просьбе для работы, которую нельзя или трудно сделать семье без посторонней помощи, например, срочная жатва, строительство. Хозяин затем ставил толоке угощение.

Уния церквей — князю Витовту было крайне невыгодно иметь в государстве две противостоящие веры — католическую и православную. В ноябре 1415 года князь собрал в Новогрудке синод православных белорусских священников, который отстранил от митрополитства противника унии церквей Фотия, а митрополитом Руси Литовской поставил Григория Цамблака. Цамблак вместе с группой священников отправился на Констанцский собор 1418 года, где вопрос принципиально был решен. Но в реальности это начинание Витовта успеха не получило. Уния православной и католической церквей была заключена лишь в 1596 году в Бресте.

Ферязь — верхняя длиннополая мужская одежда.

Хоругвь — здесь: отдельный отряд войск, поветовый или княжеский специальный полк; отряд, который ходит под своим отдельным стягом.

Шихт — ряд, шеренга.

Щедрец — канун Нового года (щедрая кутья); отмечался через неделю после Коляд.

Ятвяги — народ, который жил на большой территории — Волынь, Полесье, Беловежская пуща; самостоятельность утратил после подавления крестоносцами прусского восстания в 1283 году. С ятвяжскими князьями упорно и с успехом боролся Миндовг. Ятвяги оказали сильное влияние на этнографические особенности белорусов.

## ОТ АВТОРА

О влиянии Грюнвальдской битвы на судьбы европейских народов можно написать исследование, но осмелюсь сказать, что главное значение этой знаменитой битвы для современного человека состоит в том, что она пробуждает любопытство к истории. Естественно, для наших предков из XV столетия победа над немцами под Грюнвальдом носила совершенно конкретный смысл — она прекратила походы крестоносцев на Беларусь и Литву, то есть дала мир множеству людей.

Такие крупные исторические события, как поражение Тевтонского ордена, имеют сложную подоплеку. Она заслуживает хотя бы короткого пояснения для тех читателей, кто мало знаком с реалиями того, крепко забытого за шестьсот лет времени.

Тевтонский орден сложился из двух орденов: Меченосцев и Ордена рыцарей черного креста девы Марии. Объединение произошло в 1237 году по настоянию папы римского Григория IX. Тевтонский орден после упадка Иерусалимского королевства и возвращения в Европу с 1211 по 1225 год действовал в Венгрии, но был изгнан оттуда и оказался без места. В этот тяжелый для него час Ордену повезло — в 1226 году он получил приглашение от мазовецкого князя Конрада осесть на 20 лет в Хелминской земле (в Польше) для умиротворения и христианизации пруссов, чтобы за это время приобрести себе земли в Пруссии. Захватив прусские земли, Орден целенаправленно отвоевал у Конрада важные для себя польские территории (Поморье) и направил военный удар против Великого княжества Литовского. В том же 1226 году магистр Ордена заручился грамотой императора Фридриха II, которая все территориальные завоевания в землях пруссов «передавала» в собственность крестоносцев. Через два года Конрад был вынужден отдать Ордену Хелминскую землю в «вечное владение».

Белоруссия и Литва еще при Миндовге испытывали давление Ордена. Необходимость противостояния ему привела в 1325 году Великое княжество к союзу с Польшей. Союз был скреплен браком польского короля Казимира III с дочерью Гедимина Алдоной.

Из земель Великого княжества для крестоносцев жизненно важно было заполучить Жмудь, которая отделяла ливонцев от орденской Пруссии. Захватнические замыслы Ордена, однако, не ограничивались Жмудью. В 1392 году между Тевтонским орденом и венгерским королем Сигизмундом Люксембургским был заключен договор о совместном ведении войны против Польши и Великого княжества, в результате которой предполагалось разделить территорию противника следующим образом: Орден получал Жмудь, Белую и Литовскую Русь, Полесье, Подляшье, Мазовецкое княжество, псковские и новгородские земли, Великопольшу; Сигизмунд должен был обрести южную Польшу и Червоную Русь (то есть всю Волынь и Подолье).

При таком соседстве государственное развитие Великого княжества и Польши не могло проходить нормально. Сокрушение Ордена стало жизненно необходимой потребностью литовцев, белорусов и поляков.

Эту задачу и решила Великая война 1409—1411 годов. Стратегическое решение о войне было принято польским королем Владиславом-Ягайлой и великим князем литовским Витовтом на тайном совещании в Новогрудке в декабре 1408 года. Первым действием войны стало восстание Жмуди. Послы Ордена, как записал польский хронист Ян Длугош, тотчас обратились к Ягайле выяснить его отношение к тому, что «Александр-Витовт, великий князь литовский, отнял у них землю самагитов (Жмудь), несмотря на то, что открытой грамотой записал ее в вечный дар магистру и Ордену и отрекся от всякого права притязать на нее, а начальников и наместников его и Ордена перебил или захватил в плен с позором и срамом. И хотя магистр и Орден снаряжали много посольств к упомянутому Александру-Витовту и многократными просьбами и настояниями добивались возвращения захваченной земли и возврата пленных, однако их старания и просьбы не оказали никакого действия, так как Александр, князь Литовский, насмеялся над их настояниями и требованиями».

Польские послы в Мариенбурге (столице Ордена) в ответ на угрозу магистра, что он наберет войско и нападет на Великое княжество, ответили: «Перестань, магистр, страшить нас, что пойдешь войной на Литву, так как, если ты решишь это сделать, то не сомневайся, что лишь только ты нападешь на Литву, наш король вторгнется в Пруссию». Тогда немцы, не медля, начали военные действия против поляков и захватили Добжинскую землю. Боевые действия длились недолго и завершились перемирием Польши с Орденом до Купалья 1410 года. Но перемирие с Великим княжеством великий магистр не заключил, что давало ему возможность продолжать военный натиск против Литвы и Белоруссии. Арбитром в споре Польши и Ордена взялся выступить чешский король Вацлав.

В декабре 1409 года Витовт и Ягайла встретились в Бресте, где обсудили детальный план летнего похода на крестоносцев. Соответственно плану в последних числах мая 1410 года в Гродно стали стягиваться полки из белорусских и литовских земель и княжеств. Отсюда тронулись они к истокам реки Нарев, где был назначен сбор всему войску Великого княжества. Затем войска Витовта совершили переход через мазовецкие земли и пришли к Червеньску на Висле, где встретились с польскими хоругвями. Это было в начале июля, а через две недели произошло Грюнвальдское сражение, ставшее кульминацией всей войны 1409—1411 годов и определившее ее исход.

В ряду крупных битв того времени Грюнвальдская выделяется как количеством участвовавших в ней войск, так и необыкновенной удачей результатов: Орден, который еще утром 15 июля 1410 года был одним из могущественных государств Европы, к вечеру стал почти ничем, ему угрожало исчезновение с политической карты. Хоть впоследствии Ордену удалось воспрянуть и окрепнуть, поражение его в Грюнвальдской битве изменило политический и военный климат в Европе и вывело Польшу и Великое княжество Литовское в число действенных стран, с которыми следовало считаться.

Понятен потому глубокий интерес к этому сражению со стороны историков многих поколений Польши, Литвы, Белоруссии, Германии, России. Среди них — Я. Длугош, М. Стрыйковский, А. Коялович, Т. Нарбут, И. Лелевель, А. Левицкий, Ю. Крашевский, А. Шайноха, А. Прохазка, А. Барбашев, М. Коялович, Я. Гейсман, Г. Дельбрюк, Н. Разин, А. Строков, В. Пашуто, Н. Лапин, А. Тирчинский и многие другие. Наиболее глубоко исследовал круг связанных с Грюнвальдом проблем современный польский историк С. Кучиньский, обобщивший свои выводы в труде «Великая война с орденом крестоносцев в 1409—1411 годах».

Польское войско пришло на битву в составе 50 хоругвей; из них

7 выставили подчиненные Польше украинские земли. Длугош называет следующие украинские полки: Львовский, Холмский, Галицкий, Перемышльский и три Подольских; в двух хоругвях были наемные рыцари из чехов, моравов, силезцев.

Великое княжество Литовское выставило на поле боя 40 хоругвей: 30 из них имели на знамени Погоню — герб Великого княжества; 10 — герб Колонны — белые столпы на красном фоне. Помимо них, с Витовтом пришла конница хана Джелаледдина.

Из сорока хоругвей Великого княжества Длугош поименно называет 21: виленскую, трокскую, гродненскую, ковенскую, лидскую, полоцкую, витебскую, новогрудскую, волковыскую, медницкую, брестскую, пинскую, киевскую, стародубскую, дрогичинскую, кременецкую, смоленскую, а еще хоругвь князя Сигизмунда-Корибута, хоругвь князя Семена-Лингвена Мстиславского и хоругвь князя Юрия. Остальные 19 хоругвей не названы.

В бнтве Семен Мстиславский возглавлял левое крыло войск Витовта, то самое, в котором бились хоругви смолян. «В этом сражении рыцари Смоленской земли,— сообщает Длугош,— упорно сражались, стоя под собственными тремя знаменами, одни только не обратившись в бегство, и тем заслужили великую славу. Хотя под одним знаменем они были жестоко порублены и знамя их было втоптано в землю, однако в двух остальных хоругвях они вышли победителями, сражаясь с величайшей храбростью, как подобало мужам и рыцарям, и, наконец, соединились с польскими войсками; и только они одни в войске Александра-Витовта стяжали в тот день славу за храбрость и геройство в сражении...»

Смоленское княжество окончательно было подчинено Витовтом в 1406 году; его западные области с городами Оршей, Мстиславлем, Пропойском отошли к Великому княжеству Литовскому намного раньше, еще при Ольгерде. Указание Длугоша, что в битве выступали три смоленских полка, вызывает достаточное недоумение, поскольку он сам, перечисляя полки, называет смоленский полк в единственном числе; затем же речь идет о трех хоругвях. Сам Смоленск непосредственно выправить три полка никоим образом не мог; в сравнении с тем, что Полоцк, Владимир, Вильно выставили по полку, это было бы очень странно. Речь, таким образом, может идти лишь о полках Смоленщины. Тогда, если прибавить к названной смоленской хоругви два не названных полка со Смоленщины — мстиславский и оршанский, запись Я. Длугоша обретает ясность в отношении количества; насколько же стойкостью и мужеством эти полки отличались перед другими полками войска — вопрос особый.

Трудно представить, чтобы от участия в походе были устранены слуцкий полк князя Александра Владимировича и могилевский князя Андрея Владимировича; оба Владимировичи были внуки Ольгерда, родные племянники Ягайлы и двоюродные — Витовта. Из украинских полков несомненно участие в битве луцкой, владимирской, ратненской хоругвей, полков Подольской земли, входившей в Великое княжество. Как убедительно полагает Ст. Кучиньский, Вильно, Троки, бывшие центрами больших, густозаселенных земель, дали не по одной, а по две-три хоругви. Следует также учесть, что полки могли составляться и из мелких поветовых и княжеских дружин. Выставили своих воинов Несвиж, где княжили Григорий и Иван Несвижские, Чарторыйск, Кобрин, Крево, где наместником был Ян Гаштольд; Лукомль, Ошмяны, Ушполье, Вилькомир, где наместничал боярин Вежкгайло. Помимо медницкой хоругви, Жмудские поветы дали еще 2100 воинов, из которых большинство не пошло на Грюнвальд, а выполняло боевые действия на жмудско-орденской границе.

Хоругви имели различную численность — от 60 до 200—300 копий, но были хоругви и в 500 и в 600 копий. Отсутствие сведений о численности

войск или отдельных хоругвей Ордена, Польши и Великого княжества Литовского допускает строить самые разные предположения — вплоть до фантастических — по этому вопросу. Обычная методика расчета состояла в том, что брали какое-то среднее возможное число копий для хоругви (например 70, что давало 210 воинов, или 300, то есть под 1000 воинов) и умножали на число хоругвей. Поэтому у разных исследователей численность войска представала то 80 тысяч для крестоносцев и 160 тысяч для Польши и Великого княжества, то соответственно 18 и 16 тысяч. Некоторые историки не считали пехоту, другие не считали татар, третьи по-разному оценивали численность войска, оставленного для охраны границ и замков.

Наиболее любопытны в этом отношении расчеты Кучиньского, который опирался на мобилизационные способности стран — участников битвы. Польское войско он определил в 20 тысяч воинов, белорусско-литовско-украинское в 11,5 тысячи. Для Великого княжества, однако, расчеты основывались на списках войска Великого княжества от 1529 года, по которым конное войско, составляло 24,5 тысячи всадников. В силу уменьшения территории Великого княжества XV — начала XVI века втрое эту цифру можно отнести к 1410 году. Но едва ли верно считать, что большая часть войска не ходила в поход. Наоборот, Витовту требовалась победа над Орденом. В этом случае он возвращал Жмудь, получал Судавы, а Ягайла возвращал ему ту часть плодородных подольских земель, которыми пользовалась Польша. Поражение Ордена и мирные границы с Золотой Ордой в случае прихода туда Джелаледдина превращали Великое княжество в сильнейшую державу; реальные возможности самостоятельного развития Великого княжества, разумеется, хорошо виделись Витовту, и он был обязан для достижения заветных целей приложить все силы. Это означало, что он должен был вести на битву предельное число своих полков. Поэтому силы Великого княжества в битве под Грюнвальдом можно оценить в 20 тысяч конницы, несколько тысяч пехоты, 3—5 тысяч татар и 3—4 тысячи челяди, обозников, коноводов.

Такие же примерно по количеству силы привел на битву Ягайла. Более 30 тысяч воинов вывел на поле боя великий магистр Ордена. Так что под Грюнвальдом сошлись сражаться около 80—90 тысяч человек.

Проследим основные моменты битвы в описании Длугоша.

«Лишь только зазвучали трубы, все королевское войско громким голосом запело отчую песнь «Богородицу», а затем, потрясая копьями, ринулось в бой. Войско же литовское, по приказу князя Александра, не терпевшего никакого промедления, еще ранее начало сражение». Иначе говоря, белорусско-литовско-украинские полки вступили в бой с крестоносцами первыми, и это произошло на достаточное время прежде, чем начали биться поляки.

Затем следует главка под названием «Литовцы, показав тыл, бегут до самой Литвы».

«Сойдясь друг с другом, оба войска сражались почти в течение часа с неопределенным успехом; и так как ни то, ни другое войско не подавалось назад, с сильнейшим упорством добиваясь победы, то нельзя было ясно распознать, на чью сторону клонится счастье или кто одержит верх в сражении. Крестоносцы, заметив, что на левом крыле против польского войска завязалась тяжелая и опасная схватка (так как их передние ряды уже были истреблены), обратили силы на правое крыло, где построилось литовское войско. Войско литовцев имело более редкие ряды, худших коней и вооружение; и его, как более слабое, казалось, легко было одолеть. Отбросив литовцев, крестоносцы могли бы сильнее ударить по польскому войску.

Однако их расчет не вполне оправдал надежды. Когда среди литовцев,

руси и татар закипела битва, литовское войско, не имея сил выдержать вражеский натиск, оказалось в худшем положении и даже отошло на расстояние одного югера (около 60 метров.— *К. Т.*); когда же крестоносцы стали теснить сильнее, оно было вынуждено снова и снова отступать и, наконец, обратилось в бегство.

Великий князь литовский Александр тщетно старался остановить бегство побоями и громкими криками. В бегстве литовцы увлекли с собой даже большее число поляков, которые были приданы им в помощь. Враги рубили и забирали в плен бегущих, преследуя их на расстояние многих миль, и считали себя уже вполне победителями. Бегущих же охватил такой страх, что большинство их прекратило бегство только достигнув Литвы; там они сообщили, что король Владислав убит, убит также и Александр, великий князь литовский, и что, сверх того, их войска совершенно истреблены...

Александр же Витовт, великий князь литовский, весьма огорчаясь бегством своего войска и опасаясь, что из-за несчастной для них битвы будет сломлен и дух поляков, посылал одного за другим гонцов к королю, чтобы тот спешил без всякого промедления в бой; после напрасных просьб князь спешно прискакал сам, без всяких спутников, и всячески упрашивал короля выступить в бой, чтобы своим присутствием придать сражающимся больше одушевления и отваги».

Этот рассказ Длугоша создает впечатление, что бежало все войско Великого княжества Литовского, за исключением 3 смоленских полков, которые — 3 из 40 — проявили стойкость.

Версия Длугоша о разгроме и бегстве с поля боя войск Великого княжества Литовского была взята на веру многими историками и вошла в оборот; даже Генрик Сенкевич — автор знаменитых «Крестоносцев» — некритически последовал за рассказом Длугоша и сделал разгром белорусско-литовских хоругвей фактом художественной литературы.

Между тем эти и разгром и бегство весьма сложно вообразить, поскольку они находятся в противоречии с реальными условиями. Поле боя по фронту занимало два с половиной километра; учитывая примерное равенство сил союзников, можно принять, что войска Витовта противостояли немцам на 1—1,25 километра. На таком участке могли сражаться с крестоносцами не более 10—11 хоругвей — если положить 100 метров на хоругвь, то есть по 50 человек в ряд, и 8—10 рядов в глубину. Позади первого ряда стояли, готовясь к бою, 11—22-я хоругви, а за ними — 23—34-я хоругви, еще оставался резерв. Естественно, что полки, первыми принявшие удар, потерпели больший урон, чем полки второй и третьей очереди; некоторые полки могли быть высечены наголову, остатки других могли быть принуждены к бегству.

Даже при рассечении фронта, глубоком прорыве, окружении некоторых полков Витовт имел немалый запас сил, чтобы осуществить необходимые контрмеры. Для отступающих полков лучшим местом защиты был обоз — несколько тысяч телег, несколько тысяч крестьян, вооруженных в топоры, рогатины, цепы. Против 40 белорусско-литовско-украинских полков и татар немцы могли выставить максимум 17—22 хоругви; 17, если следовать за исчислением Длугошем прусского войска в 51 хоругвь; тогда, отняв от этого количества 16 хоругвей резерва, которые повел в бой великий магистр в критический момент битвы, получим 35 хоругвей, разделенных поровну на два крыла. На самом деле в орденском войске хоругвей было больше, не менее 60, поскольку какая-то часть рыцарских знамен была взята Витовтом и вывешена в Виленском кафедральном соборе св. Станислава, и еще четыре знамени разбитых под Грюнвальдом хоругвей вывесил в часовне под Танненбергом следующий магистр Ордена Генрих фон Плауэн; 22 хоругви составляли треть рыцар-

ского войска — примерно 10—12 тысяч воинов; им противостояла половина союзных войск — не менее 20 тысяч.

Мнение о худшем перед поляками и крестоносцами вооружении войск Витовта не имеет веского обоснования; во всяком случае эта разница не была решающей. Подтверждением служит парад белорусско-литовских хоругвей, специально организованный Витовтом и королем для венгерских посредников, которые заодно с мирными инициативами выполняли и разведывательные функции в пользу Ордена. Вряд ли бы Витовт и Ягайла стали демонстрировать орденским соглядатаям свои недостатки; значит, сами они полагали войско Витовта не худшим рыцарского.

Другим свидетельством равного противнику вооружения белорусско-литовских полков является ошибочное суждение польских рыцарей, не отличивших сразу немецкие хоругви от Витовтовых: «Большая часть королевских рыцарей, увидев войско под шестнадцатью знаменами, сочла его за вражеское (как это и было), прочие же, склонные по слабости человеческой надеяться на лучшее, приняли его за литовское войско из-за легких копий, иначе сулиц, которые в нем имелись в большом количестве...»

Так что ни одного реального условия, необходимого для разгрома войск Великого княжества, и тем более для преследования его на много миль (миля — 4 километра), не видно.

О том, что разгрома и бегства не было, свидетельствует и сам Длугош несколькими страницами далее, когда описывает осаду войсками союзников орденской столицы Мариенбурга: «Польское войско король разместил у верхней части замка к востоку и югу, литовское же поставил в нижней части; кроме того, в особом месте, к югу от замка, он расположил воинов земель своего королевства — Подолии и Руси... Поставлены были и другие бомбарды среди литовского войска: одни вдоль городских стен, другие у начала моста, сожженного с другой стороны Вислы; из всех них весьма сильно били по замку с четырех сторон».

Но вернемся к тому описанию битвы Длугошем, которое касается боевых действий польского войска. «В это же время (то есть во время так называемого бегства войск Витовта.— *К. Т.*) обратилась в бегство и хоругвь св. Георгия на королевском крыле, в которой служили только чешские и моравские наемники, которую дали вести чеху Яну Сарновскому. Со всеми чешскими и моравскими воинами хоругвь ушла в рощу, где Владислав, король Польши, жаловал верных воинов рыцарской перевязью, и стояла в этой роще, не думая возвращаться в бой». (Под градом упреков подканцлера королевства она все-таки вернулась на поле битвы.)

«После того, как литовское войско обратилось в бегство и страшная пыль, застилавшая поле сражения и бойцов, была прибита выпавшим приятным небольшим дождем, в разных местах снова начинается жестокий бой между польскими и прусскими войсками. Между тем, как крестоносцы стали напрягать все силы к победе, большое знамя польского короля Владислава с белым орлом... под вражеским натиском рушится на землю. Однако благодаря весьма опытным и заслуженным рыцарям, которые состояли при нем и тут же задержали его падение, знамя подняли и водрузили на место»... «...польские ряды, отбросив одолевавшее их сомнение, под многими знаменами обрушиваются на стоявших под шестнадцатью знаменами врагов (к ним сбежались и другие уцелевшие из хоругвей, разбитых под другими знаменами) и сходятся с ними в смертельном бою. И хотя враги еще некоторое время оказывали сопротивление, однако, наконец, окруженные отовсюду, были повержены и раздавлены множеством королевских войск; почти все воины, сражавшиеся под шестнадцатью знаменами, были перебиты или взяты в плен».

Вот, пожалуй, и все, что приводит Длугош конкретного и суще-

ственного о действиях хоругвей польского войска. Обратимся теперь к другим источникам — белорусско-литовским; они представляют несколько иной взгляд на течение битвы. «Хроника Литовская и Жмойтская» сообщает о битве так:

«...Потым вдарено в котлы, в сурмы и зараз литва з татарами з великою прудкостю скочили на немци и сточили з ними битву, же конь об коня боком отирался. Витолт и сам бегаючи, своих напоминает и шики поправует, поляци тож з кролем своим, припавши, взяли немцев на палаши... а потым видят немцы, же юж их много трупов лежит по полю, почали утекати, а поляки и литва з татарами гонили их, биючи, стреляючи, рубаючи, колючи, на килка миль, а зацнейших офицеров имали и вязали, самого мистра пруского Улрика простый драб ощепом пробив. В той войне не все наши билися, другий и шабли не добывал, бо было поле тесное. А Витолт татар з литвою охочею пустил, бурячи Прусы огнем и мечем и незносный починили шкоды».

Запись эта неконкретна, единственно существенное сведение, которая оиа содержит, касается, без сомнения, большого, вошедшего в память числа татар и начала битвы войсками Витовта. Более интересны данные, сохраненные «Хроникой Быховца»:

«Король Ягайла со всими моцами коруны Польское, а князь велики Витолт со всеми силами литовскими и русскими, и с многими татары ордынскими; а мистр пруски также з моцами своими и со всею Режою Немецкою... И коли вжо вси войска з обу сторон были поготове, тогды король Ягайла и князь велики Витолт тягнули ку битве все лесными а злыми дорогами, а поля ровного а широкого не могли мети, где бы ся ку битве застановити, нижли только были поля ровныя а великие под местом немецким Дубровным. И бачили то немцы, иж ляхове и литва з так великим войски не могли нигде инде вытягнути, только на тыя поля, и для того копали ямы и прикрывали землею, иж бы в них кони и люди падали; и коли вжо король Ягайла и князь велики Витолт з войски своими перетягнули оные лесы и пришли на тые Дубровенские поля, тогды гетман был найвышшы во войску Ягайловым пан Сокол Чех, а дворны гетман был пан Спыток Спыткович, а в Витолтови войску старшы гетман был князь Иван Жедевид, брат Ягайлов и Витолтов, а дворны гетман пан Яи Гаштольд. И как почали оные вышейписаные гетманове люды шиковаты, а о тых ямах ничого не ведали, што на них немцы покопали, а так, шикуючы войско найвышшие гетманове, князь Иван Жедевид а пан Сокол в ямы повпадали и ноги собе поломали, и вельми образилисе, с чого ж и померли; и не только одни гетманове, але и многим людем от тых ям шкода великая ся стала... и почалася битва з поранья межы немцы и войски литовским, и многое множество з обу сторон войска литовского и немецкого пало. Потом, видячы князь велики Витолт, што войска его много сильно побито, а ляхове им жадное помочы вчынити не хотят, и князь велики Витолт прыбег до брата своего короля Ягайлы, а он мшу слухает. А он рек так: «Ты мшу слухаешь, а князи и панове, братя мои, мало не вси побиты лежат, а твои люди жадное помоцы им вчинити не хотят». И он ему поведал: «Милы брате, жадным обычаем иначей вчинити не могу, только мушу дослухати мшу», и казал гуфу своему коморному на ратунок потягнути, которы же гуф войску литовскому помоч притягнувши, и пошол з войски литовскими и немец иаголову поразил, и самого мистра и всех кунторов его до смерти побили, и безчисленное множество немцев поимали и побили, а иные войска ляцкие ничого им не помогали, только на то смотрели»...

Не прав автор «Хроники Быховца», ограничивая по чувству литовско-белорусского патриотизма участие польского войска в Грюнвальдском сражении; не прав и Длугош, отведя, из чувства польского па-

триотизма, роль беглецов войскам Витовта, наемным чехам и моравам. Как происходило на поле битвы в действительности, никто не знает, и едва ли обнаружится документ, проливающий яркий свет ясности на многие загадки этой ожесточенной сечи многих народов. Все выдвинутые историками версии течения битвы, ее развития носят гипотетический характер. Но совокупность работ многих исследователей и прошлого и нашего времени позволяет представить действия белорусско-литовско-украинских хоругвей и татар на Грюнвальдских холмах с достаточной достоверностью. Автор попытался это сделать, руководствуясь не умилением перед «славным прошлым», а чувством признательности тем безвестным воярам Беларуси и Литвы, чьи пожертвованные жизни и сегодня, спустя шесть веков, служат сохранению народа.

## СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Тарасов Константин Иванович

**ПОГОНЯ НА ГРЮНВАЛЬД**

Ответственный за выпуск *Л. Сипайло*
Художник *Л. Бетанов*
Технический редактор *М. Кислякова*
Корректоры *А. Алешко, Е. Лукошко*

Сдано в набор 8.05.91. Подписано в печать 30.08.91. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура Тип таймс. Высокая печать с ФПФ. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 17,5. Тираж 150 000 экз. Заказ № 1335. Цена 10 р. За пределами Белоруссии цена договорная.

БКМП «Крок уперад». 220030, Минск, ул. Кирилла и Мефодия, 8.

Государственная книжная палата БССР. 220600, Минск, пр. Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005. Минск, ул. Красная, 23.